

\* \* \*

*Т. Ю. Хмельницкой*

**Редакционная коллегия серии:**

Р. Бёрд (США),  
Н. А. Богомолов (Россия),  
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),  
С. Гардзонио (Италия),  
Г. Г. Глинка (США),  
Т. М. Горяева (Россия),  
О. А. Лекманов (Россия),  
В. П. Нечаев (Россия),  
В. А. Резвый (Россия),  
В. А. Синкевич (США),  
Р. Д. Тименчик (Израиль),  
Л. М. Турчинский (Россия),  
Л. С. Флейшман (США)

Научный редактор *В. Резвый*

Составление, подготовка текста *А. Петровой, В. Резвого*

Послесловие *Е. Витковского*

Оформление *М. и Л. Орлушиных*

ISBN 978-5-902312-34-5

© А. Петрова, В. Резвый, составление, 2008

© Е. Витковский, послесловие, 2008

© М. и Л. Орлушины, оформление, 2008

© Водолей Publishers, 2008

С глухой погодою второго сорта,  
с развалистой старинною зимой,  
с обрывком вечера я сам-четвертый  
иду домой по улочке немой.

Из теплой задушевной полутеми  
я как попало песенки плету,  
и незаметно я теряю время,  
и тихо набираю пустоту.

Как ветром сдуло думы о пороге,  
сорвались кротко две сосульки с век,  
и одиноко сделалось дороге,  
где снова я и длинный-длинный снег.

*20 января 1967*

\* \* \*

Весь вечер изувеча  
и болью обуян,  
распахивая плечи,  
кричит чернее веча  
грачиный океан.

И вдруг, как ртуть гремучий,  
ко рту он – скрытый взрыв  
в минуте неминуемой.  
А ну молчи и мучай,  
до пены глужи взрыв.

На риск и блеск, кручина,  
махни и тучи взбучь,  
и прочь с надменных круч,  
а чертова пучина  
и вдрызг, и вскачь, и вспучь.

Оброс огромной бурей  
и рвется к небу, рьян,  
со всей овечьей дури  
барашек в волчьей шкуре,  
а буря – как бурьян.

Орет вода на дыбе,  
а волки волн – ату!  
Нервические зыби,  
дышите на отшибе,  
не рвитесь в пустоту!

*23 января 1967*

## ГАДАНЬЕ С ПРИПЛЯСОМ

Дай в новом году  
сгадать про невзгону!  
Гляди, я кладу  
всю правду в колоду.  
Глядеться в окно  
душе не мешаю.  
Смотри, как смешно  
я карты мешаю.

Ах, тра-ля-ля-ля!  
У нашей у крали  
любовь короля  
недавно украли.  
Он волосом рус,  
он масти червонной,

но чтой-то огруз  
животик евонный.

Ах, тралички-вали,  
вали ты, коли!  
Коли не соврали  
валеты-врали,  
так пали ему  
винновыи, бубновыи –  
в казенном дому  
он будет с обновой...

Вкосую легло.  
Поверь рукою –  
гляди, как тепло  
я карты тасую.  
Ночами не спит,  
от страха голодный.  
А правда шипит  
змеей подколодной.

*30 января 1967*

\* \* \*

Ах, как это надокучит –  
торопить и торопеть!  
Да к тому ж порядок учит  
как по нотам жизнь пропеть.

Ну и пес с ней, с этой песней!  
Надоела мне до слез.  
Но и дома, и в толпе с ней  
буду мыкаться, как пес.

*17 февраля – 1 сентября 1967*

## СОН-РЕСТОРАН

Рестораном выпер сон,  
полный сон на сто персон.

Можно спать и танцевать,  
пить, и петь, и целовать,

молодеть или сесть  
и под музыкой сидеть...

Сон горбатый, как верблюду...  
Непечатый выбор блюд.

Сон – как соус, как салат,  
сон, засованный в халат.

Сон-пижама, сон-пиджак,  
сон, зажатый в смертный мрак.

Режут брови, как стрижи,  
в скрежет зубы и ножи.

Расстарался ресторан  
и открыт, как триста ран.

*21 февраля – 1 сентября 1967*

\* \* \*

За годом стало – как в лесу – темнее,  
и смолк напев камней, стволов и смол.  
И смолоду, как Он теперь ко Мне, я –  
или как сон к себе же – подошел.  
Что было в нем Тобой? Какая память?  
Зачем она тащилась по лесам?

Зачем я емь своею волей, сам?  
Зачем была охота самсусамить?  
Я знал. Я был. На сворке сбоку шло я  
(на задних лапках? Или окарачь?),  
оно, мое, последнее, бывшее...  
Я знал, я был. – Помилуй, не дурачь!  
Была охота! Да была охота!  
И волчий вой, и лисий гон,  
и заячье еще мелькало что-то,  
и я бежал со всех сторон.  
А сколько их, самих себя, скакало  
до дыр и нор, до самых поздних пор,  
и было – до последнего оскала,  
и против шерсти пер огромный бор!  
Приподнимаясь на собачьих лапах,  
не лай и не гоняйся – хвост трубой!  
(Самих себя? Да взять ли мне внахрап их?)  
Я шел ко мне, как самый волчий запах...  
– Тубо! – Пстой! что было в нем Тобой?  
(Ну, разумеется, оно могло бы  
беззубым стать, без ярости и злобы.)  
Нет, не в черемушках и не в сиреньках,  
а по глуши лешачьей и срамной  
от встречи к встрече я на четвереньках,  
как песье горе, бегало за мной.

*18 марта – 4 сентября 1967*

\* \* \*

Тебе шевелиться во мне не велю,  
с тоски подбоченься и каюсь.  
Ты – правда моя и добра во хмелю,  
на дню по сту раз икаюсь.

Кому-то изгиб, а кому-то излом,  
а кому-то зарез и зараза.  
Забудут добром, а помянут и злом,  
и фыркнет какая-то фраза.

И нос задерет, с полугория дуря,  
и пройдетя по сердцу с развальцей  
она, эта фраза, фасонная фря,  
ломаю бессонные пальцы.

Пусть вздор я неправых и правых мелю,  
а вот отрублю с размаху!  
Ты – правда моя и добра во хмелю,  
и пошлю тебя – ах! – на плаху.

Но кто же кого? И кто же кому  
в упор топором заблится?  
За сердце кого прикуют к уму,  
чье сердце к виску приставят?

Ты – правда кривая, с занозой изьян,  
и тебя я словно ножа жду.  
По горе я сыт и до удали пьян,  
но того, что сломано, жажду.

*3–20 марта 1967*

### **MIR ZUR FEIER**

Я родился в Благовещенье.  
А в какой день умру –  
в праздничный  
или в будний?

Вокруг меня намотано существо.  
Я всунут, как в трещину, в особицу,

сам себе особ-статья,  
персона,  
личность,  
индивидуум,  
да еще вообще человек.

Потаскай-ка их всех на одном горбу –  
порастрясешь и себя, и судьбу...

Только и славы,  
что я родился в Благовещенье!

*Ночь с 7 на 8 апреля 1967*

### **ВСЁ РАВНО**

Я от себя до смерти не уйду,  
в особицу, как в трещину, я всунут,  
и пусть меня единым духом сдунут,  
как тихую пылинку иль звезду.

В своем глазу распухшее бревно,  
в чужом зрачке занудная заноза,  
я стал сплошной спиной, спокоен, как Спиноза,  
и понемногу мне всё будет всё равно.

И трещины моей я жалобней и резче.  
Сухой пощечиной улягусь вековать.  
И будут надо мною куковать  
осиротелые, при тощем теле, вещи.

Зашевелится дохлая денница,  
ресницы дрогнут, глянет сон в окно,  
падет звезда, пылинка – единица,  
и день слезой в глазу настолько прояснится,  
что и в неравенстве мне будет всё равно.

*Ночь с 7 на 8 апреля 1967*

## КАРНАВАЛ

Липы вскипели пенистым шумом,  
и рвался вал вперекор на вал.  
Затеял сплошь ошалелый Шуман  
марионеточный карнавал.

Фейерверк фыркал, в сердце смеркалось,  
ночь кувыркалась, как цирк, и оно  
в Господа Бога и в душу сморкалось,  
белое клоунское пятно.

Рюмка! Хрустальная балерина!  
Подняли гогот Гог и Магог.  
Где надломила ты пальцы, Кьярина?  
Буршей ли маршем шагает сапог?

В шутку герои, и гомон придуман.  
Шубку Кьярина наденет на бал.  
Ради измученной музыки Шуман  
в куклы разыгрывал карнавал.

*11 апреля – 8 мая 1967*

\* \* \*

За ночью в очереди стоя,  
за стоном, за глухим стыдом,  
я стало догола простое,  
как тело, сбившееся в ком.

Да в ком же, медленно-пустое?  
В каком знакомом быть мне с ним?  
Воспоминание густое  
черно, как кровь, смола и дым.

Каким ужасным старожилом  
себе кажусь, когда в разбой  
оно опять бежит по жилам  
и отзывается тобой.

*Ночь с 17 на 18 апреля 1967*

\* \* \*

В бабушку-душу!  
В Господа Бога!  
В таргарары! В симфонический вал!  
Что же разрушу?  
– Блага немного!  
Кто-то во мне до поры вековал.  
Право, не струшу!  
Я многоного.  
Козней не плел я, не делал подлога,  
казни и муки в порыве ковал.

А на осине  
вечность паучья  
в инее смертном повисла с тоски.  
Губы же сини,  
и тычутся сучья.  
Вынь их из глаза, чужие сучки!  
Мух в паутине  
сколько ни мучь я,  
от одинокого благополучья  
всё расползается, как паучки.

*24 апреля – 11 сентября 1967*

\* \* \*

Весь год часы висели, стоя  
на первом поцелуе, но  
теперь настало тут пустое  
пространство, место иль пятно.

Часы, быть может, и починят,  
и застучит их естество,  
но мне в отчаянной ночи нет  
от нежной ночи ничего.

Да и я сам остался где-то,  
и выпотрошили нутро.  
И пустота моя поддета  
крюком железным за ребро.

*28 апреля 1967*

\* \* \*

Зашел я мимоходом с милой  
в цветочный магазин.  
(Букет купить захотелось? Да?)  
И вовсе нам не нужно было  
букетов и корзин.

Мы просто на цветы смотрели,  
ну а они цвели.  
(Им так и положено делать.)  
Но дивно, что в конце апреля  
мы ландыши нашли.

И я купил букетик нежный,  
любовь мою и боль.  
(А ты взяла, да притом еще смутилась.)

И мы дорогой неизбежной  
пошли по счастью, вдоль.

Бродили мы, как лесом лели,  
смешные пастушки.  
(А что же ландыши?)  
А ландыши в тепле сомлели,  
в тепле твоей руки.

*29 апреля 1967*

\* \* \*

Снег сделан был из поролона,  
и ветер шел по парку вброд.  
Любовь сидела, как ворона,  
и разевала черный рот.

Такой дикаркой, что не тронешь,  
ерошась, перья встрепенешь...  
Не каркай, или проворонишь  
и флегматически зевнешь.

*12 мая 1967*

\* \* \*

Я сам себе как лыко в строку,  
и знаю – мне не быть глубоко:  
зароюсь только на вершок.  
А тело ходит где-то сбоку,  
изнемогающий мешок  
и дум сердечных, и кишок.

Но сыть сию, отраву волчью,  
отраду воронов и ран,

еще не бросил я в бурьян  
и, то медлителен, то рьян,  
живу то молвью я, то молчью.

Забыв о жизненном престиже,  
Я стало голым – до кости,  
до перелома. Так прости же  
и, кус любви мне отчекрыжа,  
меня потом всюю кости.

*13 мая – 21 сентября 1967*

## ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР

На чухонском камне и трясине  
бесновался царственный топор.  
По монаршей дарственной Трезиний  
прямо к небу выводил собор.

В Гаге, Копенгаге и Стекольне  
бомбардиру дикому Петру  
тихо откликались колокольни,  
стоя на предутреннем ветру.

И на грани ветхого рассвета  
прямо в космос на какой-то съезд  
ангел улетает, как ракета,  
ставя на земном пространстве крест.

*18 мая 1967*

\* \* \*

День приправлен и грозой и драмой,  
до беспамятства не пережит.  
И по мокрой крыше кошкой драмой  
тучка дохлая бежит.

И зову, как тучу-сволочугу:  
Женщина моя на букву Ж,  
вознесись опять в мою лачугу  
на десятом этаже.

Мы на небе – на седьмом – не будем,  
ибо всяк на свой аршинчик прав.  
До парши душевной мы наблудим,  
и уйдешь ты, хвост задрал.

Но, ей-ей, не высажу я раму  
даже на последнем рубеже,  
а денек слезливый вставлю в драму  
на десятом этаже.

*22 мая 1967*

\* \* \*

На прежних улицах качаюсь,  
скорбь за чуприну теребя,  
иду, и жду, и не кончаюсь,  
и не кончаюсь без тебя.

Хожу уже без грустной злобы,  
без воробьиной ворожбы  
и без татьбы, но хорошо бы  
быть человеком без судьбы.

*27 мая 1967*

\* \* \*

Как вражий стяг на крепостях,  
как бастионы на костях,  
торжествовал раз по сто ты,  
и я постиг тебя, Пустяк,  
простой внучонок Пустоты.

Как сон бессонный, наставал  
и сам в себе ты пустовал,  
ты, то Кашей, то бардадым.  
И я любил тебя внавал,  
в гроб, в доску, в пух и прах и в дым.

*28–30 мая – 22 сентября 1967*

\* \* \*

Птица Желя, птица Карна  
не поют в моем лесу.  
Я живу совсем шикарно  
и гуляю регулярно  
с темной латкой на носу.

Забирается здоровье  
в поры, мышцы и зрачки,  
и, поигрывая кровью,  
лето свежее, коровье  
кротко бродит у реки.

И дышу я полной грудью,  
и порой исподтишка,  
скромно радуясь безлюдью,  
словно мирное орудье,  
холостыми бьет кишка.

*31 мая 1967*

\* \* \*

Когда взлетает жизнь под самый потолок  
со взрывом, как шампанская ракета,  
и хлещет пена воздуха и света, –  
шатается лицо, на радостях раздето,  
и стены едут наискось и вбок.

Когда уходит жизнь под самый потолок,  
как тихий дым, на кольца обреченный,  
то забиваются в лицо, как в уголок,  
и комната закрыта на замок,  
как долгий ящик с крышкой закопченной.

*4 июня 1967*

\* \* \*

Над Невою всплыв, парусом нам была  
набухавшая белая ночь,  
и со мною ты в пару, сомнамбула,  
запряглась, чтобы счастье волочь.

По-бурлацки тащила без устали,  
но нашли на тебя рубежи.  
Надломилась. Да только не пусто ли  
и в тебе тоже стало? Скажи!

*12 июля 1967*

\* \* \*

Вошла, как дверь, и сразу стало смертно,  
и снежной стужи в домик нанесло.  
О, как оно в уме безумно и несметно,  
а наяву страшно, поэта ремесло!



Падучие слова, как пена изо рта вы,  
кипучие шампанские слова,  
и ни черта, что вы еще картавы  
и что мне всё как будто черта с два.  
И холодно – хоть лопни, а не лопну,  
не в бровь, не в глаз, а в лоб – и словно в гроб потом!  
Вошла, как дверь, и я тебя захлопну,  
как недочитанный до счастья том.

*Ночь с 18 на 19 июля 1967*

### НЕ ПРЯЧЬСЯ

Не прячься же в леске пустом!  
Побудь же! Близко-близко!  
Зачем в глаза метешь хвостом,  
как ласковая лиска?

Следы твои не удались  
и в памяти – как пятна,  
но ты сама не удались  
от ласки на попятный.

Прожженное твое рыжье –  
как вечер на исходе,  
а я заряжен, как ружье,  
и на последнем взводе.

Но зубы выбивают дробь  
и всё суровой брови.  
В родимый мех меня угробь  
или укрой до крови!

Ты что же, на смех иль в бреду  
прикинулась огнёвкой,

и я, как в сказке, не приду  
с охотничьей обновкой.

Не целясь, целовал, хоть знал,  
что вспыхнешь и потухнешь.  
Тебя люблю я наповал,  
так что же ты не рухнешь?

*2 августа 1967*

\* \* \*

Надоело с собой дружить,  
омерзело себе служить!  
Ну а как же тогда прожить?  
Не дрожать и не ворожить?  
И ничем-то не дорожить?

Ах, да что же о том тужить! –  
Взять надежду и в гроб сложить,  
а засим как начну пуржить,  
себе голову сам кружить,  
во всю душу и мочь блажить –  
вот тогда и пойду я жить.

*8 августа 1967*

\* \* \*

I

Пусть же тот, кто стерильно вымыт,  
смертной бранью тебя клеймит!  
Ты скажи мне, какой в тебе климат  
и какой у тебя лимит.

Не курортный? Но смотрят очи  
изо всей своей черной мочи,  
собираясь умчаться в Сочи  
под намазанный томный зной,  
или шпарят голубизной  
изо всей своей синей силы.  
Ты б кого бы нибудь попросила  
дать рецепт или хоть совет,  
как покрасить их в новый цвет.

*4 сентября 1967 – 22 мая 1968*

## II

Я немало милой водицы  
на веку своем потолок,  
но с тобою с такой водиться –  
патологии потолок.

И тебя, как чужую обиду,  
я никак в свой толк не возьму.  
Ври сама себе про Тавриду!  
Не найдешь ты ее в Крыму.

В препохабных ночах сполпьяна,  
не боясь ни ухабов, ни ям,  
загуляла ты, как поляна  
с незабудками по краям.

И какого с тоски Париса,  
чтобы утром расстаться с ним,  
манишь веточкой кипариса,  
дразнишь яблочком расписным?

Износиловалась? Износилась?  
В папиросный дым испарись!

Незабудки пойдут на силос,  
на дрова пойдет кипарис.

*22 октября 1967 – 9 июля 1968*

\* \* \*

Растут и вьются города,  
седые, будто борода.  
То у моря, то у реки  
раскинулись, как старики,  
и, погружаясь в сгущенный мир,  
они наращивают жир –  
и пухнут. Но придет черед,  
и опухоль их разберет  
до язвы Божией, да так,  
что грянут им и рок, и рак.

*11 сентября 1967*

\* \* \*

То поплачется, а то прячется  
в поцелуй, в хохоток, в винцо.  
Поработает душеукладчицей –  
и опять лицо как лицо.

И подписано, разрисовано,  
занаряжено в жизнь опять,  
по часам, по частям рассовано,  
и приложена – ах! – печать.

Вот и плачется, вот и прячется,  
а потом навзрыд, в непроглядь

душа-душенька раскорячится,  
как последняя рвань и блядь.

*17 сентября 1967*

## РАСПУТЬЕ фуга

Я усумняюсь. – Или мне ни жизни, ни житья  
не стало бы – и время пробежало б.  
Да неужели же без выкриков? Без жалоб?  
Безжалостно? Не буду нежить я  
надежду-девочку и пестовать не стану.  
К житейскому румяному роману  
я даже и глазком единым не прильну,  
как бы к соседской скважине замочной  
(или тюремной? или как ко сну?),  
сумнения представитель полномочный.  
Бог надо мной? Иль сам я Богу Бог?  
Иль Бог со мной? И пропадом до ада!  
Но как забавен он, умов переполох  
при взрывах времени, на поприще эпох,  
на кривизне крутой и на откосе взгляда!  
Ну что же, под откос, так под откос!  
Пусть по кривой (когда без загогулин  
я не могу)! Ведь, как на берегу матрос,  
бывает же порой сам ум разгулен  
(и режет враз ножом любой вопрос).  
А сколько было ливней, бурь и гроз!  
И молнией – как к Богу – по зигзагу  
ударить вдруг по злу (а заодно по благу),  
чтобы потом убраться подобру  
(а может быть, и поздорову?)  
к какому-то скривившемуся крову  
и верить через «не могу»  
в огромное, как идол, «ни гу-гу».

И вовсе не беда, что я порой сердит,  
когда мне Явь сперва азы твердит  
и вслед за тем показывает буки  
в последнем слове грешницы-науки  
(а смерть под самый нос смердит?).  
И пусть любой вопрос повис, как грозный груз!  
И пусть мне больше некуда деваться!  
Я даже умирая умудрюсь  
не гневаться, а только сомневаться.

*7 октября 1967*

\* \* \*

Голова – вроде позднего вечера –  
навалилась – плечам невмочь.  
Почему ж так очеловечило  
вещи нынче, в крутую ночь?  
Пред домами, всю разукнутыми,  
люди темные – что кусты.  
Через реку мячами огненными  
перекидываются мосты.  
Эх, бултых! забулдыга и пьяница!  
Эх, гуляйте, кулак да топор,  
если мне сегодня буянится  
до последней мысли в упор.

*21 октября 1967*

## УТРЕНЯ

Прокапало мне с крыш семь или восемь?  
Распространилось утро, – но беда,  
как медленно предметы входят в осень,  
как неохота им входить туда.

И вот, как иноку, нейметя оку  
укрыться в сумрак, суморось и сырь,  
за кругозор, где лес неподалеку  
настал, как сизый старый монастырь.

Внутри он и огромен, и укромен.  
Пришла к обедне белой пустота.  
Иконопись его святых хоромин  
испуганно глядит во все цвета.

С обугленными чернецами-пнями  
в слезах склонилась зелень плащаниц,  
и воск трепещет рыжими огнями  
в мерцании венцов и багряниц.

И краски до тоски и грусти резки,  
и замер лес, как древнерусский храм,  
и в нем великомученицы-фрески  
по-бабьи молча мокнут по утрам.

Но я сей исполинский скит покину,  
где желчным горем набухает мох  
и где – распят, подобно Арлекину, –  
висит последним пестрым телом Бог.

*Между 22 и 24 октября 1967*

\* \* \*

Два одиночества столкнулись,  
открылись вдруг во все глаза  
и о любовь свою запнулись,  
в любви не смысла ни аза.

Свели их в дрожь и блажь не губы ль?  
Какие ветры их мели?

Они, как воды, шли на убыль,  
а счастье село на мели.

Вот так и сами мы убудем,  
и нам нельзя их вновь свести.  
Одно слоняется по людям,  
другое гложет взаперти.

*24 ноября 1967*

\* \* \*

Нахлобучивши сумрак по уши,  
будто мой он, донильзя мой,  
засыревши от серой пуроши,  
стану я наравне ль с зимой?

Иль до самой хандры протянется  
и прозябнет настезь она,  
долгожданная голоштанница,  
баба-мученица, тишина?

*25 ноября 1967*

## МЕЖДУ

Между правдой и кривдой как в луже сижу,  
между Прочим и прочих не плоше,  
после дождичка в черный четверг ворожу:  
снять иль дальше сидеть в калоше?  
А не лучше ль на всё поглядеть босиком?  
Но в калоше – как в литерной ложе!  
Даже рожа выходит своим косяком,  
и обходится жить не дороже.

Бейся сердцем о вещи! Трещи костяком!  
Да Тебе-то, о Господи Боже,  
да Тебе что за дело до рожи?  
Но по косточкам нежным разложена ложь  
(словно женщина? или же хуже?).  
А вот на-поди! Надо – так вынь да положи!  
По мосточку на каждой луже.  
На мосточки годятся ли косточки? Мой,  
мой их до смерти! Добела! Вчуже!  
Да Тебе-то, о Господи Боже Ты мой,  
что за дело до грязи и стужи?

Если всякая истина валится в ложь  
спяна, будто на брачное ложе,  
в ложу-лужу, где мужества, может, на грош,  
если дождик невзрачный на глянец галош,  
если взглянется... Как же похоже!  
Рожа в луже! А может быть, все-таки врешь?  
Зря дерешь меня дрожью по коже?  
Погоди! Не иди, мой испуганный дождь,  
не спеши! Я в уме, как во тьме, жду –  
не надежду! А может быть, сирую мощь –  
жить в сыром и старательном Между.

*27 ноября 1967*

## ПОД УТРО

Паду ли под утро о пору,  
когда еще сон под замком,  
когда не отыщешь опору  
ни в чем и, что хуже, ни в ком?

А впрочем, кто знает, паду ли,  
и можно ли лежа упасть?

Сквознячные думы подули  
из фортки, разинувшей пасть.

Меж челюстей этих злосчастных  
беззубая бездна видна,  
и в пасмурных космах, как в пасмах,  
не на смех ли рядом она?

Ох, эта мне тихая пропасть!  
А сон, воздвигаясь на ней,  
трясется – последняя робость,  
когда и последняя радость  
родней, но, увы, и нудней.

*5–20 декабря 1967*

\* \* \*

Я встал и вышел. За спиной остался  
замызганный до полусмерти сон.  
На что он мне сегодня ночью сдался,  
когда я сам чуть-чуть не размозжен?

Он сдался мне на милость и без боя.  
Кино такое, право, не по мне.  
Но пусть изображает он любое  
хоть на экране, хоть на простыне.

*7 декабря 1967*

## РОМАНС

То вымучена, то вымещена  
на ком-то, но с другими,  
любовь бывает вымощена  
намерениями благими.

Как ногти розово-лаковая,  
протягивает пальцы,  
само нутро заволакивая  
улыбкою с развальцей.

Его пополам раскалывая,  
вдруг кинется под ноги  
и ляжет, как масса каловая,  
себе поперек дороги.

То вымучена, то вымещена  
на ком-то, но с другими,  
любовь бывает вымощена  
намерениями благими.

*19 декабря 1967 – 12 июля 1968*

\* \* \*

Как сад пустой, как лес глухой,  
хожу и просыпаюсь,  
и всей осенней шелухой  
без ветра осыпаюсь.

Прошел в кустах переполох.  
Бог с ним! И так неплохо!  
И даже в том, что я оглох,  
не вижу я подвоха.

Отшелушишься, приглушишь  
природу на полтона,  
и вылезает нагло шиш,  
как пень на месте клена.

*30 декабря 1967*

1968

## ПЕРЕД ОДОЙ НОВОМУ ГОДУ

Здорово, Год! Неужто ты из новых?  
А мне сдается, ты в сенях кленовых,  
как нищий, по старинке стал и ждешь,  
что я подам тебе кусок иль даже грош.  
Ну, жди-пожди, пока тебе в угоду  
(быть может, только к твоему уходу)  
я сочиню такую оду,  
что ты от радости иль скорби заорешь  
на всю широкошумную природу,  
и свалишься ты снова, сволочь, с ног  
от оды не в лицо, а сзади, как пинок.  
Иль, может быть, для первой встречи нашей  
попотчевать тебя огромным гимном взашей –  
и кушай, милый, на помин блинок!  
А может статься, лучше будут стансы,  
и вместе вы, лихие голоштанцы,  
пропитаться пошагаете в шинок?  
Элегию не любишь? Нелегка!  
Не легче задушевного плевка.  
Вбирая слюни глазом, сопли ухом, –  
а что к чему, ты сам смекай,  
но, попрошайничая, привыкай  
к лирическим щелчкам и оплеухам.  
Ведь от философических затрещин  
не лопнешь ты, не пропадешь,  
а будешь черным хером перекрещен,  
не более. Ну так чего ж ты ждешь?  
Ты чей? Ни мой, ни свой, ни наш, ни ваш?  
Послушай-ка! Ты и меня уважь –  
хотя бы на один единый день  
стань лучше прежнего, хотя б для перекуру

из гробовых сеней войди ко мне, надень  
и потаскай мою собачью шкуру!

*1 января 1968*

## **В ДУХЕ МОРГЕНШТЕРНА**

### **1. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ РАЗДУМЬЯ**

Размышляя о житье,  
тихо еду я в ладье  
и совсем под стать судьбе –  
при очках и в канотье.

Годен к вечности в зятя,  
но на дно житья-бытья  
умудрюсь ли кануть я  
без очков и канотья?

### **2. ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПОГОДА**

Кажется, сегодня как бы сыро?  
Дайте же хоть ломтик колбасыра!  
Дождь из дому выскакал босой  
вдрызг и покатился колбасой.  
Ну, а сыр тихохонько басил:  
«Ишь, как дождик-то наколбасил!»  
Глупости! Жить можно безопасно,  
жирно-жирно, сырно и колбасно.  
Может быть, воистину спасенье  
в отсыреньи и во колбасеньи.  
Сыру с колбасой поди дождись ты,  
если дни промозглы и дождисты!

*2 января – 17 июля 1968*

\* \* \*

Душа лежит, почти девичья,  
и лишь ногами шевелит,  
а ночь стоит до неприличья  
и шевелиться не велит.

Дым не столбом, не коромыслом,  
а так себе идет из труб.  
Закусывая утром кислым,  
сон утирают с беглых губ.

*5 января 1968*

\* \* \*

Я каждый день – чужое Рождество,  
и каждый час я – чья-то жизнь чужая,  
и каждый миг, дряхлая и мужая,  
я – сбоку чья-то суть и существо.  
Само себя по мелочи сужая,  
я окажусь совсем без своего,  
и растеряюсь до последней крохи,  
и испарюсь в последнем Божьем вздохе  
последнею росинкой бытия.  
А кто-то удивится: где же я?

*7 января 1968*

\* \* \*

Я – словно осень, а она – как осыпь  
пустой породы, ржавая труха,  
и в ней расту не я, а просто особь –  
тревожно мыслящие потроха.

И око – окось, обок, осовь –  
переворачивает были вороха.

Погода на душе – как тихая беда,  
и я не погожу расти и осыпаться.  
Стоит как будни серая среда,  
и, кажется, приходит черед,  
когда уже мне можно без вреда  
на час, на день, на год, а то и навсегда  
от самого себя спокойно отсыпаться.

*13 января – 17 февраля 1968*

\* \* \*

Заканчивая четверть века  
не наяву и не во сне,  
ты превратилась в человека  
и в чудо, да еще вдвойне!

Себе самой и мне настала  
внезапно, яростно, но враз,  
и вдруг с размаху разметала,  
Бог весть зачем, обоих нас.

А в четверти второй всё то же:  
русалка, холод и луна.  
С бессонницею прежней лежа,  
одна, до одури, до дна!

Прижившись взором лишь к обоям,  
порой вздохнешь себе назло...  
Как было хорошо обоим!  
И как же им не повезло!

*25 января 1968  
Новгород*

\* \* \*

Брожу, как жизнь, и стало быть – вразброд,  
и ощупью сумерничают руки  
одна с другой, и вечереет рот,  
как тихий грот, молчащий о разлуке.

Хожу в себе не хуже, чем в толпе,  
как остов, до последней кости выстав.  
И я уже не я, а СВП –  
союз веселых пессимистов.

*2 февраля 1968*

## ИЗ ДЕВЯТОГО ЭТАЖА

У тебя по-монашьему патлы!  
А в ответ мне ты что-то бурк.  
К удивлению нашему, падла,  
по рескрипту монаршему Павла  
пробуждается Петербург.

И аллеи на вахтпарады  
маршируют молча с утра,  
и, садам и погоде рады,  
разворачиваются ограды,  
как чугунные веера.

И грохочут литые кони  
по зиме, а кругом – смотри! –  
как закованные в законы,  
в карауле стоят колонны,  
и шлагбаумы, и фонари.

На петровском крутом морозе  
дом в одну шеренгу идет,



и под песню о храбром россе  
на парад вывел корпус Росси,  
и казарма сама поет.

Канцелярия правды и кривды –  
их в архивах сам Бог скрепит:  
шито-крыто и спрятано в крипты.  
Ну, а слышишь по сердцу скрип ты?  
По рескрипту и снег скрипит.

Не монашка, а, может быть, мошка,  
и порхаешь не без греха!  
Ты растягиваешься, как гармошка,  
за бока да еще немножко  
за искусственные меха.

Жизнь грызешь по дешевке, как мышка,  
и живешь ты, на грош дрожа.  
Что ж ты видишь, о замухрышка,  
о шарашка и шаромыжка,  
из девятого этажа?

Так помашем умершим и старшим!  
Павел нашим дням не пример!  
Жить не можем гвардейским маршем.  
Но знаешь ли что? Император, будь он жив,  
размахнувшись пером монаршим,  
на тебе бы поставил хер.

*13 февраля – 24 июля 1968*

\* \* \*

Слоняюсь по людям, к кому бы, гляжу, прислониться,  
к кому притулиться, пока успокоюсь, пока...  
Прелестницы-души и очень приятные лица!  
Ну впору влюбиться и даже задать трепака!

В три пальца ли свистнуть? И вот она тут, озорница.  
Трепаться ль, держась за бока? Иль валять мужика?  
Слоняюсь по людям, но к ним не могу прислониться –  
твоя не пускает, твоя ледяная рука.

*20 февраля 1968*

\* \* \*

Какой-то Фауст бродит по Фонтанке,  
и оперная ночь молчит вокруг.  
Умолкла намертво. Пространство – в склянке  
прозрачная отравка. Как на крюк  
застегнута вода до самой Пряжки  
и, как ученый балахон, черна,  
а Маргарита спит в ночной рубашке  
и холоду до дна души верна.  
И ходит рядом всё грустней и кротче,  
как бес лохматый, заунывный пес,  
пустынный пес среди собачьей ночи,  
и песьи очи так и просят слез.

*21 февраля 1968*

\* \* \*

Мир, бесспорно, будет очень плох,  
если в нем не станет мух и блох.

От того не будет хорошей,  
если нет клопов, мокриц и вшей.

Очень скверно, ежели в стакан  
не залезет черный таракан.

Ибо будет некого ловить,  
ибо будет некого давить.

24 февраля – 25 июля 1968

## ПУСТЬ! фуга

Пусть говорят, что я-де опустился!  
А может быть, я просто опустел?  
И даже загрустил? Последний опус тел  
(и душ моих) проигрывая, сбился  
со счета, с такта, с панталыка,  
и, как в кулак, в себя я засвистел  
(на то, что жизнь моя уже не вяжет лыка).

Пусть опустился... Да ведь не до Стикса?  
Я – жалобный пустяк. (Чего же я достиг?)  
Навык ходить на «вы» и с бедной болью свыкся,  
а сам с собой на «ты», как озверелый стык.  
Костыль постылый! – Он забит в дорогу  
(железную). Всю жизнь они прошли,  
от сосунка-окна к беззубому порогу,  
как ломаные кости, – костыли.  
И быль-горбыль показывает спину,  
как неотесанная (как на гроб) доска...  
Трясет, считая каждую оспину,  
рябая осень каждую осину  
(и каждую сединку у виска)...

А быль – как боль. Когда-то были боли –  
и нет их более с тобой. Из воль,  
из воль чужих я сложен. Оттого ли  
я говорю: «Изволь, мой друг, изволь!»?  
Я пуст, и рвусь я к безвоздушной доле,  
где сыплют звезды, как на раны соль,

и ты, моя ободранная боль, –  
как нищая оборванная голь.

Пусть опустился, но не оборвался,  
а только рвусь, и рвусь, и рвусь  
(пожить хоть час, не дуя в ус),  
и сам себе я в зубы не попался!  
Как бешеному псу, кричу себе: «Ату!»  
Рву с мясом и глотаю пустоту.

Пусть говорят, что я-де опростился!  
(Иль опростоволосился?) Фью-фью!  
Я врать горазд, и лжи я не таю,  
я с распрею родной и с тою распротился.  
Чего же стую и за что стою?  
На краешке себя я примостился  
и не закрою лавочку мою!

Эх, Боже мой! С Тобой, на лавке сидя, можем  
ногами, будто языком, болтать,  
и, сидя, никогда не обезножим –  
беседе нашей некогда устать.  
Эх, Боже мой! Ведь я делим и множим,  
и можно складывать меня и вычитать  
(и кажется, что я – своей добычи тать).  
Чтобы мне стать для вас на что-нибудь похожим,  
учитесь вы по-моему читать!  
Учитесь грамоте моей – немножко нотной,  
немножко новой и немножко нудной,  
немножко трудной и немножко потной,  
но ежегодной и ежеминутной!

Я опустел. До боли стал я прост  
(как на себе нарыв, а на душе нарост).  
Пусть говорят, что я – почти бродяжка  
и во вся тяжкая ударился! Ну что ж!

Ударишься, когда бывает тяжело!  
(А может быть, и стену лбом пробьешь,  
как некую повернутую спину!)  
Лицом разгневанным вдруг явится она,  
а я уже устану и остыну  
от истины (невольной, как вина).  
И пусть я опускаюсь и пустею,  
пускай грызу, ломая зубы, грусть,  
как собственную кость, пускай осточертею –  
я все угрозы знаю наизусть!  
Отпущен ныне я, как грех, на волю!  
Звезда моя, тебя я обездолю!  
Но पुще прежнего я повторяю: «Пусть!»

*7 марта – 30 июня 1968*

\* \* \*

Да, пишется не так-то уж и бойко,  
не очень кратко, но и без прикрас.  
И город, как большая душебойка,  
прожаривает с исподу то враз,  
то исподволь. И я живу в исподнем  
на самом на Господнем на Яву.  
Растягиваюсь, словно месяц со днем,  
от мыльни до парильни, но живу.  
Живу себе то взмыленно, то парко,  
и каждый день мне жару поддает  
и кости мне перемывает Парка  
(иль Мойра венником вгоняет в пот?).  
По пустякам я потом истекаю.  
Не иссякаю я (такой-сякой!),  
и голос мой, а может быть, не мой,  
но молит портомою Навзикаю,  
но молит, будто бы глухонемой,

отгалкивая, как кривой рукою,  
тебя, мою: «Не мой меня, не мой!»  
Довольно ты меня старательно стирала,  
и насухо давно уже я выжат,  
и заживо из самого себя я выжат.  
А душу парить – словно с Богом спорить  
или – что то же – на рожон переть.  
И город горло давит мне вдругорядь,  
и умереть – что угореть.

*7–29 марта – 27 июля 1968*

## ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ В АРКАЖАХ

Там, где большак пустился на развилку,  
где осень с легким топотом тропинок,  
среди покорно гибнущих могил  
ты топчешься, как неустанный инок.

Как из завремениа, ты из Аркажей  
покажешься на миг и на вершок,  
пригожий, но загробненький, и даже  
твой куколь – будто рабский кукишок.

Дорога – словно время – где-то сбоку  
и хочет, да не может размахнуться.  
Ты схимник и хоронишься в протоку,  
боясь в воде студеной шелохнуться.

Нависла неба мертвая мерёжа  
над осенью, но ты живешь вдвойне:  
и впрямь, и у воды в ладонях лежа,  
как в ледяном Господнем полусне.

*31 марта – 1 апреля 1968*

## MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.  
Родился, чтобы дожить  
до пятидесятилетия  
и оставаться полусобой.

А где вторая моя половина?  
Или я – только четверть,  
четвертинка хмельная,  
шкалик-соколик  
или просто мерзавчик?

Где другая моя половина?  
Умерла или не родилась?  
Где она, Я, которое – Ты?  
Которое было бы *Мы*,  
пусть горемычное,  
пусть замызанное до боли мыслями,  
но лупящее кулаками  
по одиночеству!

И живу от себя в особице,  
без вины ополовиненный,  
сам себе – как чертова чара  
или просто загулявшая чарка.

И допить ли горькую стопку  
или сказать: «Стоп!» –  
да об стол ее и вдребезги?

Но авось, авось уцелею!  
Но авось, авось стану целым  
и увижу себя как Меня,  
как Тебя и как Нас со Всеми,  
ибо я родился в Благовещенье.

*7 апреля 1968*

## ЩУЧЬЕ ОЗЕРО

Я нынче посетил владенье щучье,  
его непотревоженные воды.  
Вокруг стояло сплошь благополучье  
слегка благоустроенной природы.

Как на оси, повертывалось сразу  
всё озеро с оттенком хмурой стали,  
и прямо на глазах как по заказу,  
где надо, сосны тихо возрастали.

Как сеть, сетчатку вглубь и по излучке  
я заводил, однако, к сожаленью,  
мне ни единой не явилось щуки  
по моему иль щучьему веленью.

Средь полного затишья беспричинно  
спросонья пошевеливались сосны.  
Дышалось чисто и смотрелось чинно,  
и было ясно, медленно и сносно.

Ну, в общем виде было всё как надо,  
и озеро с любезностью позера  
вращалось на оси прямого взгляда,  
как все благопристойные озера.

*7 мая 1968*

\* \* \*

Я не по капелькам живу, а враз и сплошь,  
иначе были бы все дни мои прекрасны.  
Я правду праздную; как пост, блюду я ложь,  
но истины, ей-ей, то постны, то опасны.

От их наивного большого нагиша,  
по-детски чистого и откровенной труппы,  
идет мертвецкий смрад, когда сама душа  
сдирается с тоски черствее струпа.

*17 мая – 2 августа 1968*

### **ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ**

Пахнет дустом над лугами –  
будто дождь, рассыпан дуст.  
На зарядку вверх ногами  
встал, скрипя здоровьем, куст.

Процветают, в общем, травы,  
а с сучка жучок кувырк!  
Наблюдаете с утра вы  
на природе сущий цирк.

Вон движеньем безответным  
червь загнулся налегке,  
дохнет лебедем балетным  
бабочка на стебельке.

Над лугами пахнет дустом,  
чью-то душу веселя.  
С гордым видом я пройду там –  
мне послушна мать-земля.

*19 мая 1968*

\* \* \*

Как просто всё, как истинно – до скуки!  
Тоску и ту разделят на куски,  
на дозы добрые по правилам науки,  
чтоб только мухи дошли от тоски.  
И, тыча вверх заученные руки,  
безумцев осуждают дураки.  
Как от пощечины, готов бежать я  
от честного и тесного пожатья  
учительной и дружеской руки.

*22 июня 1968*

\* \* \*

Я не сею и не жну,  
и не заседаю,  
и персидскую княжну  
в воду не кидаю.

Я по Волге не ездук  
и совсем не Разин.  
Я наверное бы сдох,  
если б не был разен.

Нынче этак, завтра так,  
а потом разэдак!  
То потомок на пятак,  
то на грошик предок.

Говорят, что я блажной.  
Очень может стать.  
Но персидскую княжной  
нечего кидаться.

*18–20 июля 1968*

\* \* \*

Люди – толстосумы  
и собой тесны,  
сочиняют думы,  
складывают в сны.

Думы – скопидомы,  
создают средь снов  
храбрые хоромы  
и хороший ров.

Ну, и я не промах,  
я свое урву –  
то живу в хоромех,  
то лежу во рву.

*20 июля 1968*

## СТУК

Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!  
Раздается странный стук.  
Ток-ток-ток! Ток-ток-ток!  
То стучит не молоток.  
Тик-тик-тик! Так-так-так!  
Стук и этак, стук и так.  
Стуки-звуки, стуки-знаки.  
Тики-таки, тики-таки!  
Там и тут он: тук-тук-тук!  
По начальству этот стук.

Стук-докладчик сел на стул,  
губы в трубочку свернул...  
Но о ком, о ком, о ком  
шипом, хрипом, шепотком?

– Вам известный Простаков,  
он-то, знаете, таков,  
что... – А дальше тук-тук-тук!  
По начальству этот стук.  
В нос ему и на ушко  
пробирается легко.

Тики-таки, тики-таки!  
Стуки рыщут как собаки,  
стуки ищут новостей,  
стуки – суки всех мастей.  
Если даже и молчат,  
так сердца у них стучат,  
днем и ночью – тук-тук-тук! –  
по начальству ходит стук.

Стук на пишущей машинке  
легче крошечной пушинки.  
К высям лист его несет,  
словно коврик-самолет.  
Тик-тик-так! Тик-тик-так!  
Стук за так и за пятак.  
Стук такой не просто пишет –  
он и дышит, он и пышет...  
Чем, чем, чем? Чем, чем, чем?  
Впрочем, это ясно всем.  
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!  
Лучше всяческих услуг.  
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!  
Вхож к начальству этот стук.  
Так-так-так! Так-так-так!  
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

*26 июля 1968*

\* \* \*

На Мойке чайки над водой чугунной.  
Лепной полет их тяжелее глины,  
и бултыхаются по воздуху сухому –  
кувырк-кувырк – крылатые кувшины.

Ни звон, ни сон, ни зной из них не льется.  
И люди вечером и утром – мимо.  
На Мойке чайки крыльями неслышно  
по пустоте стучат неумоимо.

*30 июля 1968 – 10 января 1969*

### СЧЕТОВОДСТВО

Я кладу к себе на дно, итожа,  
всякий дебет с кредитом кладу,  
только сальдо мне одно и то же:  
наряду со всем и не в ладу.

Одиноко смотрят накость, тяжки,  
при подсчете горе и пустяк,  
и, как кости, дотемна костяшки  
мне стучат на грош и на пятак.

И со скуки то приткнет, то скинет  
грех со счетов палец указной,  
если даже худенькой тоски нет,  
словно дочка жалобной, со мной.

Скоро ли приблизится былое,  
если будущее так давно!  
Вычитаю вновь добро и зло я,  
и опять выходит всё равно.

Между жизнью как-то удосужась,  
чуда жду и ежусь сам не свой,  
а размером это чудо с ужас,  
суженный до сути гробовой.

*7–12 августа 1968*

\* \* \*

Тосковать! Но это так избито!  
И давно у модниц записных  
души больше не находят сбыта,  
а сердца валяются в мясных.

Тосковать! Но это – бить баклуши,  
по неделям сопли распустив,  
и тогда организуют души  
по моделям в дельный коллектив.

Образцы людские накаляют  
и, начав прямехонько с конца,  
без ножа и режут, и вставляют  
радостное сердце мертвеца.

Я познал науку шутовскую –  
и молюсь великому шишу,  
и грешу по совести, и вскую  
в бессердечной тишине пишу.  
Потому-то я и не тоскую,  
и чужой тоски не выношу.

*22 августа 1968*

## ИЗ СПАЛЬНИ

Постой! Из спальни, как из ванной,  
изваянная вполтепла,  
измаянная догола,  
ты статуею беспрозванной  
во весь гуляющий кадр вошла.

Ты упоенная в дрезину.  
Кусок и клочок ты, клик и клак,  
в восторге, твердом как кулак,  
и плотскую твою резину  
вскользь обволакивает лак.

И снова нагло выпот рясный  
водой стеклянной засверкал.  
Ты вновь в ладонях у зеркал,  
и с ног до головы потрясней  
ты корешам во весь накал.

*19 сентября 1968*

\* \* \*

Сам с собою впрягшись в пару,  
востроглаз и тугоух,  
волочусь я по бульвару  
вдоль скамеек и старух.

Чинно очень эта осень,  
очень точно началась  
и идет часов по восемь  
в сутки вскользь и мимо нас.

Нынче день демисезонный,  
светло-серый с желтизной,

и бульвар зеленой зоной  
весь – как отдых заказной.

И по паре всякой твари,  
точно он тебе ковчег,  
проплывает на бульваре  
под названьем Имярек.

*21 сентября 1968 – 11 января 1969*

\* \* \*

Ветер в ветках, в листьях и в хворосте  
по-мышинному вскользь шуршит.  
Сколько желти, сырости, хворости,  
желчи, горечи и обид.

Так разделим обиды порозь те –  
всем сестрам по серьгам, до слез,  
чтоб на третьей собачьей скорости  
и мечталось нам, и жилось,

чтобы серьги нб плечи капали,  
чтобы опаль металась в саду,  
чтобы мы с похмелья, с нахрапа ли,  
но на полном кабаньем ходу  
успевали догнать беду  
и в обнимку с нею похрапывали,  
а годы сзади накрапывали.

*5 октября 1968*



\* \* \*

Я стал обочь себя, как вол и стол рабочий,  
на четырех ногах посередине ночи.  
Бумага, как лицо, белеется на нем,  
лицо, которое неизменялось днем.  
Мне стало тяжело на жизни быть женатым  
и жертвы приносить прожорливым пенатам.  
И я в разводе с ней, с соломенной вдовой,  
хозяйкой доброю и бабой ходовой.

*Ночь с 7 на 8 октября 1968*

\* \* \*

Весна гуляет до отвалу  
и навзничь валится в траву  
и в ночь. И, право, не помалу,  
я просто пумилу живу.

И, напряженное по-бычьи,  
стоит в природе неприличье,  
и каждый крохотный сморчок  
себя считает за торчок.

Всему лежится и торчится,  
и жаться может через край,  
когда от радости ворчится.  
Эхма! Ложись да помирай.

*11 октября 1968 – 12 января 1969*

## КОРОТКАЯ ГРОЗА

Блеснула вдруг и полоснула  
по горизонту раза два,  
плеснула наспех и едва  
пол-улицы ополоснула,  
и, собираясь дать раза  
селу за то, что днем уснуло,  
она тихонько громыхнула,  
такая славная гроза!  
Потом рукой на гром махнула:  
«Сойдет и так, не до беды!»  
Черемухой чуть-чуть пахнула,  
чрез громовой ухаб махнула  
и, словно ахнув, распахнула  
глаза, и окна, и сады.

*23 октября 1968*

\* \* \*

По морю, по тропам,  
по горю, по бедам,  
себе же холопом,  
ты рвешься к победам.

Победы – как годы:  
на горб поналягут.  
Победы – как оды:  
предвестницы тягот.

Когда же не судишь,  
что ниже, что выше,  
себя ты избудешь  
и сим победиши.

*4 ноября 1968*

\* \* \*

Дожди уже с неделю перестали,  
пустынный сад остыл, и тишина  
чуть слышная едва-едва видна,  
и ни черта в магическом кристалле.

Рвануться? Плюнуть? Сосчитать до ста ли  
и ждать, пока ясней и тверже сна  
стоит пространство из прозрачной стали  
и отлита вода из чугуна?

Чернеют, как повешенные, сучья.  
Желтее клейм кленовые листья.  
Решетка в инее – как сеть паучья.

Пусты насквозь, топорщатся кусты.  
И сад постыл. Но пуще пустоты  
сияет мертвое благополучье.

*11–13 ноября 1968*

\* \* \*

Ввело мой ум, как в смертный Вавилон,  
во искушение последнее столетье.  
Век был велик, как грех, грядя со всех сторон,  
лез изо всех прорех, и топал словно слон,  
и длился как сплошное междометье.  
Как рощу, вырубил он сто своих колонн,  
разбил сто медных врат, украсил справкой трон  
и разложил, как общий род на виды,  
на составные камни пирамиды,  
и время разметал на полдни он.  
О, как отвесно расцветал неон –  
висячие сады Семирамиды!

Век прятал полночи в подземные хоромы  
и жил на громкую уру, когда к утру  
шли маршем и вразброд срамные громы  
и нудные перуны по нутру,  
натруженному жизнью, а снаружи  
блестели стекла, словно на ветру  
повешенные на просушку лужи.

И я был, как изделие, готов  
с высот нагромождаемых годов  
глядеть бездетно и слегка туда,  
где груды грузные и строгие труда  
игрушечными кубиками встали  
в пластическом стекле, в благопристойной стали,  
а в доме, как в магическом кристалле,  
мелькала светлой рыбкою беда.  
Бежала ввысь домов стоячая вода,  
и улицы всю свистали и ристали.  
И было страшно с временем расстаться.

Ибо городятся всем вздором города,  
и Богородица вопит, и Бога-старца  
течет рыдающая борода.  
Бегут посулы с улиц, на разгулье  
вонючей вечностью уже несет с высот,  
а кубики, как расписные ульи,  
гудят в сто тысяч опустелых сот.

*13 ноября 1968 – 29 января и 11 апреля 1969*

\* \* \*

Куда задевалась ты, провальная?  
Где затерялась, моя Вселенная?  
Слушай же ты, мировое дерево:  
Богу – Богово, зверю – зверево.

Ты – сердцевина,  
а я – луг.  
Ты всеповинна,  
а я глуп.  
И созревает натвердо грех,  
как нарастресканный орех.

Слушай, мое проклятое дерево:  
то, что утрачено, еще не потеряно.

Я – ядро,  
а ты – скорлупа.  
Я хитро,  
а ты глупа.  
Широкошумная, кривоколенная,  
шут с тобой! Знай вырастай, Вселенная.

*15 ноября 1968*

## ПОЭТ НА БАЛУ

Бел был бал  
с черными пятнами фраков.

К полночи пыл спал.  
Пол плыл. Спал  
за окнами замка Краков.

Ел, пил, пел,  
в сани без сил сел.  
Как ворота, снег заскрипел,  
конь поскакал караков.

Бал был бел  
с черными пятнами фраков.

Ветер с горы трубил  
и на моры с плеча рубил  
стих то Назонов, то Флакков.

Из-под копыт – пыл.  
Стыд по щекам бил.  
Жар гнул в дугу, гнал.  
Стоя, стал стыл,  
ждал, звал.  
Знал:  
был бел бал –  
пел, кружил, жил.  
В пене кружев летел  
голос, ласков и лаков.

Бал бел был  
с черными пятнами фраков.

*17 ноября 1968*

## МЫ

Мы – это мук неприкаянный мык,  
из тьмы предсмертный сбыченный мык,  
на самих себя нахмуренный хмык  
и рык в нутре: «На мыло!»

А мы-ста да вы-ста – высок помост.  
От мы-ста до вы-ста – на версты рост.  
Путь от мы-ста до вы-ста, как петли, прост,  
на рысьем бегу машет лисий хвост,  
на каждом шагу кулачный пост,  
на каждом посту этом по сто гнезд.  
В году, как в гнезде, мы – Великий пост,  
и вопль в петле: «На мыло!»

Мы – мышками в норках, мы – юрк, ни гу-гу!  
Мы в выдрах и в норках, как гады в стогу.  
Мы белками годы в колесном бегу.  
Мы мышцы сердечные – гнемся в дугу.  
Мы тук, отправляемый на тугу,  
и свалочный крик: «На мыло!»

Суемся, пасуем, и нас пасут,  
и нашу суть на базар несут.  
Мы сами себе – не позор, не суд,  
а вой с трибун: «На мыло!»

*18 ноября 1968 – 11 апреля 1969*

\* \* \*

Пусть залапанней, пусть залатанней!  
Стыну я! Только чем же была ты мне?  
Нет, не милочкой и не елочкой,  
не заколочкой, не иголочкой,  
не любовницей, не любимицей,  
не таинственной нелюдимицей,  
и ничуточки не трагической –  
просто ножик ты хирургический.

*20 ноября 1968*

### **QUASI-SONETTO DIDACTICO**

Искусство вечно недовольно бытием.  
Не терпится ему всё время что-то править,  
черкать, марать, чернить. И этого добра ведь  
у них хоть пруд пруди, хоть увози гужом!

Искусство вечно недовольно бытием.  
И ради славы радо хоть всю жизнь ославить,

ее на карту, на кон, к стенке, но поставить,  
и в нищих барствовать, и щеголять тряпьем.

Искусство вечно недовольно бытием.  
Есть, есть неровности! Зачем же зря лукавить?  
Но их так просто сгладить, то есть обезглавить,  
и всё тогда пойдет на лад, в ладах, ладом.

Искусство вечно недовольно бытием.  
Пренеприятный это у него прием!

*22 ноября 1968*

\* \* \*

Запорхала Правдочка,  
девочка Користина.  
Не дочка ты, а правнучка  
сухой старухи Истины.

Рябь на лице кукушечья,  
и вслезь она морщинится,  
Истина старушечья,  
бабка-матерщинница.

А была прабабушка  
девушка сладимая!  
Ба! И ты не бабочка,  
а диво шелудивое.

Так порхай, пархатая,  
так шурши, паршивочка!  
Стану с краю хатой я  
тебе, моя ошибочка.

*26 ноября 1968*

\* \* \*

Я вскрыл окно. По горизонту взрезав  
конверт стеклянный, взгляд прошел, как нож.  
«Солон, Солон! – вонзился голос Крезов. –  
Читай себе за солоно живешь!»

Как строчка жизни – улица любая.  
Но лыка не вяжу из той строки  
и, новости несолоно хлебая,  
чистосердечно лезу в дураки.

С курной избы до сладкого салона  
всё вести, новости и мысли, но  
мне дела нет до Креза и Солона,  
до мудрости. Я сдуру вскрыл окно.

*28 ноября 1968*

\* \* \*

Несть пророка в своем отечестве,  
зато по горло там разной нечисти,  
зато хватают за горло почести  
и – ох! – непрочно жить во пророчестве.

На искомое благоденствие  
движет ратью противодействие.  
Вот так и бывает, что не хочется,  
а само собой напорочится.

*29 ноября 1968*

\* \* \*

Ах вы мысли-гусли!  
(Только вы Давидовы ли?)  
Что же пригузгли?  
Или виды видывали?

Ах вы птицы-гуси,  
белы гуси-лебеди,  
пташечки-кукушечки!  
Что гнезда не лепите?

Ах вы птицы-гули,  
гули-гули-голуби!  
Зобы понадули,  
а согнули головы.

Ах вы парни бравы,  
воробьи-воробушки,  
нет на вас управы,  
нет на вас хворобушки!

Ах вы прыть-сороки,  
девки-трясогузочки,  
то ли вы в сорочке,  
то ли в белой блузочке!

Ах вы мысли-гусли  
в черепной коробушке!  
Ох, как тесно в русле  
бечь подружке-кровушке!

Сможешь, так в разгуле  
душу, Боже, жми-дави  
(гусли-мысли-гули!),  
но прости Давидови!

*4 декабря 1968*

\* \* \*

Покуда на умах, как на бобах, гадали,  
на камне ползала гадюкою корысть  
и некий Божий стих носился над годами,  
бурлили месяцы взახлеб, но свет не бысть.

А время тучилось и хлынуло бедами,  
и ветер по уху открытому хлобысть!  
И тот же Божий стих носился над водами  
и мраку плакался, однако свет не бысть.

И неба не было, и не было погоды,  
и молнии, взбесясь, хлестали вперекресть.  
По-прежнему чредой катили годы  
и стих божественный не мог земли обресть.

*10 декабря 1968*

\* \* \*

Ах ты, горе луковое!  
Задаешь мне перцу,  
будто смерть, постукивая  
по лбу и по сердцу.

А беда кагаловая  
валит с плеч девчонку,  
коготком покалывая  
в душу и в печенку.

Бабушка салоповая  
превратилась в Музу,  
смерть саму похлопывая  
по плечу и пузу.

А жизнишка шутошная –  
так себе, полдела,  
вправдошная, тутошная,  
глянет обалдело.

И что конь, постукивая  
черт копытом – выезд!  
Только горе луковое  
раньше очи выест.

*16 декабря 1968*

\* \* \*

Я знаю, что мой костяк –  
сгорбленный горем пустяк.

Ключица! Вода ключевая,  
где соломкой ломаться лучу.  
И чего я, о кость лучевая,  
от тебя – света, что ли – хочу?  
Почему тобой, кость плечевая,  
повожу и плачевно торчу?

Я знаю – студень ключ  
обегают камень горюч,  
тяжелый, как сердце – слышь! –  
сжимающий мышцы голыш.

Я весь и насквозь, и через  
силу, душу и в ах,  
но, насажен на черствый черень,  
кричит зевоглазый череп  
вороном на костях.  
И сторожит он остов,  
как дуб при всех ветвях.

А дуб – один на весь остров,  
а дуб – один на весь страх.

Я знаю, что каждый ключ –  
текущий к чему-то ключ,

что будто на бурном погосте  
и при жизни уже – замолчи! –  
как ручьи, растекаются кости  
и ломаются, точно лучи.

*16–18 декабря 1968*

## ЛЕС

Как в лесу – это значит блуждать,  
это значит не знать и теряться,  
у пенька вокруг да около ждать  
и на взоры навзрыд раздираться.

Как испуганно ждётся беды,  
под ногой нервно щелкают сучья,  
дрождью бегают пу мху следы –  
волчьи, заячьи, лисьи, барсучьи.

Всюду только заслон и отшиб.  
Опускаются замертво руки  
к землянике, где слышится шип,  
будто хлыст моментальной гадюки.

А кругом и пищат, и трещат.  
Это – тварь, до упаду живая.  
И пред смертным концом верещат,  
тишину до нутра надрывая.

Ах, зачем же ты в дебри полез  
прогуляться по таким мукам?  
Словно праотец прадедам лес  
и как дед только истинным внукам.

Не ходи! Не молись колесу!  
Слишком кровь у тебя суматошна.  
Очень страшно бывает в лесу.  
Но без леса страшнее и тошно.

*22 декабря 1968*

\* \* \*

Бывает, что, от радости робея,  
невыношенной жизнью тяжела,  
поводит изумленная Психея  
плечом девическим и без крыла.

Бывает, что она с плеча отрубит  
то, что сквозь тесный сон навзрыд и напролом,  
а то, что в яви, полусонно любит,  
но с плеч долой, махнув на всё крылом.

Бывает, проберет ее до дрожи,  
и скажет: «Плачем я за счастье заплачу,  
но то, что кажется всего дороже,  
бывает по душе, да – ах! – не по плечу!»

*22 декабря 1968*

\* \* \*

Телевизор – словно вьюга,  
в юность, в старость – всё равно!  
Что же ты, моя подруга,  
точно темное окно?

Наша бедная лачужка  
на десятом этаже.  
Что ж ты чувствуешь, пичужка?  
Чудо? Да оно уже.

Телевизор воеет, злится,  
плачет и дрожит экран,  
и нельзя слезой разлиться  
в счет чужих сердечных ран.

Наша честная лачужка  
не убога и не глушь.  
Расчудесная ты чушка!  
Ибо чудо – это чушь.

Мы удобные подобья  
и подобраны до йот.  
Нам, как доброе надгробье,  
холодильник пить дает.

Время – колесом стоосым.  
Други, вдоль и вширь вам пир.  
Но каким же пылесосом  
сердцесос, упырь, вампир!

Кто до благ в три горла лаком,  
чтобы гладь, да шнур, да лак,  
присосался вурдалаком?  
Не дурак ли вурдалак?

Не пойду к другим другиням,  
впусте липнуть мне к дерьму.  
Мы пропустим, опрокинем  
по одной, по одному.

Возле зрительных приборов,  
тяжелеть лишь пожелав,  
боком в сон и бог, и боров,  
жизни на ночь пожевав.

*30 декабря 1968 – 6 января, 31 июля 1969*



1969

### КТО Я?

Я думаю иль кто-то мыслит мной?  
Рука с плечом – мой? Или рычаг случайный?  
Я емь лишь часть себя иль гость необычайный?  
Начало вечности или конец срамной?

Настигнутый умом, я сплошь одни увечья:  
настеган истинами, еле-еле жив.  
И, голову в сторонку отложив:  
«Уж лучше Божья ложь, чем правда человечья».

*1 января 1969*

### СТРАННИЧЕСКАЯ ФУГА

Я? Путешествовать? Пожалуйста, постранствуй!  
Мы все в два счета: единица – ноль  
(и будет жизнь величиною с транс твой),  
с пространством запросто! На воле!! Нет, уволь!!!  
Я не хочу, чтобы из глуби шлема  
глаза косили, как дилемма  
(под корень?). Или враз: один на нас,  
другой же – ни-ни-ни! Не в Арзамас,  
а на кулак времен и масс.  
Охоты нет к престолу или трону,  
но нехитро простому электрону  
с частицей встретиться простой  
(престол Господень – вечности простой).  
Простаивает вечность бесполезно  
и, как закон, закончена железно.  
А если нет ее? Ах, в этом «если»  
покачиваешься, как в легком кресле.

Насыпать звезд (как курицам пшена)  
и разогнать их (как поток нейтронов)!  
А лучше – ничего не тронув –  
всё бросить. Жизнь разрешена  
(но свыше ли? во что?) и лишена,  
разреженная, даже тени сна.  
Титаны, ну вас с этой самой Этной,  
со скукой и с тоскою кругосветной.  
А околоземная тишина  
до ужаса бывает растяжима.  
Не вынесу я вольного режима,  
вселенской гордости! И брык с копыт! Кувырк!!  
Мне поперек нутра, увы, сей лунный цирк,  
где тени-акробаты, как известно,  
стоят шестами (ясно и отвесно).  
Но курочка по звездочке клюет –  
и не бывает отродясь сыта.  
А бодрый Бог за горсть души плюет,  
себя же в бок толкая: «Ни черта!»

*Ночь с 7 на 8 января 1969*

\* \* \*

Не прижился и еще не прожит,  
дребезжа, бежит, как трень да брень,  
грохнется – и рожу растворжит  
сам себе о лужу этот день.

Что он делает, разбойник, аспид!  
Но, прохожих чем-то веселя,  
по дороге похлебают наспех,  
как в любой столовой, киселя.

Носится по городу часами,  
и шумит, и во всю мочь блажит,

что-де не по моде причесали  
и что он не так-де пережит.

Но он все-таки переживаем,  
даже без особого труда,  
и с последним пьяненьким траваем  
едет в сон иль черт его куда.

*13–18 января 1969*

\* \* \*

Висит двадцатизэтажный дом,  
в пространстве застряв, как в лифте,  
висит как отесанный длинный гром,  
а рядом заря бежит бочком  
по нежно-синей финифти.

С небес поэтический начес  
убрать! Ведь век – не тетка,  
он не таковский, не простоволос,  
а я не какой-нибудь Христос,  
любому богу я – тезка.

Нельзя, говорят, лишь на небо залезть.  
А закрыться от жизни сенью?  
Живу я взахлеб. Не сочтите за лесть!  
Сажусь я в дом – и поехал! Есть!  
Ура моему вознесенью!

*2 февраля 1969*

\* \* \*

At existere er en Kunst.

*S. Kierkegaard*

Питаться чувствами, воспитывая чувства!  
А если по кривой зачем-то понесло?  
Держаться за весло? Держаться за тесло?  
Существовать есть некое искусство,  
безвременное ремесло.

Бытийствую или бытую?  
С кем ратую? Кого ратую?  
Какую истину святую  
я превращаю в запятую  
и после точки жду чего?  
Живется все-таки! И тем не менее  
существовать есть некое умение,  
остервенелое, как зубы, мастерство.

*Ночь с 3 на 4 февраля 1969*

\* \* \*

Помилуй душу дурную!  
Неверную я верну,  
найду, как избу курную,  
и в ней на жизнь прикорну.

А ну их, собольих да куньих!  
Как из пушки я буду жить  
в избушке на ножках курьих,  
и нежиться, и тужить.

В трубу не вылечу – дудки!  
Ты передом стала. Ага!

Баюкай же мне прибаутки,  
моя дорогая Яга!

*4 февраля 1969*

\* \* \*

На балконе, будто на краю  
зрения, портняжу без заказа  
и пространство нужное крою  
из куска огромного заката.

Что примйчу, то и примечу,  
не навек – на нитку, на живую!  
Пусть хоть так! А уж про то молчу,  
что копейки тут не наживу я.

Пропущу сквозь дымчатую мглу  
золотую тусклую иглу –  
глянь, и выйдет строчка молодая,  
и глазею, глаз не покладая.

*26 февраля 1969*

\* \* \*

Который год коплю себя вразброд!  
Я черств и скуп, рассыпанный на крохи.  
Как лая песьего, боюсь доброт,  
но пуще страшно от щедрот эпохи.

...А век чужой сочтет и подытожит.  
Авось он счастью – час, а горю – миг.  
Пищу я как Бог на душу положит,  
и, мысля вкривь, валю я напрямик.

*7–20 марта 1969*

## ИЗ ОКНА ВАГОНА

Видится всё из вагона иначе –  
словно всему и бредется, и едется.  
Снег закопился, нахохлились дачи,  
и без людей всё скользит гололедица.

Перемигнулись вон с лужицей лужица  
да и застыли, а тучи – как тройка.  
Вертится местность на месте так бойко,  
что голова у ней, кажется, кружится.

Впрочем, пейзажик рисуется проще,  
ибо увидишь почти что везде его:  
вышек железные жидкие рощи  
пообсажали кустами из дерева.

*3–10 апреля 1969*

\* \* \*

Город рисуется в самом апрелистом вкусе,  
пишет погода его без малейшей натужки.  
Льдины в Фонтанке, как дохлые серые гуси,  
еле колышут протухшие грязные тушки.

И за решеткою бродят торчком и нахохлясь  
умалишенные Летнего сада аллеи.  
Ветра внезапного окрик и яростный охлест,  
а в отдалении тучи сидят – водолеи.

И от напора небесного водопровода  
камни лежачие потом цыганским прошибло.  
Нет уж, в апреле слезлива недобро работа  
и акварели красуются просто паршиво.

*12 апреля 1969*

\* \* \*

Ох ты, естество поэтово!  
Уж так из нутра ты прешь,  
что даже и дуб от этого  
кидает в крупную дрожь.

Живут пресвятой богемою  
среди одноруких форм,  
и масса гетерогенная –  
им самый любезный корм.

Жратвы у них нет взаправдашней.  
Чугун наварив мослов,  
то скачут в метрический справочник,  
то дунут во рифмослов.

Ничто догола продуться им,  
была бы у них всегда  
огромная продукция  
и крохотная еда.

*12 апреля 1969*

\* \* \*

Торчало утро больше получаса  
в глазах, качаясь, как в окне сучок.  
С учетом мелочей я справиться не мог.  
На мокром месте, ах, пейзаж не получался.

Он чах и тем, что есть, меня заботил.  
Не счесть природную тьму тем доброт.  
Всё откровеннее, но нем, стоял разброд  
мохнатых веников, вихрастых метел.

Шагала роща с хряском кверх ногами.  
Шагалов росчерк! Просто фокус ты!  
И в фокусе, на фоне, как на гамме,  
был драный снег и гамузом кусты.

*17 апреля 1969*

\* \* \*

Лучше буду чушь пороть и я!  
Нипочем мне даже скотство.  
Буду сам себе пародия,  
зная ваше превосходство,  
только, ваше благородие,  
горько ваше благородство!

До того оно мне солоно,  
что почти совсем прокисло.  
Не сулит ни благ, ни зол оно,  
нет ни на волос в нем смысла.

Не хочу благополучия  
ни себе, ни для потомков.  
Дело выищу получше я,  
чем срамить-громить подонков.

Благородство ох как дорого  
на дороге на широкой! –  
Чадо мирового морока  
в браке с моровой морокой!

Воспарили до испарины...  
Долго ль гневу наостриться!  
Сочетались да и спарены  
браком братец и сестрица.

Благородствуют рачительно  
и юродствуют красиво,  
мыслят умопомрачительно  
за преславное спасибо.

Свет в окошечке – не шуточки  
среди отчаянного чада.  
Но ни крошечки, ни чуточки  
проку от такого чада.

*7 мая 1969*

\* \* \*

Я у себя сижу бочком да с краю,  
тасую годы и на них гадаю.  
А толку что? Когда последний год  
наступит мне на горло и заткнет  
проклятым кляпом рот сухой и плотку,  
а тело по течению, как лодку,  
поволочет безвременья река,  
туманная, как память старика,  
как бороды слезливой половодье...  
Послушай, Боже, отпусти поводья,  
дай закусить до крови удила,  
покуда смерть меня не родила!

*11 мая 1969*

\* \* \*

Нет, не к залам и не к салонам,  
не к эстрадам и бардакам –  
я со словом, до слез соленым,  
к бедным бабам и мужикам.

Не хочу по-людскому жить я!  
Стих – как грех – догола срамной,  
если ходит тоска мужичья  
вместе с бабьим горем за мной.

Не хочу быть вороной вещей,  
тошно мне пролезать в жуки!  
Нету мне ни мужчин, ни женщин,  
есть лишь бабы и мужики.

И от века, как слева-справа  
(суд-расправа им серый волк),  
горем славная Горислава,  
тьмой исполненный Ярополк.

Не блаженствующим пижонам,  
не рачительным дурачкам,  
а бездомным мужьям и женам,  
темным бабам и мужикам.

*21 мая 1969*

## ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

В декабре ли, в январе ли  
наварили акварели  
несусветной кашицы,  
так что свет лишь кажется.

А потом – кажись, в апреле –  
краски малость подопрели  
и пошли потеками,  
несколько потертыми.

А в июне иль в июле  
акварели ярь раздули

и в разгуле с августа  
всё писали нагусто.

В октябре ли, в ноябре ли  
акварели подобтели,  
скисли понемножечку  
и сосут под ложечкой.

*21 мая 1969*

### СТАРАЯ ПЕСНЯ НА НОВЫЙ ЛАД

Ах вы сашки-канашки мои!  
Развеселые монашки мои!  
А монашки-то все худенькие,  
хило-жидко-слабогруденькие!  
В них убоженького – ничегошеньки,  
а в кармане у них блошки-вошеньки.

Ах вы сашки-канашки мои,  
развеселые монашки мои!

Целоваться им – что христосоваться,  
обниматься им – что отесываться.  
Честь из чрева им – поди вычисти!  
И родив живут во девичестве.

Ах вы сашки-канашки мои,  
развеселые монашки мои!

Только скорбью они и балуются,  
только с образом они и целуются.  
Пробираются по миру, как по сутолоке,  
пробирают их порой дрожь да судороги.  
Побираются, взяв долг на закуорки,  
в уголке в рай играют, как в куколки.

Ах вы сашки-канашки мои,  
развеселые монашки мои!

А судьба их сидит крюкорукая,  
новорожденное горе баюкая.

*25 мая 1969*

### НА ВОЛКОВОМ КЛАДБИЩЕ

Город мертвых, некрополь,  
сад смертельно нагой,  
где гниющая опаль  
шепчет вскользь под ногой.

Он завален веками  
неминуемых времен.  
Плачет до крови камень,  
крест не клонит рамен.

Грянет снежная заметь,  
в саван спрячется ржа.  
Но чугунная память  
нанялась в сторожа.

Долго ль сможешь Ты, Боже,  
с мертвецами прожить?  
Ведь и сторожу тоже,  
чай, не век сторожить.

*26 мая 1969*

## НОЧНОЙ МОНОЛОГ НА ЛУГУ фугетта

Я жду. Два ельничка торчат, как сторожа  
зубчатые, у ночи под началом.  
Я жду и думаю, о прошлом ворожа,  
как ворог сам себе. И вот на чалом  
какой-то скачет ошалелый черт  
по лунно перечеркнутому лугу.  
И дым над речкой ледовито тверд.  
Эй, друг! Будь милостив и окажи услугу,  
попридержи коня, подпругу подтяни!  
Кому? Я жду. Чего? И в чьей тени?  
Совою плавает и плачет слово,  
и чалый, как в чаду, глядит солово.

Ах, слово, слово! Лунь, неясить, сыч,  
осоловелая сипуха!  
Я жду, благословляя ночи дичь  
во имя чепухи, что легче пуха.  
Как нету ни кола и ни двора,  
так нету мне ни пуха, ни пера.

А перья – будто крылья. А я жду.  
Со слова облетают эти перья,  
оно ошипано до дрожи. И теперь я  
у дальнего рассвета на виду –  
брожу? Иль брезжу? Ночь – за командира.  
И сколько этого затеянного мира  
загеряно. Но где? Какую пору ждать,  
и что еще возможно порождать  
и заживо принести в таком пейзаже,  
где суть, как муть, всегда одна и та же?  
И, презирая дружбу и вражду,  
чего угодно, но не утра жду.

*Ночь с 1 на 2 июня 1969*

## ФУГЕТТА

Я – чей-то сон. А в нем я колесован?  
Верчусь, как белка? Или по углам  
обрывками бессовестно рассован,  
как допотопный позабытый хлам?

Кто меня спит и видит? Громко? Молча?  
Какому мне и как я снова снюсь?  
По-человечьи, птичьи или волчьи?  
Злюсь, веселюсь, смеюсь или казнюсь?

Кобенюсь сам? Или меня кобелят?  
Зачем собачьим языком дразнюсь?  
Когда ж меня заменят? Иль отменят?  
Когда я вкривду самоупразднюсь?

Над явью толстомясой надругаюсь.  
Простуха духом мне не по уму.  
И всем его нутром я содрогаюсь,  
что где-то снюсь себе же самому.

*7 июня 1969*

## СОБАЧЬИ СТИХИ

Нет, я жить еще не ленюсь,  
а ерошусь да ерепенюсь,  
как кобель цепной беленюсь  
и, себе же винаюсь, кобенюсь.

Зря холодной воды не лей  
и не сыпь на меня порошей!  
Без обиды я – дуралей,  
и хорош мне ум скомороший.

Я не вою и не скулю.  
Пес с ним, с воем! Я жить желаю,  
и за то, что я так люблю,  
ощетиниваюсь и лаю.

*24 июня 1969*

\* \* \*

Шар земной совсем заразмышлялся,  
вспомнив, как он раз за разом шлялся  
по орбите всяческих веков  
и что до сих пор не был таков.

И вот теперь он до того скорбит,  
что вылезают зенки из орбит.

Ну, и как ему дальше жить?  
Вкруг себя же опять кружить?  
Иль придется ему свихнуться с оси  
(иже еси на небеси),  
ибо, грозно приблизясь, движется  
на него прописная ижица?

Да, раздумался шар земной,  
аж кругом идет голова-то!  
Перед ним простор как хмельной,  
но в просторе том – головато.

*25 июня – 10 сентября 1969*

## Я С ЖИЗНЬЮ РЯДОМ фуга

Я с жизнью рядом. Но не вместе с ней?  
(А лишь во сне?) Но как тогда? Бок о бок?  
Разметаннее иль тесней?  
Измучен? Безразличен? Или робок?  
Она ль покойница, иль сам я гроб  
(повапленный, поваленный колодой)?  
Она ли дышит изо всех утроб  
(и от нее несет дебелую природой)?

Я с жизнью неподвижно лежу,  
но жалости я не подам и вида,  
лишь с чьих-то век слезу тяжелую слижу.  
– Помилуй, Господи, царя Давида  
(и кротость яростную)! Ты – моя бесстыда,  
и между нами провожу  
такую чуждую межу.  
Слижу, но слажу ли с тобой, моя обида  
(тяжелая и слезная)? Слежу  
свое остылое, бобылий свой очаг  
и тело длинное тяну подобно кличу  
(о смерти). Неужель я так зачах,  
что всяческие мелочи в очах  
(в отчаянных) до боли увеличу?

Я с жизнью рядом, и глаза в глаза  
вонзаются всё злее год от года.  
Из худа ни добра нет, ни исхода.  
Да и не надо! Вот она, свобода –  
лежать, не разумея ни аза,  
как с вековой колодою колода.

Жить – как лежать. Привычнейшая жуть!  
И с боку на бок, ну хоть как-нибудь!



О нежить нежная! Соленая русалка  
и медленная сонная вода.  
Лежится мне ни шатко и ни валко  
(свобода боли, право, – не беда!).

Ты жизнь иль женщина? Я с жизнью рядом,  
с такой лобастою, на месте, вплавь...  
Не поздно ли идти на дно к наядам?  
Соленый всплеск очей? Ты – женщина иль Навь?  
Поканителиться она не прочь. Молчит.  
(Пока не телится и не мычит  
и, сбоку будучи, отсутствует сурово,  
в фиалку превращенная корова.)

Ты – вывернутый наизнанку миф,  
ты – лежище ума, одетого наничку,  
ты – чуждая кума. С тобою покумив  
какого-то себя (и руки притомив),  
я счастье – словно птичку-невеличку  
в грудную клетку – запер и гляжу,  
как длинно с жизнью рядом я лежу.  
Как медленно! То как сама стихия,  
то от бессилия зевая жалко,  
как Зевс безрогий, во весь рот. Ах, Ия!  
Фиалка, телка, девка и русалка!

Скажи мне, жизнь моя, тихонько, кто ты?  
Хоть на ушко одно словцо шепни!  
Зачем молчишь, глядя во все пустоты  
(где только камни под ноги да пни)?

Утрата – как отравы мне к рассвету,  
и разом выпить, право, просто яд.  
Но всякий раз глаза с утра вопрос таят.  
Они при мне и вечность простоят,  
глаза, которых, может быть, и нету.

С Неладой-жизнью, пребывая рядом,  
я обнимаюсь неумным взглядом,  
как лядвеи огромным, и всем стадом  
усталым слягу, голову сложу  
под этот взгляд, где брежу и блажу,  
где еле брежу, жалобно и нежно,  
где чуть ворочаюсь (брезгливо и небрежно)...

Я с жизнью рядом – с Блазнью или с Блажью? –  
благословляя силу вражью,  
русалочьи – ничейные – глаза,  
лежу, не разумея ни аза.

*1–18 июля 1969*

\* \* \*

Дорогая, тебе я вышью  
день пейзажный гладью да тишью,  
и природы славянская вязь  
побежит и вياءь, и резвьась.

Отойди, губернатор с тюлем!  
Отпусти пернатых из тюрем!  
Распахни себе клетку грудную,  
стань к беде и горю вплотную!  
Подыши горькой волей с часик!  
Пусть ландшафт вышивает классик!  
Ты, блатную мяя, не обхаживай!  
А пейзажи сдыхают заживо  
в каждом климате, в каждом веке –  
и пейзажи ведь человеки.

*5 июля 1969*

\* \* \*

Говорят: отдохнешь в могиле  
и навеки в гробу уснешь.  
Чушь! Такой утешительной гили  
не под стать никакая ложь.

Лучше заживо с кругу спиться,  
с мысли сбиться – и в рай вранья!  
Если даже в гробу и спится,  
то никто там спит, а не я.

*12 июля 1969*

## **ЯМА фуга**

Я емь помойная великой Яви яма.  
Всё не по-моему! – Мне воли нет и нет! –  
В меня летит с небес помет комет,  
и я зияю голым глазом срама,  
сияю пустотой, как рама  
(где, небытийствуя, изображен предмет),  
как рама вдрызг разбитого оконца,  
слепорожденная дыра,  
взирающая оком незнакомца  
на все окраины вселенского двора,  
двора с помойной ямою и с кучей  
навозной, грозной (словно гроб иль гром),  
и надокучил я себе, как дождь трескучий  
(костлявый дождь), который хил и хром.  
И вот, ощерясь, точно зверь рыскучий,  
и ощетинясь всей собачьей тучей,  
я по утрам сживаюсь со двором,  
не зная чем, душой или нутром,

а ночью, выпав, как несчастный случай,  
о землю колочусь звездой падучей.  
Двор развезло, и вот всё непролазней  
тащиться глазу по колено вброд,  
а то и по пояс в соблазне  
(себя разиня, как огромный рот).  
Двор развезло. Всё липнет или вязнет.  
Вот как по горло мне везет!  
– Какая разница, кто чем кого-то дразнит! –  
Двор развезло, как пьяницу под праздник.  
Эй, шире, грязь! – Навоз ползет!

Давно знакомое мне стало как-то дико.  
Всё сбилось в кучу (встало на дыбы).  
Жизнь – что слепые ямины Эдипа  
(как памятные вмятины судьбы),  
и взгляды – как (в Великий пост) ухабы,  
и ухают они до самых разных бездн.  
Ни повитухи бы, ни пастуха бы,  
ни семени, ни жизни из ложесн!  
Улыбка выглянет из рамы (как ошибка),  
пришипится да и в лазейку – шмыг!  
Глазей пустотами, слепой пастух Эдипка!  
Пусть очи выпиты, но задний двор велик.

Я свальная – страстям невольным – яма:  
желания ложатся в ней за рупь,  
за рупь-целковый, за тоску Адама,  
и ярость бычьего проникает вглубь.

Блуди, Эдип, с родительницей Мойрой!  
На бисер слезы и на свалку тщу!  
Разинут ямой я, по-своему помойной,  
и мусор перед Музами мечу.

*17 июля – 13 августа 1969*

\* \* \*

Будто искрящимся зернам,  
гулькают голуби зною.  
Булькают голубизною  
взоры по глубям озерным.

Тихими взмахами взгляды,  
плеч оробелые всплески,  
и загорелые, резки,  
руки глядят из прохлады,

словно русалки в глубинах  
дивно и плавно тоскуют.  
И переливно воркуют  
рокоты тел голубиных.

*26 июля – 6 августа 1969*

## РОМАНС

Пусть вам покажется, что я уже сломался.  
Я не могу, как пес, от радости визжать.  
Мне жить не можется под голосом романса.  
Позвольте мрачным быть и даже побрюзжать!

Уверены в себе лишь олухи да дети,  
и радость прет из них как будто на заказ.  
Нет, скорби не предам я ни за что на свете!  
Позвольте мрачным быть, не сетуя на вас.

Не хочется мне быть ни сильну, ни красиву,  
похмелья не хочу ни на каком пиру,  
и, право, тошно мне веселье через силу.  
Позвольте мрачным быть, покуда не умру.

Я мыслить не могу привольно и приплодно,  
мне в горле и в гробу колом навек торчать.  
И вот живется мне беспесенно, безодно.  
Позвольте мрачным быть и даже поворчать.

Собачусь медленно и, то да се облаяв  
и правду отрубив, зеваю во всю пасть.  
Берет меня не желчь, а горечь за хозяев.  
Позвольте мрачным быть и даже духом пасть.

Мне, псу бродячему, под сивый хвост законы,  
нет даже и цепей, чтобы их потерять.  
Во имя правды той, с которой все знакомы,  
позвольте мрачным быть и жизнь обматерять.

*28 июля 1969*

\* \* \*

Я по двести процентов в месяц даю,  
да и буду давать до гроба.  
А от Господа Бога не утаю,  
что полна пустотой утроба.

С утра я сам себе господин  
и даже бываю сверх нормы,  
а ночью с собой я вовсе один,  
хотя и всё той же формы.

Поутру я – сам дальнорский труд,  
работающая масса,  
а ночью черти на терке трут  
и душу мою, и мясо.

Сама собою рука сверлит,  
и вкалываю обалдело.

А что у меня и где свербит,  
вам, черти, нет и полдела.

Я бесшабашью и лени враг.  
– Здорово живете, ребята! –  
Пусть я не Сократ, но и не дурак:  
насквозь я знаю себя-то.

*28 июля 1969*

\* \* \*

Я сегодня отчего-то весел.  
Оттого ль, что брюхо не болит,  
что ко мне вселили пару кресел  
иль что дождик не был с неба лит?

Или что все новости в газете –  
заурядные, как этот день,  
или что на радиорассвете  
вновь не дребезжала дребедень?

Я сегодня рад помимо воли,  
словно выдул пива полведра,  
и я веселюсь не оттого ли,  
что веселым быть пришла пора?

*28 июля 1969*

### **ФУГЕТТА**

Всяк сам себе пречестное зеркало,  
стоит ли вкось оно, висит ли вкривь.  
И надо, чтоб оно и насмерть отрицало,  
и утверждало нечто вживь.

А взгляды по стеклу – как по кремню кресало,  
как об стену горох (и тут же по лбу хлоп).  
И надо, чтобы нечто воскресало  
и хоть бы что-нибудь ложилось в гроб.

Блуждая в зеркале, ну черта ли поймете?!  
Лицу оно теплица (и отшиб!).  
И на примете (на любой), как на помете,  
растет лицо – на тонкой ножке гриб.

Нет, есть же и у зеркала изнанка!  
И знак оттуда – каждый – как клочок.  
На тонкой ножке бледная поганка  
всё не поймет, какой она сморчок.

*28 июля – 2 ноября 1969*

\* \* \*

Как сестры милосердные, три парки  
на маленькое тело бытия  
напрасно ставят, то елей лия,  
то молча, то по-бабьи вопия,  
горчичники, пиявки и припарки.

А дело жизни, потно и недужно,  
лежит так медленно и так натужно,  
как на полке и час, и два, и три,  
запарясь ото всей души наружно  
и распираясь от тоски внутри.

*17–22 августа 1969*

## РИФМЫ

Орете, как ребята полоротые,  
и всё на одной и той же нотке,  
как на нитке, держитесь, рифмы-уродины,  
недотепы вы и недоноски!

Куда же деться с такими детками,  
распоясавшимися уже с детства?  
И вскоре вы делаетесь легкими девками,  
охотницами раздаться и раздеться.

И на толпу так и претесь, голопупые,  
таща на веревке строки нервно,  
и торчите как чучелы, как пугалы,  
простоволосые, легкодоступные,  
с замашками Милосской Венеры.

Перестаньте в глаза трещать и тыкаться!  
Ведь вас и так уж горой раздуло.  
Спрячьтесь меж слов, срамницы бесстыжие!  
Хоть строчкой прикройтесь, дуры вы, дуры!

*22 августа 1969*

## БОСХ

Мозг выполз, как в извивах воск,  
епископ посох уронил.  
Небось ты бог? Небось ты Босх?  
Небось святой Иероним?

И ухо, полное греха,  
горит, как плоть, во весь накал,  
и, сладко корчась, потроха  
людей рожают, точно кал.

На арфе распят голый слух.  
Отвисла похоть белым задом.  
Пять глаз, как пять пупов, укрылись за дом,  
сбежав с рябых грудей слепых старух.  
И два отвесных тела рядом,  
два оголенных райских древа –  
долдон Адам и баба Ева.  
Она круговоротом чрева,  
а он напыщенным шишом  
бытийствуют, и нет ни лева,  
ни права в их саду косом.

А страсть тверда, как кость, как остов,  
как гостя гордая погостов,  
и тело кружится, как остров  
в житейском море суеты.  
Увидишь о своем часу и ты,  
как славно скачут черти в кале  
и забивают кол в Господень хлеб  
и как в три яруса по вертикали  
вселенский вертится вертеп.  
А я – твой глаз, и взором бос,  
и у тебя в когтях храним.  
Небось ты боль? Небось ты Босх?  
Небось святой Иероним?

Грешит седая борода  
над раскоряченной любовью.  
В огне по горло города  
прикованы к средневековью.  
У колб, реакторов, реторт  
хвостом накручивает черт,  
и атомы летят на части, –  
и вавилонские напасти,  
и всеегипетские казни,  
и блудодейнейшие блазни

ползут, как слизи, в драный нос.  
А черный замок, точно печи,  
обугленные поднял плечи.  
В огне и тьме он – как Патмос.  
И Босха дьявольская пасха  
от адской радости строга,  
когда бесенок за подпaska,  
а страсть подъята на рога.

Колдуньиной иглою воск,  
скажи, не насмерть ли раним?  
Небось ты бой? Небось ты Босх?  
Небось святой Иероним?

Забрался бес к тебе в ребро,  
и раком ползает добро.  
И не оно ль того хотело,  
что где-то, клейко забелев,  
в обтяжку лайковое тело  
надето на прохладных дев?  
Отшельник ежится в пещере,  
а Блуд впился в сосцы Беды,  
и страхи Божьи, зубы щеря,  
раздули щеки да зады.  
Отшельник ежится в пещере,  
когда над ним занесены  
и блещут тщи, как Лота дочери,  
и сны, как блудные сыны.  
Ах, маленький святой Антоний!  
Завыл, как волк, слепой посул,  
и душ вытягивает тони  
с апостолами Вельзевул.  
Бесовский рой вещей в пещере  
озорничает ввечеру,  
вонзая зло и злобу в щели,  
вгрызаясь в каждую дыру,  
загнав под ногти и под кожу  
всесотрясающую дрожь

и привалясь к тебе, как к ложу,  
багровою оравой рож.

Всеядье – и разгульный пост!  
(Скользнула ласочкой ятровь.)  
Небось ты бес? Небось ты Босх?  
Небось небесная любовь?

*27 августа 1969 – 24 апреля 1971*

\* \* \*

За примету прячется примета:  
камни мертвой рвотой, грудки  
веком не схороненной золы.

Медленно обугленное лето,  
точно пальцев кроткие обрубки,  
слепо раскорячило стволы.

Ну а мы где? Боже! Где же мы-то?  
Тихо реет воздух опаленный.  
Страшен Иоанн Евангелист.

И ничто еще грозой не смыто,  
и слезой или соплей зеленой  
кое-где повис на ветке лист.

Так чего же эта жизнь взыскует?  
Ни черта от памяти не спрячем,  
молча будет черный сад расти.

И, склоняясь с сиротливым плачем,  
ангел как помешанный целует  
бытию последние кульги.

*28 августа – 11 сентября 1969*

\* \* \*

Природы нет. Природа только снится,  
и в три погибели построен сон,  
а все-таки до выси вознесен,  
и тьма вещей вокруг него теснится.

Что делать с ней? Она не прояснится.  
И вещи – вроде маленьких персон.  
А сон разламывается, и звон  
стоит в ушах, и ноет поясница.

Чего-то не стаёт. Зато среда  
настала и на горло наступила.  
О правду время зубы иступило,

измучилась от горестей беда.  
А что такое нынче наступило?  
Четверг иль вторник? Или же среда?

*5 сентября 1969 – 5 января 1970*

\* \* \*

Приходит гость из Гатчины,  
как приговор от них, –  
бобровый, молью траченный  
расстрига-воротник.

Метет он бородищею,  
язык тяжел, как пест,  
и в нем судьба Радищева  
и Аввакумов перст.

И доля дуралеева  
лелеет, точно мзду,

в себе звезду Рылеева,  
Полярную звезду.

Несчастьем одураченный,  
но чем-то вечно юн,  
ершистый, молью траченный,  
страдающий ворчун.

Бредя походкой шаткою,  
он с болью – как с собой –  
собольей машет шапкою,  
как на судьбу рукой.

*6 октября 1969*

## РИЧАРДСОН

Где в небе стая голубей вилась,  
а липа листьев ливнями шумела,  
любовь, как приживальщица-омела,  
на чистом поднебесье завелась.

Там, на судьбу поднять не смея глаз,  
любила трепетно и неумело  
печальная и милая Памела  
и ласков был до боли Ловелас.

И сад умолк, как вымершее слово,  
остановился, как застывший сон,  
где замер в воздухе вечерний звон,  
где посреди любезного былого,  
в дряхлеющие думы погружен,  
зевнув со скуки, дремлет Ричардсон.

*8 октября 1969 – 1 марта 1970*

\* \* \*

Пусть я думаю сбоку,  
а не выдумать пороху,  
не избыть мне заботу,  
не пустить ее по боку.

Пусть я мыслю вплотную,  
но, забота, тебя-то я,  
как зануду бладную,  
не забуду, треклятая!

На меня ты не нукай!  
Я и сам тебе: «Ну же, ну!»  
Но связаться с занудой –  
самому быть занужену.

*6 ноября 1969 – 19 июня 1970*

## МУЗЫКА фуга

Я – музыка, посаженная в клетки.  
Так воют от неволи и тоски,  
взьерошиваясь, тихие зверьки  
(мои неприрученные последки).  
Так плачутся, пища в руке, пичуги,  
выводят в воздухе предсмертные азы.

Я – музыка щетинящейся фуги  
(а бедные лады все загнаны в пазы).  
И опростоволосился и воет  
по-бабьи голос мой, сползая окарачь  
на полутонах. – Кто ж его удвоит  
и выведет на волю в полный плач?

– Прислушайся к себе зверьком, милочек! –  
Кого там принесло? И рук – невпроворот.  
И в них я – музыка волокон, оболочек,  
растворов, ядер и кислот.

Как изваяние, бывшее забелело  
и снова быть себе велело.  
Лицо настало холодно и жестко.  
Изнанка? Или хмурая стена?  
Или вещей и чувств тяжелая спина?  
И сыпалась с него пахучая известка.  
И люстра с потолка высокого сползала,  
сияя, как огромная слеза.  
И гибла музыка, и плакало с ползала,  
и жалостью давилась железа.

Хрустальным древом или водометом  
из безвоздушного стекла  
вздымалась музыка глухонемым полетом,  
росла, дробилась и текла.  
Тянули за нервические струнки,  
всю жизнь мою по жилкам разложив.  
И гибла музыка. Чернели, точно лунки,  
места очей. А я как назло жив!

И неумною, лишенной прав вдовою  
на нервах мне играет фуга. Чу!  
Не подпеваю ей, но, правда, вою  
или во всё нутро – звериное – рычу.  
Глаза – как завязи, но от погоды киснут,  
их яблоки – соблазн, но несъедобный плод.  
Как смертник в камеру, я в клетки втиснут,  
я, музыка и ядер и кислот.

*7 ноября 1969 – 17 марта 1970*



## О САМОСТИ

Сам-то я сам, да пришла пора,  
что у меня ни кола ни двора.

Пришла та пора на бездомный двор,  
где я сам себе хозяин и вор.

В свою же избу сам-друг я – шась,  
да вот не ведаю, что украсть.

Сам-то я сам, да пришла пора,  
когда я – чужому зверю нора,

когда я – чужой отаре загон,  
когда я и нови и стари – Он,

когда вдоль по мне крадется страсть –  
самого себя у других украсть.

А отчего же таится тать?  
Разбойником, что ли, боится стать?

А разве легко себя воровать?  
Не лучше ли будто клад вырывать?

А сколько до клада? Аршин? Вершок?  
А что отыщешь? Большой горшок.

А вытащишь толстый горшок на свет,  
так в нем и медной монетки нет.

Вот тут и скажешь: «Эх, не жалей,  
а тех же щей да погуше влей!»

Сам-то я сам и живу тишком,  
да башка у меня на колу горшком.

Жирей не жирей, худей не худей,  
а всё у меня не как у людей.

Сам-то я сам, похлебал всего,  
да у самого своего ничего.

Только и есть, что не по-людски  
виски от тоски беру в тиски.

*7 ноября 1969 – 17 февраля 1970*

\* \* \*

Небо выперло свой препузатый свод,  
голодное брюхо, пустой живот,

живот голубой, где гудят слегка,  
клубясь кишками, облака.

Порою оно с мировой тоски  
водицей полощет себе кишки,

с которой всегда понос прошибет.  
Ой, худо голодное небо живет.

*9 ноября 1969*

\* \* \*

Стоит пустой, остыв давно,  
простор, в котором всё равно,  
в котором низ взметнулся вверх,  
а вторник врезался в четверг.  
И лишь одна среда – средой.

И я иду, как дождь седой,  
мотая долгой бородой,  
такой, которой нет конца,  
как изречениям мудреца.

*16 ноября 1969*

## ПАМЯТЬ

### 1

Память – эхо, отрывка,  
потягота и резь!  
Неужели же крышка?  
Неужели же весь?

И куда волокусь-то,  
если зря молодец?  
Где забвенья искусство,  
то, которым владел?

Не подсыпано яда,  
нету в спину ножа...  
Без просыпу наяда,  
мне во сне предлежа...

Выпал с музой нагою –  
я-то думал – удел,  
а и вправду – на горе,  
на беду молодец.

С нимфы канувшей, с Эхи  
снимок делся куда ж?  
Даже ради потехи  
наглядеться не дашь.

Не откликнуться Эхе.  
Хоть бы взгляд или вздох!  
Ахи, охи и эхи –  
как об стенку горюх.

Хоть на горе бы льготу!  
И не стоит скрывать,  
что во всю потяготу  
не застонет кровать.

И не скрывать за память,  
милый образ губя,  
и не переупрямить  
ни тебя, ни себя.

Из своей из избы-то  
не сбежать, голося.  
Неужели избыта?  
Неужели же вся?

*20 ноября 1969*

### 2

Память – чудо и чудовище,  
лоб в ладони и змея,  
ласка и не знаю что еще,  
знаю только, что моя.

Будешь век собой бездомница,  
но и двадцать лет спустя  
буду я тебе всё помниться  
то с досадой, то грустя.

Появлюсь под вести горести  
я, а не какой-то он,

вваливаясь в виде повести  
или вламываясь в сон.

Воля пусть твоя исполнится,  
но потом в кругу обид  
сколько раз тебе попомнится,  
сколько раз вдруг защемит?

Нет ни мути и ни памути,  
ясно так, что не прикрыть.  
Я люблю тебя без памяти,  
потому и не забыть.

*24 ноября 1969*

### 3

Как образ мне – праматерь Память  
в моей отравленной гульбе.  
Ведь ты была мне точно памать,  
а я был паотец тебе.

А ну скажи, кому другому ж  
ты можешь стать еще такой,  
когда я был тебе приемыш,  
а ты – подкидыш вечный мой?

Мне на моем приволье больно,  
ибо мне больше не паит.  
Лишь память злобная любовно  
попынкой водкою поит.

*25 ноября 1969*

## ВСТРЕЧА

Ты снова явилась, да только такой,  
что стало мне в воздухе вязко, –  
кукушкой, себе налетавшей покой,  
чернея очков полумаской.

Лицо – Богородицыной худобы.  
(Такое писал бы Моралес.)  
Так вот что сработали обе судьбы,  
так вот как для нас расстарались!

Один, в три погибели я горевал,  
ты – радости не пожалела.  
И вижу: идешь и живешь вперевал,  
осела и отяжелела.

Ну что же! Хоть вовсе глаза затекли –  
что случилось с тобою, то стало!  
И ноги теперь у тебя отекли,  
ах, те, на которых летала!

Идешь, нарочито лицо камня,  
и сердце, поди, заскорузло.  
Как тяжело шагаешь ты мимо меня,  
как грузно! Как тошно! Как грустно!

*27 ноября 1969*

## ЯСНОСТЬ

### фуга

Ясно! Очевидно! (Даже вправду.) –  
и до равнодушной моготы –  
нашему ли, своему ли брату –  
ну, тому, ты знаешь, с кем на «ты»

мы бывали... – Но не быть возврату,  
ясно (до смертельной темноты),  
ясно (до итоговой черты),  
отделяющей от взгляда сцену,  
где с такую силою видна –  
только, Боже, за какую цену! –  
размалеванная глубина.  
Срам прикрыв, одеты именами  
мы, как вещи. Две? Иль несть числа?  
Жизнь там, что ли, по боку прошла?  
Мимо нас? (Иль между нами?)

Между нами, между нами  
(спорить бесполезно!)  
начинаются цунами,  
закипает бездна.

Ясно и до рези очевидно. –  
Чей же взор изрезан на куски?  
Светлый и сиятельный, бесстыдно  
шел он прямо, честно и невинно,  
шел, как луч, до гробовой доски.

Ясно, и понятно, и прозрачно!  
Не пойму, к чему вся эта муть!  
Ваша светлость, выглядите мрачно,  
так что больше в Вас не заглянуть.  
Сунуть ли, печали потакая,  
если Вы отчаянно такая,  
если Вам любая суть не в суть?  
И во избежанье нареканий  
преспokoйный океан в стакане,  
буря милая, не баламуть!  
Ясно. Нету никаких загадок.  
Пустоту одну вопрос таил.  
Помутилось малость. А осадок?  
Что он? Горечь? Соль? Иль просто ил?

Постоим, как на окошке в кружке  
позабывшее питье.  
Отхлебнули горя из друг-дружки –  
и пойдем опять в житье-бытье.

Но зачем же между нами,  
долгий друг бездомный,  
так и дыбятся цунами  
от тоски поддонной?

Ах, так правда? Просто-таки правда?  
Чистая? И без кровинки лжи?  
Без запинки? Наотрез? Скажи!  
Нету на Диану Герострата!  
Даже чувство мести не в чести.  
И растраву ты в графу «Растрата»,  
может быть, прикажешь занести.  
Что ж! Наш брат и не такое может.  
(Бедный океан в покое спит.)  
Но вода тихонько камни гложет,  
жжет соленой накипью обид.

Между нами, между нами  
(верно, есть причина)  
волны стали валунами  
и молчит пучина.

Клином – клин! И, правду проклиная,  
между нами ты давно иная.  
Думаешь, что двое нас всего лишь?  
Много нас! И всё же мы одни  
между всяких своих и родни,  
но ты ни гу-гу и ни-ни-ни,  
ни себе, ни мне ты не мирволишь.  
Знать не хочешь бедную изнанку,  
просчитавшись на простом.

И не кликнуть верную Дианку,  
на себя махнувшую хвостом.  
Но живу еще, развеса уши,  
весь, сполна и целиком.  
Или вправду от собачьей чуши  
сбилось сердце в бестолковый ком?  
Залежалось? А теперь? Сейчас-то?  
Так и стукнул бы в огромный лоб  
правду, распроклятую простушку!  
Ибо часто-часто, слишком часто  
распеваю я частушку,  
как четушку пьют захлеб:

Стал зачем-то между нами  
сам простор, как язва.  
Правда бродит между снами,  
только слишком ясно.

*7–29 декабря 1969*

**1970**

**БАЛ**

Протаптывалась танца трасса,  
мотались патлы и хвосты,  
и юный бал в падучей трясся  
и в окнах колебал кусты.

А Игорь вился, будто угорь,  
то замирал, торча колом,  
то образуя острый угол  
с подругою наперелом.

Ее извилистые ноги  
немногим были бы с руки.  
Как две копченые миноги,  
мелькали черные чулки.

И кротко в роли кавалера  
ресницам в виде опахал,  
вращая бельмами, Валера  
чуприной русою махал.

И взоры тощенькой голубки  
вонзались цепче коготков,  
в раскрытых крыльях сизой юбки  
алела пара колготков.

А разъяренная Ирэна  
была как восклицанья знак:  
«Не можешь, так какого хрена  
ты пригласил меня, слабак?»

Она рвалась плясать бесовски,  
помадой черною горя;

тянулись губы, как присоски,  
как рот округлый пескаря.

А рыжая задрыга Валька,  
прожженная со всех концов,  
была как подлинная калька  
полуподдельных образцов.

Болтанкою тряпичных кукол  
казалась пляска этих пар,  
и, словно музыка, баюкал  
тела их тихий винный пар.

Но от себя себя отшей-ка!  
Душа от шейка – помелом.  
И чья-то верченая шейка –  
наперелом, наперелом.

*2 февраля – 9 июля 1970*

\* \* \*

Ах, белые ночи, больные прозрачные тени!  
Шагами тяжелыми в воду уходят ступени,  
и воздух – как будто теплеющий лед у щеки,  
а милые думы – как память они далеки.  
Забытая память! У статуи дрогнули губы,  
и смотрит, усталая: горе поведать кому бы?  
Былое белеется, точно ночное белье.  
Болеется сладко, стоит во всю ширь забытью.  
Ах, белые ночи, смертельно прозрачные тени,  
они всё длиннее, задумчивее и настенней,  
и нет никого, кроме этих могильных теней.  
Тянись же, мой голос, и, будто рука, костеней!

*12 июня 1970*

## Я БЫЛ фуга

Я был. Но кажется, что и остался.  
Сам при себе? иль даже при своих?  
Я был и все-таки не сдался.  
Быть может, только в ширину раздался,  
и вот теперь живу я за двоих.  
И за тебя живу. И пусть живу я вдвое,  
от одиночества по-волчьи воя,  
в себя вонзая когти и клыки.  
И головы мои все сжались в кулаки.  
А голос – рвется в дыры черных ртов он,  
из глотки вырван да и четвертован.  
А голос – он на мысли лобной бьется.  
Мели, Емеля! Мэки намели!  
Отхлынет голос, но и остается  
воздушно-грязной пеной на мели,  
как в выброшенных лебединых пачках.  
Мели, Емеля! Лебедь уплыла,  
и, песню с края суриком запачкав,  
закат грозится воду сжечь дотла.  
Ах, мука милая! Ты и шустра же!  
На истину прищурился Пилат.  
И за плечами во весь рост, как стражи,  
стоят два голоса на некий третий лад.  
И за тебя живу. Воистину, двоится  
в любом глазу любая суть и стать,  
и тот великий трус, кто не боится  
несуществующее познавать.  
А много ли меня? И велика ли кража?  
И вот, вытягиваясь из последних жил,  
восстали за спиной два страшных стража  
и только смотрят, как я был.  
И если мне на глас седьмый живется,  
и если чувства стали что крюки,

то всё, что даже робко отзовется,  
пускает в ход клыки и кулаки.  
О музыка моя! Воздушные ухабы  
и волны полузабытья.  
Я был и ждал – и был я, дабы  
ко мне прижалась музыка моя  
и прижилась. Но бесовой напастью  
со мной кружилась в вальсе лиховерть.  
О, если б музыкою истекать, как страстью,  
когда придется удаляться в смерть!

*28 июня – 7 июля 1970*

### СЕРГИЕВА ЛАВРА

Она в глаза распахнутые утром  
несется звонким жаром куполов,  
как ливнем пламенным колоколов,  
над городишком сереньким и утлым.  
И оркестровка красок так пестра,  
что кажется – безумье их искало,  
и стены серо-белого накала  
вкруг каменного этого костра.  
И у Успенья в матерней утробе  
дитя веков с затихшим мертвым лбом,  
а колокольня в длинной-длинной робе  
стоит обочь, как дама в голубом.  
И Троицыны наливные плечи,  
ум золотой над плотной белизной,  
и красный расписной кафтан Предтечи,  
и в воздухе паломнический зной,  
и пагодки Надкладезной сиянье,  
китайщина, причудливый кулич.  
На красок ярмарку дивуйтесь, россияне,  
на эту гармоническую дичь.

Аптечного она не знала лавра,  
и без колоколов она слышна.  
Горит, горит и не сгорает Лавра,  
немного благовеста купина.

*4 июля 1970  
Москва*

### ГРОЗА

Гроза накинута в захлеб,  
и шлепая и хлюпая,  
и каждый холм подставил лоб,  
и жизнь – как девка глупая.

Гром как ударит топором  
и реку – раз! – до пояса,  
и выставиться всем нутром  
и хочется, и боязно.

Нутро – как с мусором ведро,  
а око – бац! – расколото.  
Добро блестит, как серебро,  
а зло горит, как золото.

*22 июля 1970*

\* \* \*

Люблю тебя, история,  
за ложь в душе веков,  
за вигов, и за ториев,  
и за большевиков.

К чему твое учительство?  
Бесплодно всё равно!

Ты словно вид на жительство,  
просроченный давно.

*8 августа 1970*

\* \* \*

Туманный город без остатка  
весь отдан нб вечер. Но ты  
отполирована, Фонтанка,  
до нагло-голой черноты.

Лишь темь да глубь – вот это тема,  
которая тебе сродни.  
И поворачиваешь тело  
под заунывные огни.

И, перехвачена мостами,  
как бы купальным пояском,  
ты так прельстительна местами  
в своем движеньи плутовском.

И кончен вечер у Фонтанки,  
и вот по телу зыбь идет,  
как длинной-длинной негритянки  
последняя из потягот.

*14 августа 1970*

\* \* \*

Под шапками каштанов старых  
на грядках лавочек, чисты,  
пенсионеры на бульварах,  
как бледноглазые цветы.

Из полинялых незабудок,  
как бы открыв тихонько дверь,  
смирненно смотрится рассудок  
в такое краткое Теперь.

От рук, трудами удрученных,  
от мудрых рук куда-то вбок,  
как пончик, катится внучонок,  
стряпухи-жизни колобок.

*21 августа 1970*

\* \* \*

Лес увешан влагой свежей,  
опадает желтый дождь.  
Как во дни творенья, те же  
дремлют папороть и хвощ.

По кустам до первой встречи  
бродят чьи-то голоса,  
и на зябнущие плечи  
осыпается роса.

Прохожу знакомым местом,  
никого не позову.  
И подслеповатым жестом  
палка тычется в траву.

Ах вы, росы-пересыпки!  
Палка снова тык да тык.  
Из зеленой мшистой зыбки  
смотрит мальчик-боровик.

Лес – наследство перегноя,  
детство древности родной.



Утро ты мое грибное,  
род игрушки заводной!

*5 сентября 1970*

### САМСУСАМ фуга

Я Самсусам с предолгой бородой,  
которая бурнее, чем у Бога.  
Как драной музыкой, владею я бедой,  
не выпускаю горя из острога.  
Ах, борода, ты пенная дорога,  
прикинулась пучиною седой.  
Я Самсусам или Мафусаил?  
На что теперь мои пригодны годы?  
Я черною полынью напоил  
уста сухие треснувшей природы,  
пустынные великие уста.  
Но взоры робки и пугливы, как олени.  
Шагаю наугад, и, видно, неспроста  
мне море пересохло по колени,  
да, пересохло, словно чья-то глотка.  
А чаще дыбиться, как чьим-то волосам.  
И из вселенной, как из околотка,  
не выехать, – зато я Самсусам.  
Мелькает мимо лес олений и лосиный,  
в осиновую горечь кол забит,  
и, голосуя каждой волосиной,  
пучина бороды отчаянно вопит.  
И тонет в ней, всплеснув руками, память,  
и дышат жаром жадные пески.  
Не распрямить меня и не переупрямить,  
и согнутый в дугу я буду самсусамить,  
глотаю собственные черствые куски.

Природины уста печально пересохли,  
надтреснутые губы мне бубнят,  
что надо, нежно распуская сопли,  
ласкать ладонью крохотных ягнят.  
На ласки много ли положено труда-то?  
Скорми сусальный пряник чудесам.  
Сусанна моется, как молится глазам.  
Сам корочку кусай! Пусть время бородато –  
и Хрон с ним! А зато я Самсусам!

*30 августа – 7 сентября 1970*

\* \* \*

Ах, время, чертов пристав!  
Поди с ним совладай.  
Есть остров Декабристов  
(когда-то Голодай).

Туда, до Голодая,  
до висельных столбов  
доходит молодая  
разбойная любовь.

Просадит вместе с мылом  
последние деньки  
и вяжет петли с мылом  
из роковой пеньки.

*Между 7 и 13 сентября 1970*

## ЗНАК Гильберт-фуга

Am Anfang... ist das Zeichen.  
*Hilbert*

Аз есмь какой-то изначальный знак –  
и пусть он тощ, и хром, и нагло наг! –  
Бродяга! Сукин сын!! Варнак!!!

На высоте ума произрастают знаки,  
добра и зла обугленные злаки,  
чернильные смешные семена,  
прозрачные, как звуки, имена.

Пространство, точно лист бумажный, чисто,  
от ярости белым-бело,  
но скачут по нему, как черти, числа.  
Каким их ветром намело?

Застенка моего студены кафли.  
Ползут по ледяным ладоням слизи слез.  
Как вытянулись восклицаний капли!  
Как выю гнет червяк-вопрос!  
И бытие в уме держу я, как в остроге,  
и знаки-стражи страшно многогоги.  
Кишит меж палочек сухих широт и длин  
жучков-значков порядок муравьиный.  
Над временем, как над немой равниной,  
прогрессий врезан журавлиный клин.

А кто сказал, что числа неподвижны,  
что величины все себе равны?  
Личины вечной сущности полны,  
и вещи, точно знаки, непостижны,  
но лишь с обратной стороны.

Ползут жуки – глаголи, люди, буки, –  
и возношусь над ними я зело.  
Ах, нахлобучки тайные науки,  
ах, знаки, призраки и звуки!  
Каким их ветром намело?

И существуя в беспредметных играх,  
и порождая сущее из р,  
и отсылая яви на ХУ\* ,  
сочти себя (а чем?), ложись и спи.  
И если сон прямолинейно начат  
и на него не жаль уму трудов,  
то знаки сна, ей-ей, не меньше значат,  
чем знаки книг, деревьев и следов.

В какие иноки бы я постригся,  
в какой пустыне бы искал воды,  
как путник в путах, и дошел до икса,  
утыкан иктами беды?

Возделывая уравнений грядки  
и зная, что пустоты все равны,  
когда выстраиваются порядки  
на уровне безумной вышины,  
я что-то значу в виде чернокутца.  
А с четырех сторон и так и сяк  
четыре действия вокруг меня толкутся,  
но сам я только одинокий знак.

*13–20 сентября 1970*

---

\* икс-игрек.

\* \* \*

Тасую карты-годы сам,  
о былом гадаю – и всё!  
И вот оно вслед за голосом,  
исковерканное лицо.

Легко ли – сами попробуйте, –  
когда дрожь с головы до пят,  
когда две жизни на проводе  
обрывающемся висят?

И зачем же так дурно гадается,  
что концу еще нет конца?  
Телефонная связь обрывается,  
и ни голоса, ни лица.

*2 октября 1970*

## ДРУЖБА фуга

Пожалуй-ка ко мне! В моих поройся недрах!  
Но всё равно я горы не сверну,  
и только прошлое тебе верну  
и скверну, как лихву, вдогон к нему швырну,  
ибо всяк сам себе и друг и недруг,  
а я к тому ж не шибко-то из щедрых.

Вот так-то, друг! Ведь я тебе заклятый враг.  
Твоя тайга и в беспросветных кедрах –  
как рана хмурая, припрятанный овраг.  
Пожалуй же ко мне! В моих поройся недрах!

Увалы наши, друг, куда как хороши!  
Так за последние громадные гроши  
вали и рушь! Руби, пили, кроши!

Орудуй напролом! Но я-то ради друга  
вдруг подворачиваюсь, как яруга,  
как будто грома темный перевал.  
Зачем же ты ревел и сдуру горевал?  
Ревет корова и медведь ревет,  
а кто кого дерет – сам черт не разберет!

Вот так и мы с тобой! И наши горы  
и наши горести вдвоем нам не свернуть.  
Ну, разве как болячку скovyрнуть  
иль за плечи закинуть, словно годы?

Запнешься о меня, как о змеистый корень,  
и рожей грохнешься о мой корявый пенёк.  
Но вскоре будешь ты погоде вновь покорен  
и станешь кровь сосать, как крохотный слепень.  
А из кого? Пожалуй же, вражина!  
Коряжина моя, злосчастный недруг ног,  
мы и ножом с тобой не расторжимы,  
друг в друга всажены по самый черенок.

Да мы с тобой взаимные ослопы,  
дубины дружные и остолопы,  
друг друга в колья взяв и в топоры,  
мы другоколы, мы и другокопы,  
два спорщика одной поры.

Ты мне другой. А я тебе который?  
И нас нельзя ни вычесть, ни сложить.  
И каждый так и целится, готовый  
по-вражески другому услужить.

Кусок последний так и тот для друга  
съем! Всё равно нам горя не свернуть.  
Тайга бежит, запутавшись, как фуга.  
Но черной музыки ты из меня не нудь!

*7–10 октября 1970*

\* \* \*

Was bin ich? Ich bin groЯ genug,  
Bin ich ein Punkt der Welt zu nennen.

*Lessing\**

Son qui sono.

*Goldoni*

Я – только тот тычок или торчок,  
который точка, но всегда в начале,  
значок, вонзившийся уму в зрачок,  
которым ничего не укачали,  
хотя он, может быть, сучок или крючок  
для бедных висельниц – отрады и печали.

Я – только тождество. И то, что  $a$  есть  $a$ ,  
а я есмь я, до пустосутья просто.  
И, логики глаголь за пазухой растя,  
живу, дивуясь и грустя,  
живу вокруг себя, как черная короста,  
как осень в оспе гнилостно-рябой,  
и россыпь сих рябин несметна.  
Лицо, как зеркало, держу перед собой,  
по всем приметам мне оно посмертно.  
Не маска замогильная из гипса.  
Я не погиб. Оно как сито-решето  
висит. И, может быть, я лишь на шиш ошибся  
и своему лицу какое-то Ничто,  
и покалечен тем, что околичен,  
да так, что Боже упаси.  
Я, зримый сквозь чужое око, личен,  
лицо вращается на мне, как на оси.  
Злосчастное, оно до скрипа коловратно,  
и в правде хочется ему на грош приврать.

\* Die lehrende Astronomie. Ст. 7–8.

Оно смиренно выгядит и ратно,  
и сможет только смерть с меня его содрать.

Я – только точка в середине шара,  
в пустопорожней сфере головы.  
Я – свора черных чувств своих и свара,  
и на себя иду я как на вы.  
Коплюсь по каплям, но и тороплюсь  
списать в убыток каждый плюс,  
дабы он стал мне ближе и дороже.  
И, как базар, вокруг себя томлюсь  
и раздражаюсь вдруг в свои же рожи.

Я ухарь ух какой по части всяких харь,  
я хахаль их, хохочущий охальник.  
Не осуди меня, Всевышний Государь,  
и буди мне отчаянный печальник.

Я – только точка, только тот сучок,  
который сводный брат занозе  
в твоём глазу, и будущий молчок,  
покоящийся, рот разинув, в бозе.  
Ясней, чем  $a$  есть  $a$ , а  $b$  есть  $b$ ,  
тесней, чем формула житья-бытья,  
я низко бью челом огромному Тебе,  
несчастной истиной, что я есмь я.

7 ноября 1970

\* \* \*

Как бы забор, в саду стоит литература,  
а сад, как пруд, и темен и глубок.  
И как же хорошо, что ты такая дура  
и только тычешь мне овечьим глазом в бок.

Скажи-ка, долго ли нам будет так сидеться?  
Не хочешь ты о том ни думать ни гадать.  
И вправду, ведь пока нам никуда не деться,  
и оба говорим: «Какая благодать!»

Пусть хиленькая, даже пусть с опаской,  
с оглядкой грустною: «А что же там вокруг?»  
И с неожиданной ребяческой лаской  
ты трогаешь меня, как будто старый друг.

*11 ноября 1970*

\* \* \*

Я ли с полночью сошелся в когти?  
Ты ли вышла на берег к беде?  
Ялики, белеючи, по локти  
стыли на сиреневой воде.

С нами было время, но какое?  
Окружались мы им без ума.  
Снами, как изделиями покоя,  
нагружались плавные дома.

Мы ли молча с полночью кричали?  
Эха тенькали вдали следы.  
Мыли тени ночи на причале,  
ехать надо было вдоль воды.

Ялики лежали точно руки  
были нашей призрачно-худой.  
Я ли с ночью дрался без понуки?  
Ты ли, друг мой, встретила с бедой?

*17 ноября 1970*

\* \* \*

Живут, себя теряя понемногу,  
и призраков по имени зовут.  
Живут, шагая в ногу и не в ногу,  
и с боку на бок медленно живут.

Блажен, кто счастья никогда не чаает  
и кто не видит чертова рожна,  
но всех счастливей, кто не замечает,  
что жизнь прошла.

*18 ноября 1970*

\* \* \*

Я не сторонник вечного порядка,  
но что подделаешь, коль есть уму рожон?  
Проходит молодость, как лихорадка,  
которой каждый нежно поражен.

Стараюсь я глядеть на время сухо,  
не пятясь, если можно, ни на пядь.  
Проходит старость, точно почесуха,  
и ярость начинается опять.

*24 ноября 1970*

\* \* \*

Дума, ты с котомкой странница,  
черный плат да медный грош.  
Ничего-то не останется  
там, где в будущем пройдешь.

Отчего ж тебе прокудится?  
Задала бы трепака.  
Пусть ничто твое и сбудется,  
ну а мы живем пока.

И невежду, и ученого,  
и пророка в кабаке  
ты лишь краем плата черного  
задеваешь налегке.

И недаром губы стиснуты  
и гиперболою бровь,  
и на призрачную тризну ты  
кличешь счастье да любовь.

А ничто такое юркое  
и такая непроглядь,  
что его Валерке с Юркою  
до смерти не увидеть.

Дума, бедная бездомница,  
ты ночуешь по кустам,  
а потом идешь, паломница,  
напролом к пустым местам.

*29 ноября 1970*

\* \* \*

Я сплю, и сны исподтишка я строю,  
и настает такая непроглядь,  
когда погода кажется сестрою,  
с которой можно целый час гулять.

Лицо ума белеет – как из гипса,  
сквозь сумерки белеет напролом,

и, может быть, я медленно ошибся,  
и вышел сон не боком, а углом?

Распахнут дом, и дым трубит тревожно,  
и тошный мир сошел к бунтовщикам.  
Сестра погода ласкова безбожно,  
а сон, как ветер, хлещет по щекам.

*17 декабря 1970*

\* \* \*

Разгулялся зимний пчельник  
тихим роем белых пчел.  
Нынче в этакий сочельник  
их бы и сам Бог не счел.

Пчелы кроткие без счета  
так и выются в непроглядь.  
И какого, право, черта  
им приспичило летать?

Пусть порхать совсем не трудно.  
Хоть всю ночь, но поутру  
в пухлых шубках эти трутни  
умирают на ветру.

*24 декабря 1970*

## РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

*На земле мир и в человецех благоволение.*

Пространство – словно дальняя вода,  
а время – сетка из бессмертной пряжи.  
Ползут невидимые невода  
и рвутся о зазубренные кряжи.  
И в петли забежавшая беда  
бессильно бьется, будто рыба об лед.  
Застыла ночь, и тень ее тверда,  
и мир покоем, как глазурью, облит.  
А я воюю. Нынче Рождество  
справляют, как поминки, христиане,  
и здравствует Христово естество.  
А я воюю, только и всего,  
воюю на своем меридиане.  
Воюю с естеством, с погодой и судьбой,  
и человека я мешу, что глину.  
Какой мне мир! Ой, караул! Разбой!  
Собрался я всей крохотной гурьбой  
да и заехал в морду исполину.  
Милиція! Спасите!! Караул!!!  
Раздуй кадило! Голоси моленья!!  
Скулу я набок сам себе свернул,  
и вот устал я, как под задом стул,  
и ни черта во мне благоволенья.  
Сквозь косяки каких-то рыбьих скул  
с тоской победной я взглянул  
на собственное поколенья.  
А я воюю. Вою свой псалом.  
Я хан в орде и хам. Нишкните, христиане!  
И за вселенной, словно за селом,  
валю навзрыд, рыдаю напролом  
на собственном своем меридиане.  
Я буду бить в набат, я буду дубом бить,  
шпынять штыком, пырять кинжалом.

Сердцами буду я беду бомбить,  
сердцами стопудовыми любить  
и смехом жаловать, как жалом.  
Милиція! Конгрессы! Красный Крест!  
О солнце правды! Как оно чернеет!  
А я воюю. Я одет в асбест,  
и совесть вот настолько не сквернеет.  
Вкушая, мало меду аз вкусих,  
в сетях мои враги – как в нетях.  
И я воюю нынче против сих,  
и я люблю немилосердно этих.  
Какой уж там покой! Он даже и не снится.  
И силы нету мирно вековать,  
одна война во мне слепой тоской теснится,  
и тела не упаковать.  
Топчу себя чугунным сапогом,  
мешу, как слякотную глину.  
Ко всем богам, столпившимся кругом,  
несу бегом, кричу бегом  
по роже им мою военную былину.  
Сколько себя убил осколками, отравой?  
А «скорой помощи» ни разу не пришло.  
И красного креста на мне, о Боже правый,  
Ты не поставил как назло.  
И я воюю. Да еще горжусь.  
А если говорю с собою врозь,  
то из смердящей жути я рожусь,  
в предсмертный взрыв преображусь  
и снова стану воем на авось.

*25 декабря 1970*

1971

### Я БЕЗ ТЕБЯ

Я без тебя один, с такою половиной  
меня, что я – ни два ни полтора.  
Ползу, как горя воз над дымной котловиной,  
переминаюсь, как гора,  
которая и хочет к Магомету  
хоть окарачь, да ей удачи нету.  
И я грожусь, что разражусь лавиной,  
пусть на авось и на ура.

Ползу, кренясь, как глыба на весу.  
Из-за горы глядит судьба рябая.  
Авось обрушусь, снегом занесу,  
запорошу, бессмертно погребая  
жилье, дорогу, воз и ночь в лесу!

А ты – ты где-то за семью горами,  
за тридевять земель, без призрака жилья,  
но в памяти уже чужой, как в черной раме.  
Да кто же ты еси, когда сам я – не я?

*17 января 1971*

### СТАНСЫ

Январь окончился, и новый год подрос.  
Он бродит по земле, во времени, в эфире,  
как служба радости, печали и угроз,  
туманных образов и всяческой цифири.

Сверчок запечный я и знаю свой шесток.  
Я удостоился божественной мороки.

Январь окончился, и вот его итог:  
поваленные дни, порубленные строки.

*Ночь с 31 января на 1 февраля 1971*

\* \* \*

Я жить хочу. А разве мне живется,  
когда живу своею силой сам?  
И чрез нее! Но ниточка не рвется,  
хотя и тянется к каким-то чудесам.

Я жить хочу. Привязан пуповиной  
к убогому рождению своему,  
я к жизни прихожу опять с повинной,  
а в чем – и сам, ей-правда, не пойму.  
Мешок забот забросивши за память  
и в страдный пот лицо земли вогнав,  
я всякой Нави буду страшный Яв,  
но ничего я не смогу присамить.

Я жить хочу до полного излишка,  
дабы его устало в прах истерть.  
Но, будто пуганая мышь, мыслишка:  
исподтишка глядит она, смертишка,  
а не громадная, как вечность, Смерть.

*1–7 февраля 1971*

\* \* \*

Петербургские вечера.  
Словно лодки, несутся санки,  
и величественны кучера  
с императорскою осанкой.



Как он нежен, недавний снег,  
и на крышах лежит опушкой,  
а мороза всё нет как нет,  
но от старости стынут пушки.

Черной кровью течет Нева,  
в светлом воздухе стала слава,  
и Исакий – как голова,  
дожидающаяся Руслана.

*11 февраля 1971*

\* \* \*

Я нынче умер, точно некто –  
касательная от меня, –  
и бытие осталось без субъекта,  
все мысли и законы отменя.  
Свидетельствуя о тромбозе  
(кому?) кровепроводных труб,  
(пред кем?) теперь почиет в Бозе  
покойник под названьем труп.  
Я над собою – как анатом  
с глазами (так ли?) всех других,  
а руки скручены канатом  
из мышц холодных и тугих.  
Раздали (кто?) меня на доли.  
Из дали движутся века.  
Труп на спине грузовика  
увозят из земной юдоли.  
И сыплет серой моросью из глаз.  
Как белый дым, бредут баран с овечкой,  
им в очи вставлен плексиглас.  
И первая звезда зажглась  
на сером небе поминальной свечкой.

Я над собою, как разбойник,  
занесся взглядом ножевым.  
Ужели может быть покойник  
себе безатомно живым?

*17–18 февраля 1971*

## НИЧТО

А я ничто ж есмь. Рекох и паки реку: аз есмь  
человек грешник, блудник и хищник, тать  
и убийца, друг мытарем и грешникам и вся-  
кому человеку лицемерец окаянный.

*Аввакум. Житие*

Аз есмь, помилуй Господи, ничто,  
то пусто место, где гулять пушу свободу.  
Гуляй, голубушка! А я – то решето,  
которым носят животворну воду.  
Авось – велико слово, он да Бог,  
кому я верую, по ком ярится сердце.  
И паки вам реку, яко рекох,  
с усердием смиренным лицемерца:  
я сам в себе, как пес приبلудный, сдох  
и есмь ничто, привольная пустыня,  
стоячий час, забитый точно кол.  
Ох, матушка, царица Благостыня,  
не стыдно ли тебе, что я по-райски гол,  
что я живу по образу Адамлю  
и вкривь гляжу, да и умишком храмлю,  
и велемудрствую ногой?  
И пред меня приходит грех нагой...  
Ты, Сотворивый из меня ничто,  
а из ничта звериную скотину,  
когда вериги, точно долото,  
долбят простор и нету мне притину,

и каждый грех, как юный разгильдяй,  
шатается с кровавой пуповиной.  
Голубушка-головушка, гуляй,  
поколе не пришла к попу повинной.  
Нет! Протопоп тебя не усечет  
и не подаст себе на блюде.  
И я, как дождь, иду невперечет  
кровинками во бледном блюде.  
И сторожем пустое я блюду,  
как вечный чин святой и осиянный,  
и вашему, о людие, суду  
я буду лицемерец окаянный.  
И, стоя, как на камне, на пустом  
и черствым осеняячусь постом,  
я завираюсь, как соромный сказ,  
и умираю за единый аз.

*1–8 марта 1971*

\* \* \*

Перо, как пьяный плуг, из года в год бродило  
по полю белому. Итог же страшно прост:  
ведь всё, что это поле уродило,  
пойдет не в закрома, а псу под хвост.  
Пахать не устаю хоть на собачье благо,  
ну а зачем, не знаю сам.  
О, если б изведенная бумага  
была нужна хоть на подтирку псам!

*17 марта 1971*

\* \* \*

Если девочка-жизнь, мужая,  
выбегает на стадион,  
то она уже мне чужая,  
не она, а по сути он.

Ну, мужай! Невелик достаток.  
Я накину годков пяток  
за мельканье мгновенных пяток,  
за очей крутых кипяток.

Пить не стану – боюсь обжечься,  
и, ей-богу, не до любви.  
Ну, мужай! беги и увечья,  
грудью настезь – и ленту рви.

*Ночь с 25 на 26 марта 1971*

\* \* \*

Я не иссяк еще. Какое там! Скорей уж  
мне легче слову жилы отворить.  
О чем же скажешь, ежели стареешь?  
Ну а о старости что толку говорить?

Всё стало ни дешевле, ни дороже.  
Так что же мне бранить лукавого Кузьму,  
когда я вижу, что я кем-то прожит?  
А кем, ей-право, в толк я не возьму.

Нет, праздника не нужно мне такого,  
и я валять не стану старика.  
И, по годам толкаясь бестолково,  
я сваливаю их в какие-то века.

*4 апреля 1971*

## MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье,  
остучал шестьдесят годов.  
А на что мне в жизни пожаловаться?  
На то, что кому-то горчил  
и сам огорчился?  
Вот, подумаешь, горе!  
Ведь жизнь – она вроде иксятины,  
да к тому же и с игречинкой.  
Так не лучше ли,  
отряхая пепел с сигары,  
потихонечку уверяться,  
что дуракам на потеху  
родился я в Благовещенье?

7 апреля 1971

\* \* \*

Мы друг от друга не убежим,  
рядом на лавочке сядем.  
Будешь глядеть вослед чужим,  
мимо идущим дядям.

Больно губам, ибо так горчит  
привкус горько-соленой доли.  
Некто рядом с тобой торчит.  
Ангел в штанах он, что ли?

Ангел не ангел, а друг записной,  
в ком ты как в нежной опеке.  
Ты еще дышишь последней весной,  
а я уже в прошлом веке.

Нет, не сержусь, и тебя не корю,  
и прошлого не стираю,  
просто с обоих нас кору  
догола ногтями сдираю.

Знаю, придется тебе распять  
на губах унылых улыбку.  
Рядом увижу тебя опять,  
ободранную как липку.

Вот я и вбил в судьбу свой кол,  
да мимо. Но горя не вскличу.  
Буду и я гол как сокол,  
утрату клюя, как добычу.

25 апреля 1971

## КРУГ фуга

*Всё уже круг.* Живу я посредине.  
Утроба как урочище ворчит.  
Уже хожу я в тоненькой редине.  
А шуба дыбом всё еще торчит.  
А в пасти доля чертова горчит.

*Всё уже круг.* Блюю на славу желчью,  
мотаю на кулак себе кишки.  
Я чувствую годов облаву волчью,  
и дразнятся багровые флажки.

*Всё уже круг.* Он тесен, как силок,  
и всё равно меня осилит.  
Последний зуб точу об оселок,  
за горло схвачен и пробит навывлет.

На «вы» ли тут пойдешь? Или на «ты»,  
ее встречая – Боже мой! – всё ту же?  
И от бесстыжей человеческой стужи  
в глазах такая уйма темноты!  
*А круг всё туже, туже, туже!*

*Всё уже круг.* Он тесен, как закон,  
и ни о ком знакомом не радеет.  
Звериным пустяком я взят давно в загон.  
Надежда, как одежда, всё редет.

*Всё уже круг* – мой ненасытный друг,  
и к ужасу, пожалуй, он приучит,  
пока на сотнях престарелых рук  
веревку сучка-парка сучит.

Сучи иль не сучи, хоть вейся, хоть не вейся,  
*а быть концу.* Гляди во все очки!  
Живи, живи! И по ветру развейся.  
А красные флажки всё кажут язычки!  
Пошли боры, бурьяны и яруги  
навыворот. Не вырваться лисе!  
Но как велик бирюк, когда в огромном круге  
вращаюсь я, как белка в колесе!

И для чего, зачем-то что-то для  
и ласково меня мантуля,  
воркует время, как слепая гуля,  
когда само – лишь тлен и мировая тля?  
*Всё уже круг,* как верная петля,  
и в сердце входит медленная пуля.

*1–11 мая 1971*

\* \* \*

Я был как в небе зодчество.  
Я был да и был таков,  
без имени, без отчества,  
как замок из облаков.

Казалось, был как изваянный  
из ваты завиток.  
Воздушные развалины  
достались мне в итог.

Но, точками летучими  
сбираясь за бугром,  
я стану теми тучами,  
в которых дождь и гром.

*6 мая 1971*

\* \* \*

Дорожка вьется, бьется, путается.  
А лес навалом, как большой бурьян.  
И перламутровая пуговица –  
одна на весь небесный сарафан.

Пространство взглядом охомутивую.  
Дорожка кончила коленца гнуть.  
На пуговицу перламутровую  
распахнутый простор не застегнуть.

*8 мая 1971*

## МЕЛЬНИЦА

Тяжел, что камень, каждый день Господень,  
ложится на меня он поутру,  
и я под ним недвижим, как исподень,  
а всё же верхний жернов перетру.

Гляди-ка, Боже, вздор какой намолот,  
какая куча муки, ерунды!  
Не та беда, что я уже не молод,  
а та, что в пыль рассыплются труды.

Не та беда, что сам я лишь ошибка, –  
в ком не было ее, скажи, ну в ком? –  
а та, что Ты – мой будничный засыпка  
и подгребаешь пыль мою совком.

Не легче мне от Твоего умолку,  
как вечной паузы во всех умах.  
И возят жизнь к Тебе на мукомолку,  
и мельница стоит во весь размах.

*17 мая 1971*

\* \* \*

Куда мне сбегать десять лет?  
Недорого отдам!  
И где найдется Параклет  
непроданным годам?

А я и черт, и пастырь старый,  
гляжу на них слегка.  
Они дымящейся отарой  
бегут под облака.

Раздвоенных копытец след –  
как чертова печать.  
Но как же эти десять лет  
иначе отмечать?

И сквозь туманы и бурьян  
крученые рога –  
баран, вихрастый как буран,  
а с ним овца-пурга.

Так! Хромоногую лавину  
купите задарма,  
берите стада половину  
с придачею дерьма.

*7 июня 1971*

\* \* \*

В ряды пятиэтажные дома  
поставлены, как важные тома  
какого-то собранья сочинений.  
Их автор, разумеется, не гений.

И дум ряды и зданий навесных  
идут, как серый дождь, в просторах сырых.  
Мелькает окон рябь, и в них  
мне видятся тома изданий подписных,  
которым места нет в квартирах.

*11 июня 1971*

\* \* \*

С Авосем я дружу, но Вдруг,  
пожалуй, будет еще больше друг.  
Когда вся жизнь лежит на перекосе  
и кажется, что след простыл Авося,  
когда уже до черной боли туго,  
вот тут-то, в самом пекле мук,  
приходит, разрывая чертов круг,  
подмога от невиданного Вдруга.

13 июня 1971

\* \* \*

Я проживаю в мире разбитном.  
Не прикасайтесь же к моим годам!  
И еду, будучи таким же полотном,  
как серый с трещинами макадам.

Не радуйте меня и не печальте!  
Не угадает даже Божья мощь,  
какую строчку на косом асфальте  
писнет зигзагом полупьяный дождь.

Жара ну прямо как в Иране иль Ираке.  
То dies irae\*. Я в кулак зажат.  
Лицом асфальтно-серым, как при раке,  
я еду, и нельзя попятиться назад.

Ох, матушка-дорога, ты не тропка,  
как потеряешь – не найдешь иглу.  
А жизнь, как пойманная двуутробка,  
прижалась перепуганно в углу.

---

\* День гнева (лат.).

Я мыслю божески, а чувствую зверино.  
Не будешь никому задаром мил!  
Подайте порошок папаверина  
и выпишите к ночи барбамил.

Я своего не преступил порога.  
Напрудил дождь и схлынула жара.  
Лицо как лужа. Матушка-дорога,  
сыра ты, но по-прежнему сера.

17 июня 1971

\* \* \*

За окошком тиховойней  
шелест дня,  
в комнате машинки швейной  
стрекотня.

Воздух об окошко бьется:  
нате ж вам!  
То ли шьется, то ли рвется  
жизнь по швам.

День прозрачною ошибкой  
пролетит.  
Сердце швейною машинкой  
тарахтит.

25 июня 1971

## САМООТСУТСТВИЕ фуга

Я целый год уже миную без понуки.  
Легко и пусто – будто нет меня,

как будто точка я, вокруг которой внуки –  
улыбчатая бегодня.  
И каждый Божий стук что по лбу, то и в лоб.  
Ведь больше я себе ни барин, ни холоп.

И скинут пуд забот холопу с тела.  
Оно как дача в осень опустело  
или как небо в кротком ноябре,  
когда легко и пусто на дворе  
от ясной полупризрачной погоды.  
На сонные деяния природы  
мне остается только любоваться,  
то сей минутою, то той,  
и неминуемо сживаться  
с такую легкой пустотой,  
как будто сам Великий Паралич я,  
разваленный во всем просторе безразличья,  
как будто бы мне кто-то по лбу – чок! –  
и стал я точно замерший толчок.  
Да нет, не точка я теперь, а кучка  
своих остатков, бывшая толкучка.  
И внучка кружится, и радости щенячьи  
визжат во мне, но где-то глубоко.  
И отживаю месяцы по-рачьи  
навыворот – и пусто и легко.

Я сам себя уже миную без понуки,  
и, ничего не бременя,  
а только чертыхаться времена  
и взяв чужую совесть на поруки,  
чужие я распутываю муки.  
Легко и пусто – будто нет меня.

*1–2 июля 1971*

## ЗАБЫВЧИВОСТЬ

### фуга

Я часто забываю, что живу,  
что существую на самом Яву,  
как на краю крапленой Богом карты,  
и что бывает мне то благостно, то скверно.  
Но не суюсь ни в Канты, ни в Декарты.  
Зато в себя играю, как в лото,  
и в каждой строчке я – увы! – квартална.  
Как хорошо не верить ни во что –  
ни в жизнь, ни в смерть, а лишь в вороний грай  
и жить до гроба с маленьким Авосем!  
До бесконечности играй, дружок, играй!  
Удвоена, как два витка судьбы,  
она встает в пространстве на дыбы  
и просится в меня, как 88.

И думаю, пока еще не помер,  
что это вот и есть моей квартиры номер.  
Но забываю часто, что живу,  
что хлеб жую и пью вино из крынки,  
что разгоняю бедную молву,  
как бурную толпу на рынке.

Ну как не веровать тогда в вороний грай,  
в истошный крик, в разметанные перья?  
Играй, дружок, до одури играй  
на самом краешке у Суеверья!  
И если ног не сможешь уволочь,  
учись водицу мутную толочь,  
кулак ума вздымая, будто пест.

И как легко дышать, когда всё не наверно!  
Я каждой Божьей язве острый перст,  
и в каждом легком я каверна.

И благо, что себя вовеки не пойму, –  
когда умру, тогда меня и смерти!  
Как хорошо не верить ничему –  
ни жизни, ни себе, ни смерти!

7 июля 1971

### ГЕРА ГОВОРИТ

Слюбились бог да ярочка,  
вот пара для примера!  
От Зевса ждет подарочка  
еще какого Гера?

Ну, кажется, от ярости  
убила эту Ию б  
за то, что раз на старости  
схватил ее и трахнул.

Есть полный повод к ревности,  
да то бы не беда бы!  
Богов-то ведь и в древности  
любмя-любили бабы.

Со смертной девкой! Натя-ка!  
Добро бы хоть с богиней!  
Простая математика –  
сама не будь разиней!

К тому же неумелою  
была она, срамница,  
ей с милою Семелою,  
с Алкменой не сравниться!

Добро бы хоть утешила,  
а то ведь мало толку!

И впрямь, какого лешего  
быку такую телку!

Проста ты больно, милушка!  
Далась ему со страху.  
Беги, телушка-Июшка,  
и ну тебя к Инаху!

12–15 июля 1971

### ИМЯ фуга

Во имя – чье же? – вещи крещены  
до дна, до трещины, до дырки,  
до самой распоследней заковырки.

И есть у каждой чин величины,  
у каждой свой вселенский сан,  
как сон чужой, напыленный на суть.

Вещица милая, не обессудь,  
что ангел не был на крестины зван!

Словами взорвана ума и зренья тишь,  
и всё бывает вами, ими, нами.  
И спины тощие предметов именами  
заляпаны, как воплями афиш.  
И, словно междометье к междометью,  
названья их подстегивают плетью,  
и среди всех *Агу*, *Угу* и *Ни-гу-гу*  
лишь я себе назваться не могу,  
а знай тяну свою хромую нудь.  
Ведь я себе ну ни на грош не Яшка,  
а просто деревяшка-окаяшка,  
однако без нее и шагу не хромнуть.



К другим я щедр. Я им и Нины,  
и Гены, и Марины раздаю.  
У каждой Божьей вещи в именины  
я ангелом-хранителем стою.  
А мне – увы! – ни имени, ни сути  
(себе-то я ни тот, ни сей).  
Засел во мне и нем во всей Господней смуте  
косноязыкий Моисей.

Вещица бедная! Тебя наименую,  
благословлю да поскорей миную.

А что есть имя? Если б только знак  
или ярлык! Тогда бы дело просто.  
Но этот знак крестом пересекает мрак,  
и сей ярлык прилипчив, как короста.  
Ярлык висит, как бешеный язык  
повешенного пса или злодея,  
а имя, будто двуутробный крик,  
стоит, ничем на свете не владея.  
Во имя сотворяются дела,  
во имя колют, режут и воруют,  
во имя и горят, и пепелят дотла,  
во имя горести даруют.  
Во имя годы, точно спички, жгут,  
во имя всходят на небо и блещут,  
во имя озверело рукоплещут,  
во имя скручивают в жгут  
да и самих себя собою хлещут.  
Во имя то столбом, то дыбом встанет крик.

Нет, имя и не знак, и не ярлык.

Оно вещам певучее объятье,  
Господня ласка, чертово заклятье!  
И надо ж было Сатане соваться,  
чтобы предметы стали называться!

Ведь именами – как среди людей –  
попралось равноправие вещей.  
Во имя голосят, и голосуют,  
и вдоль и поперек что хочешь полосуют.

Вещам, как личностям, хотелось отличаться,  
и стали друг пред другом величаться.

Во имя Божье вещи крещены.  
Одни почти боярской толщины,  
другие яловы и худы,  
а третьи с виду сущие иуды\*,  
воды не замутят и наострили уды.

Вещица бедная, уложенная в слово,  
вкусила доброго, хлебнула злого.  
Но даже и в гробу лежит как в саквояже.  
А я без имени. А я себе всё я же.

*18 июля – 31 августа 1971*

\* \* \*

Мы с тобой сошлись, как клин с обэхом.  
Всяк и ковыряй в своем свищу!  
Погоди, вот стану я главбухом –  
все убытки в сводке освещу.

Я тебя, растратчица Загульда,  
разложу тогда по всем статьям,  
и такое будет сальдо-бульдо,  
что его не подмахну и сам.

\* Вариант: «хоть рогаты, да безмуды». (Примеч. автора.)

Погоди, голубушка, шалаться  
и не шибко задавайся вширь!  
На обеих сторонах баланса  
мы – упреков черная цифирь.

Не калечься и не притворяйся!  
(Ешь, поди, не первый комом блин.)  
Всяк в своем свищу и ковыряйся!  
Не вгоняй обухом в душу клин!

*26 июля 1971*

## АВГУСТ

Я смерть как не люблю природы показной,  
и не проймут меня ни молнии, ни громы.  
Но я попал под августейший зной,  
в прозрачные и жидкие хоромы.

И, как зеленые воздушные шары,  
кусты на берегу раздулись постепенно,  
и от медвежьей лапчатой жары  
крушу с размаху водяные стены.

На грудь всей грудью прет ордастый лес,  
и в августе густом я – как букашка в травах.  
Я через август вползь и кое-как пролез,  
но дальше легче ли, скажи, о Боже правых!

*8 августа 1971*

\* \* \*

Когда живется мне, и я тогда живусь,  
переживаясь от стены к обрыву.

А то скачу себе, не дуя даже в ус,  
зато уж до горы, и в хвост и в гриву.  
И, погоняя своего коня,  
без шапки, без креста, без чекменя  
я еду от меня ко мне через меня.  
И, каждой Божьей вере изменяя  
и ничего вокруг не присеня,  
я думаю, как бы остаться живу.

Воистину, я круглый дурачина  
посередине своего ума!  
А жизнь – одна сплошная кортома.  
Срядился жить – готова Котома.  
И догорай, моя лучина!  
Сильней всех истин – смерть. Но то-то и кручина,  
что истина сама и есть кончина,  
иначе ведь она и не сама.

*13 августа 1971 – 2 августа 1972*

\* \* \*

К милому другу и круг не околица,  
к милому другу и крюк не запор.  
А что если друг-то и до сих пор,  
словно крапива, стрекает и колется?  
Крюку не дать, а башка идет кружью.  
Так понимаешь ли, мне каково,  
если кричится: «К оружию! К оружию!»?  
Ну а его поднимать на кого?  
Не на себя ли? Ахти мне! А если  
и так, то увы мне! – была не была.  
И мертвые очи заглазно воскресли,  
и горе – каленое добела.

*26 августа 1971*

## ВАЛДАЙСКОЕ ОЗЕРО

### 1. ПЕРВЫЙ ПЛЕС

Огромная вода показывает дно  
и расплывается в просторе постепенно,  
как светло-серое меж зелени пятно,  
и чайки на волнах качаются, как пена.

Скользят по озеру в стрекозьих лодках люди,  
а озеро идет, поворачивает вбок  
и подает глазам, как на хрустальном блюде,  
насыпанный вразброс старинный городок.

*21 августа 1971*

### 2. ВТОРОЙ ПЛЕС

Тишь озерная развернута, как плат.  
Монастырь спиной бежит по краю.  
Здесь душа плыла прямой дорогой к раю,  
радовалась на старинный лад.

Небо, как и встарь, ладошкой накрывает  
в лодке рыбака, согнутого в дугу,  
женщину одну, которая срывает  
тихие цветы на тихом берегу,

и того святого, что на фреске высох –  
знать, пришелся мир не по плечу,  
и веселых девок белобрысых,  
у собора бьющих по мячу.

Накрывает и тихонько гладит:  
если трудно, не печалься, друг!  
Не беда! Господь-де всё уладит.  
Видишь, как уладил всё вокруг!

Нищие с сумой и толстосумы  
вместе пробирались на Валдай,  
вместе возводили к небу думы,  
и сходил на час к несчастным рай.

*27 августа 1971*

### 3. ТРЕТИЙ ПЛЕС

Как на память, за пазуху лес  
положил себе плес  
да и рос, будто на небо лез,  
от дождей и от рос.

А от сказок сделался дремуч,  
побратался с водой,  
обложил ее зеленых туч  
перекатной грядой.

А вода эта с лица чиста –  
хоть любуйся, хоть пей!  
А вода эта как чудо проста –  
китежградских кровей.

Ну а чудо, так вон оно и вон –  
под кустом и на пне,  
и стоит он, колокольный звон,  
тень-стеною на дне.

*28 августа 1971*

## ШУБА фуга

Я длинным временем как шубою одет  
и греюсь в ней, в такой морозной  
от жизни разной – то смешной, то грозной.  
А что поделаешь? На то ведь я и дед.  
Зато уж без заботы, без труда  
растет, да только вниз, седая борода,  
растет кусточком на краю обрыва.

Жизнь тянет подать точно в срок и с рыла  
подушное берет. И я плачу налог  
и поперек себя стою, как монолог.  
А что поделаешь? Хоть плачу, да плачу  
и черга лысого за это получу.

В студеной шубе я стою застыло  
и на себя любуюсь только с тыла,  
но даже этот пыл пошел уже спадать.  
Я подати плачу, а сам прошу подать  
хоть грустный грош – купить кусок отрады.  
Мышиное, ей-богу, жеребя!

И не кончается страда эстрады,  
куда болван поставил сам себя  
на собственное обозрение,  
на тот великий беспощадный смех,  
который до негоду одуренья  
разит удачников и неумех.

Ах, дурень миленький, эх ты, родимый олух,  
один, как перст, на весь Господень свет.  
Рукоплесканий жарких и тяжелых,  
как оплеух, наполучал иль нет?  
И с головой себя, гол как сокол, ты выдал,  
а все-таки стоишь, как разноцветный идол.

А что поделаешь? Хоть полный, хоть пустой,  
да только знай отныне свой устой.  
А как же устоять, когда я устаю?  
Не сяду, так авось и устою,  
одетый временем, как долгополой  
собачьей грузною дохой,  
диковинный предмет обоепольный  
и самого себя кусок сухой,  
но, может быть, уж не такой плохой?

И наша жизнь – в чужом пиру похмелье,  
и горький мед стекает по усам.  
А что поделаешь? И от безделья  
я сам не свой, да и стою не сам.

*1 – ночь с 7 на 8 сентября 1971*

\* \* \*

Причисляюсь к непонимахам,  
да и в жизни я не мастак.  
Проживают люди – с размахом,  
проживают и просто так.

Вот и сводятся с жизнью счета  
где за грош, а где за пятак.  
Умирают люди за что-то,  
ну а чаще всего за так.

*9 сентября 1971*

\* \* \*

Ах ты тень, моя тень!  
Что ж ты стала, как пень?  
И охальница,  
и уродица,  
не подвинется,  
не поворотится.

Я самому себе двойник,  
поставлен точно шест с плакатом,  
и дождь летает по плечам покатым,  
и чьи-то руки лезут в мой тайник  
и под старинный ритм забытого фокстрота  
ощупывают: каково нутро-то?  
А не найдется ли какой-нибудь гнойник?  
И, меря на свои аршины и вершки,  
на пальцы тянут из меня кишки.

Ах ты тень, моя тень!  
Что ж ты стала, как пень?  
На дороге на пути  
ни проехать ни пройти.

И пусть я самому себе двойник,  
который окаянный недотрога,  
но по-чужому я в себя не вник,  
и грош прошу я у себя, небога.  
А осень – как заброшенный дневник  
ничем не озабоченного Бога.  
И двойнику я кротко: «Бог подаст.  
Эх, друг, ведь все живем-то Христа ради.  
Лишь та и разница, что кто во что горазд  
писать, мараясь, в годовой тетради».

Ах ты тень, моя тень!  
Иль стоять-то не лень

целый день, точно пень  
некорчеванный?

А! брызни им в лицо кровавый гной  
и кое-что еще в глаза им брызни.  
Ударь им в голову, как хмель на тризне.  
Обрыдли, ироды! По мне, да и за мной  
их пальцы лезут слепо, словно слизни.  
Ну что прилипли вы к последней жизни?  
Нет, надо же! И лезут, и ползут,  
и пробираются, как мурашиный зуд,  
по дебрям задубелой кожи.  
А двойнику скажу: «Господь подаст, небоже!»

Ах ты тень, моя тень!  
Размахнулась во всю лень  
ты, колода моя, колодина,  
ты, уroda моя, уродина!

А если и от тени ни следа?  
А если всё одна сплошная меледа  
и в дневнике запишет Бог огромный:  
«Сегодня был я человек укромный»?  
А если, вбит как кол, повсюду и окрест  
крестом восстанет тонконогий шест  
и грянет чей-то громкий рот с плаката:  
«Зайди в себя! Ведь ты не с краю хата!»

Ах ты тень, моя тень!  
Через пень, через колоду  
полетела за плетень  
и концы в воду?  
Ах ты тень, моя тень!  
На холсте ли ты сирень,  
на кресте ли ты обуза,  
или, может быть, ты Муза?

Не знаю, кто ты, но исподтишка  
спросить попробую у двойника.

*Ночь с 17 на 18 сентября 1971*

\* \* \*

Я по списку времен прохожу до крыжа,  
сосчитав на себе все отметки.  
Пробираюсь и вижу, что осень рыжа,  
что дрожит паутина на ветке,

что трясется осина и стынет ветла  
и что время – неистребимо,  
и от кроткого солнца, насквозь светла,  
раскраснелась по-детски рябина.

Вот как просто и как хорошо малевать  
вместе этикие картинки!  
А мушиное счастье висит – наплевать! –  
вверх ногами на паутинке.

*28 сентября 1971*

### **СЕМЕНА ИМЕН трехголосая fuga**

Я чувствую нутром – до дна, – что я живу со всеми,  
кто есть и был. И из последних сил  
уже не первый год иду я в семя,  
а где себя посеял – позабыл,  
прохлопал (крыльями?), тетеря.  
А может быть, я только тем и жив,  
что существую на глазах чужих,  
как самого себя потеря.

Я чувствую (зачем?), как в жилах льется время  
избытое. И из последних сил  
тащу себя, как будто дров беремья,  
как будто мало жизней я переносил!  
И лишь со зла бываю я хороший,  
со злости не перестаю я жить.  
Но Боже мой! Как тяжело самоношей  
у самого себя служить!

Где я посеян? В дали заозерной?  
В земле туманной? На полях времен?  
На пашню пали слезы, словно зерна,  
и проросли. Зовут меня зазорно,  
по-птичьи кличут голоса имен,  
и я у собственных семян на ниве сорной  
стою, умен как поп Семен.

Как лес внавал, я чувствую, что сброшен  
с плеч (со своих!) в такое естество,  
в котором я, как нищий гость, непрошен.  
Я бился от стены сухим дождем горошин  
и не разбился – ничего!

А голоса мои летят, роняя перья,  
и каждый голос – петлею на сук.  
Синичий – так и тот поймаю ли теперь я,  
когда с размаху жить и то мне недосуг?  
И ласковое лает лицемерье  
в подземном царстве кобелей и сук.

Иль, может быть, собой я просто притворяюсь,  
и воли нет в лесу пугливым голосам?  
Я в каждом счастье без следа теряюсь,  
и только в горе я бываю сам.

*7–17 октября 1971*

\* \* \*

Приходят мысли и уходят – странно! –  
ни «здравствуй», ни «прощай» не говорят –  
то волосатые, как Юлия Пастрана,  
то бритолобее, чем новобранцев ряд.  
И чудится, что я зачах и высох  
и стал колючей купиной.  
Но шамкающий шепот мыслей лысых  
стоит, как пропасть, за спиной.  
Меня они доймают! Это меня-то?  
Чтобы я был у них на поводе?  
Пусть бесятся себе в аду  
и кувыркаются, как чертенята.  
Я знаю, что они мои и не мои,  
хозяйничают эти холуи,  
разбойничают до потери  
сознания. А в бытии  
моем мыслительном в великой прыти и...  
и все-таки они великие тетери!

В домовой книге мне писать свобода,  
и, мысли словно дур заветных разыграв,  
я каждую вношу в одну из граф  
служебного прихода и расхода.

*29 октября 1971*

### **ФУГА О РЕКЕ И МЕЛЬНИЦЕ**

Я тот же, кажется, такой родимо прежний.  
А может быть, и нет? Я всем другим – иной.  
И купно, может быть, еще небрежней  
встать к самому себе спиной?  
Теку я, как река, а берег – стороной.  
Пахнул боярышник затихшей стариной.

И чей же глаз косится вороной  
на глубину моих уже минувших стрежней?

Теку я, как река. Мелею и теку,  
и от девической воды хмелею,  
и ухмыляюсь я себе, как пустяку,  
вращаю жернова – а зерна на току! –  
и вздор мелю – и мэку – и мелею.

А может быть, я сам с собою не знаком?  
И за невежество свое взыщу на ком?  
А может быть, и вся река – морока,  
где чувства – бревна просто, лес сплавной,  
и нету у реки ни отдыха, ни срока,  
и как же повернуться мне широко  
к себе во всю большую тьму спиной?  
Спиной, которая пришлепнет, как ладонь.  
И горячится глаз, играя словно конь...  
Какое скаковое око!

Но я, ей-ей, такой непроходимец,  
что ни обочь, ни вброд, ни напролом,  
и говорю себе, в былом  
младому: «Ахвати тебя родимец!»

Но тот же глаз вращается, как жернов,  
пускает былль в глаза, как пыль,  
и, окривев и душу с места сдернув,  
живет вприхромочку, повыль-ковыль.  
А годы зыбкие пушатся, как ковыль.

Я тот же, кажется, тот самый, с каковым  
к себе приходишь, как незванный в гости,  
тарачишься от ярости и злости.  
Так что же делать с оком скаковым?  
Да стоит ли входить мне чинно в разум,  
пристраивать себя бочком к добру

и приклонять главу к сединам и прикрасам?  
Ведь ложь красна – как девка – на миру,  
а глаз гуляет без узды саврасом.  
Уж коли врать, так я и сам себе совру.

*1–13 ноября 1971*

\* \* \*

Всё больше говорят, что я поэт.  
Пусть говорят! Что ж тут такого?  
Пусть буду скальд, акын, аэд  
и даже родич Хлестакова.  
Чтобы поэтом быть да не приврать?  
Не прихвастнуть? Тогда и в руки  
пера не надо брать,  
или стихи с ума сойдут от скуки,  
от скуки праведной, от правды записной.  
И, в лирику прокрадываясь с края,  
пускай я буду только запасной.  
Очки я наберу и не играя.

*Ночь с 17 на 18 ноября 1971*

\* \* \*

*Б. М.*

Я не люблю тебя. Но ты средь бездорожий  
и посредине валкого пути  
мне ног, и глаз, и костыля дороже,  
я без тебя в себе – как взаперти.

Я не люблю тебя. Не гневайся, не фыркай!  
Кто станет руку и за что любить?

Когда я слеп, то ты мне поводыркой.  
Быть без тебя – как руку отрубить.

*Ночь с 22 на 23 ноября 1971*

\* \* \*

Если сам собой ты понят,  
то ума не береги.  
За тобою ничего нет,  
и пустое впереди.

Вся вселенная не стоит  
ровным счетом ни хера.  
Стой, как идол или стоик,  
улыбайся, как дыра,

той улыбкою беззубой,  
что бросает губы в дрожь,  
и прошамкай, лежа с любой:  
«Дура нежная, не трожь!»

*27 ноября 1971*

## **ЛЕНОСТЬ фугетта**

Я стал ленив. Живу я – как лежу,  
поверх себя в грядущее гляжу.  
Да что и говорить! Мне смерть не по карману,  
уж больно, стерва, дорога!  
Любому любит сбить копыта да рога  
и напустить туману да дурману,  
чтобы ее считали за врага.  
Лежу и походя жизнь обвожу умом  
вокруг шиша – большого, то бишь, пальца, –



и лежебоку, Божьего скитальца,  
баюкаю в себе самом.  
Но и шишом я не пошевелю,  
грошом не поступлюсь я ради смерти.  
Лежу, не тороплюсь. И лишь душе велю  
жить не по-женски, а по смете.  
Расхода медленных закоренелых чувств  
не более, чем в час по чайной ложке.  
Лежу и сам себя читать учусь,  
как грешные стихи в замызганной обложке.  
И если, лежа, как в бреду мечусь,  
то вот вам ложь! – лежу я без оплошки,  
в кавардаке, но без переполоха  
и, стало быть, лежу пока неплохо.  
Ну а глядеть поверх себя, друзья,  
так тут уж я не я и лошадь не моя.

*7 декабря 1971*

\* \* \*

Ну кто же за тобой погонится?  
Отсутствие – твой стойкий признак.  
Бытийствуешь ты, как покойница,  
и ныне мне и присно призрак.

Как я забрел в любовь дремучую,  
сам не пойму. Судьба – не сваха.  
Пусть я тебя, как Музу, мучаю,  
но память о тебе гремучую  
ношу за пазухой без страха.

*20 декабря 1971*

## ВТОРАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

*На земле мир и в человецех благоволение.*

Ох, если б мир! Ох, если б на земле!  
Ох, если бы благою стала воля!  
А то Яга-метель летит на помеле  
и снежное бушует бранью поле!  
(Земному) миру – мир! И я – за мир земной,  
за добрый мир в рождественском убранстве,  
а не за тот смертельный и срамной,  
что властвует в космическом пространстве.  
Вселенский мир далек и стар, как миф,  
лишь мысленной рукою достигаем.  
И, помело навзрыд переломив,  
метель-Яга, к огням на небо взмыв,  
несет святить греховные снега им.

Благоволения не хочет естество,  
летят на воле мысли, как афишки,  
и, яркие, словно звезды, в Рождество  
сияют в поднебесьи телевизшки.  
Яга не укорачивает прыть,  
и люди будто бесы торопливы.  
А мне бы елочку, чтобы накрыть  
еловой лапкою, как веточкой оливы,  
дурную голову родной земли,  
которая извечно ходит кругом.  
А в черном небе звездные кремни  
нависли тюрьмами над Севером и Югом.  
Яга летит всё выше наобум,  
под кожу миру всаживает когти  
и видит, как ведет всё дальше Черномудом  
галантные галактики под локти.

А мне бы елочку! И зайцем прикорнуть  
под ней, трясая трусливыми усами.

Но даже в Рождество погоду не свернуть,  
когда себя самих свернуть не можем сами.  
История земли – рождественская ель,  
чуть освещен ее огромный конус,  
а вокруг на помеле летит Яга-метель  
и дует Чернодум, как ветер на юру.  
А елка на кресте стоит. Не по закону-с!  
Да и не по добру! И не к добру.

*25 декабря 1971*

1972

### СОН О ЯВИ фуга

Я – сон, таскающий на пльчах Явь-Ягу,  
Ясон, ласкающий змею Медею.  
Я – сам, но стать собою не могу,  
хотя легко пространство гну в дугу,  
хотя из времени веревки вью на шею.  
Любого бога в кулаке я сберегу  
и быть тобою не умею.

И Явь мерещится красавицей Ягой  
и пробирается наслышкой.  
Я гол с ехидною колхидскою нагой,  
а может быть, с тобою, но с другой,  
какой-то захудалою голышкой.  
Она сравняется и станет  
(не всё равно ли, та или не та?)  
единая могильная плита.  
А рядом ни травинки, ни листа нет.  
А рядом ни тропинки, ни возврата  
и выставлен один сплошной перед,  
где прыгает черед через черед  
и прёю прет, как добрый брат на брата.

Послушай же, прелестная Яга,  
вселенская паскудница Елена,  
ты, может быть, лишь тем и дорога,  
что наготу вздымаешь на рога  
и страсти преломляешь о колено.

И жертвую тебе я, как полено,  
свою любовь для Божьего огня.

Спали его да памятью меня.  
Любовь бы приволок я и с бревно,  
да силы нет поднять. А впрочем, всё равно.

Из сна ли Явь, иль сон растет из Яви  
(ведь я из них покуда не изъят)?  
Распни на сне! И отпусти Варраве!  
Яга прелестная, ты сделать это вправе,  
поскольку я – паук Всеяд,  
качаем сонной паутиной,  
и вижу сквозь ее просвет  
тягучий перелет утиный  
(а на него теперь охоты нет).

Прекрасная Яга, соблазнами не мучай.  
Я попросту боюсь твоей любви дремучей,  
где идол, точно кол, забит в закон.  
Я – как в стеклянной банке сон паучий,  
сон в черной баньке, закоптелый сон.

*1 – ночь с 7 на 8 января 1972*

## ГРУСТНАЯ ГОЛОВА фуга

*A ta main fidule, mais coupée*

В меня вошли слова: «Ты кончилась сегодня!»  
По кругу повернулась голова.  
Гляжу: судьба – разлучница и сводня!  
А за спиной молва орет, как татарва.  
Сказала: «Нет», без грусти даже, просто,  
как будто не было двух тел и двух умов,  
друг в друга вхожих (ласковых) домов!  
И я всем остовом теперь – как гость погоста.

Надолго ли? У грусти погощу  
да и душой, похожею на птичью,  
пущусь опять на всяческую тщу,  
чтобы приткнуться к безразличью.  
Надолго ли в меня вошли слова,  
как весть от сводни, в черной рамке сводка?  
По кругу повернулась голова.  
Гей вы, коняги – сон и водка!  
А мертвый глаз вращается так кротко,  
так кратко-телеграммна эта весть  
(такая кривоглазая уродка!) –  
о том, что я попал из Сути в Нети.  
Всё словно пропечатано в газете!  
Но если к чувству мысль возвесть,  
то на рожон на женский что же лезть?  
И не поможет никакая лесть,  
хоть будь во мне поэты на поэте.  
Всегда ведь что-то нужно предпочесть.  
Одно скажу: четыре года эти  
нам были, может быть, в большую честь,  
как малая победа над охвостьем,  
молвой, орущею как татарва.  
Четыре года был тебе я мертвым гостем.  
Гость каменный! А ты теперь жива.  
Как колесо, у черной раны рва  
по кругу повернулась голова.  
Но я в своем уме – как при штурвале,  
и я тебя – твоей – судьбе отдам.  
Путь робот я. Но руку оторвали,  
и боль бежит по проводам.

*11 января 1972*

## Г-ЖЕ ДУШЕ

Слушай, душенька! Спи или кушай!  
Не ликуйся, голуба, со мной,  
не кидайся на шею кликушей!  
Я по самые губы сумной.

Иль не слышала слова такого?  
Это значит, что сам я не свой  
и готов разыграть Хлестакова,  
драить дрожью себя, как дресвой.

Ты, Психейка, со мной не актерствуй!  
Я, чай, издавна тертый калач.  
Ляг на язву мне корочкой черствой!  
А еще, дорогая, – не плачь!

*7 февраля 1972*

\* \* \*

Уродиться бы не в меня им,  
этим самым моим стихам!  
Ведь бываю я невменяем,  
сам с собою бываю хам.

И не знаю, они мои ли,  
иль валяюсь я в них иной,  
словно допьяна напоили  
и я гол, как дремучий Ной.

Ох, лишить бы мне их наследства!  
Но перо всегда под рукой.  
Да и нету такого средства,  
чтобы я был я, но другой.

Даже если меня и много,  
как запечного тараканья, –  
и за пазухою у Бога  
про запас всё такой же я.

Не хочу ничего от Фета,  
тошно быть с собой наравне.  
Сима, Хама и Иафета  
помяните миром во мне!

*11 февраля 1972  
Новгород*

\* \* \*

Что же ходишь ты возле жизни?  
Ах, не думай и не гадай!  
Хоть единой слезиной брызни  
или слово, как руку, дай!

Протяни! Не на отсечение!  
Ну а я тебе поручусь  
за торжественное мученье  
всех пяти оголенных чувств,

за святое четвертованье,  
за изломанный костный хруст  
и за то, что я, как сознание,  
всеобъемлющ и, значит, пуст.

*Ночь с 17 на 18 февраля 1972*

## СЛЕПЕЦ

Я криво жил и смолоду ослеп –  
как молнией отрезало глаза мне.  
И голова давно темней, чем склеп.  
О дни я спотыкаюсь, как о камни.

Я чувствую, что весело шалят  
в саду и у окна осенние синицы.  
Рука протягивается, как взгляд,  
и пальцы – как раскрытые зеницы.  
И познают они вещей объем  
по малости, зато куда как точно!

Я чуть не битый час сижу с собой вдвоем,  
не ведая, каким он бит дубьем,  
у времени, которое проточно  
и в жизнь впадает. Так-то! Ну-с!  
На что ж я, бестолковый, натолкнусь,  
на грудь, на нож, на губы ли, на шкап ли?  
Разинув ухо, будто глаз иль рот,  
вбираю тишины скрипучий поворот,  
а рядом радио, как сундучок доброт,  
и музыка по телу, точно капли  
горячие, течет. И тишина  
уже мне больше не слышна.

И рот я разеваю, словно глаз.  
А в нем раздавленная улеглась,  
как Фрина, сладостно малина.  
И я не знаю, кто она. Марина,  
которая внезапно налетает  
из темноты пахучей тучей,  
наваливаясь тела теплой кучей?  
И я не знаю, не она ли тает  
и делается вдруг такой текучей,

что слезы вылезают из-под век,  
и я на миг совсем как человек?

Всё жду и жду, когда же поумнею,  
а сам всё больше слышу и темнею.

*Ночь с 31 января на 1 февраля –  
ночь с 29 февраля на 1 марта 1972*

\* \* \*

Быть хочется добрей  
с тобой, моя Неллада.  
Но сколько мартобрей  
на то истратить надо!

Забыв про гирьки слез,  
про визги и про писки,  
писать, как старый пес,  
ученые записки.

А чтобы вникнуть в них,  
тебя на то не станет.  
Они такой дневник,  
где просто ни черта нет.

Так лучше враз отбрей  
меня, моя Неллада.  
Ведь этих мартобрей  
обоим нам не надо.

*2 марта 1972*

## ДОРОЖНЫЙ РОМАНС

Едет художник-  
интересуй.  
Едешь, так дождик  
в моменте рисуи!

Поезд, он – мастер  
толкать под бока.  
Серенькой масти  
речка Ока.

К Толькам да Борькам  
едет в теплынь.  
В городе Горьком  
дохнет полынь.

Сыплет по зорькам  
дождичья брызнь.  
В городе Горьком  
сладкая жизнь.

*3 марта 1972*

\* \* \*

Вас поносили и восхваляли  
мужиковатые века,  
с вами валялись и валяли  
непроходимого дурака.

И, отдавая долги рутине,  
будь то провидец иль остолоп,  
с вами и путались и крутили  
так, что и пулю пускали в лоб.

Каждая – как от себя делегатка  
и голосует за благодать.  
Каждая, будто самозагадка,  
дается в открытую разгадать.

Быть всеми сразу вы готовы,  
даже и дурами дуракам.  
Полсебя променяете на пальто вы.  
Сами не знаете, видно, кто вы,  
где уж тогда вас узнать векам!

*Утром 8 марта 1972*

\* \* \*

Я многолюден, словно главный город,  
как будто я столица из столиц.  
Как сто сториц, я собран со ста лица,  
дым из меня валит и серый смород.  
А ум – ни дать ни взять – горшок в печи,  
всё тех же шей вместитель полновластный.  
И мой Кащей кричит, как пес в ночи.  
Молчи, жердина! И в халат атласный  
не кутайся, над городом вися,  
над уймой крыш, как темные ладони  
повернутых к тебе. И тошно жить в законе,  
когда вся жизнь – пойми ты, олух, – вся  
разбита на статьи, и ни один параграф  
не скажет, как из карася,  
ум поразя, готовить поросю.  
И ты, Кащей, костист, как истина. В подаграх  
и в язвах дарственных великий ты мастак.  
Ах, чтоб тебя разэдак и растак!  
А ум – ни дать ни взять – в печи горшок,  
варит, и щи кипят всё горше.

И каждый палец стал длиннее на вершок  
и самодеятелен, как персты таперши.  
А ты поешь-играешь под сурдину,  
и волос твой, как рыбий гребень, редок,  
ты сам – как замертво воскресший предок.  
Ах, чтоб растак тебя, жердина,  
и разэдак!  
И знаешь ли, бессмертный дуралей,  
ты мастер, но куда как лиходельный.  
Итак, всё тех же щей в горшок налей,  
сними его хоть с плеч, хоть с яростных углей,  
ставь на поминки сей сосуд скудельный.

Я многотруден, как огромный город,  
и валят голод, дым и смород  
из тюрем, кабаков и богаделен  
и из больничных мертвенных палат.  
А ты в меня как острый перст нацелен.  
Костлявый барин ты, завернутый в халат.  
Не смей разметывать мое несметье,  
но дай мне одному усесться за столом.  
На черта мне сдалось твое бессмертье,  
когда его закон – великий костолом.

*Ночь с 17 на 18 – 21 марта 1972*

## ПАМЯТНИК

Я сам себе из ничего возник  
(а не из ветра ли и уличного шума?),  
и сбоку от меня – мой каменный двойник,  
как из ракушечника сделанная дума.  
Распаханы, как борозды, черты,  
огромный памятник кривит сухие рты,  
и грудь закрыта на манер калитки,  
и ползают глаза слепые, как улитки.

Да, дума думую, а всё мое нутро  
сияет и грохочет, как метро,  
куда Емелей с миною похмелья  
как в адское спускаюсь подземелье,  
где поезда гогочут: га-га-га!  
И можно ехать в них хоть к черту на рога.

А дума-памятник, немая как скелет,  
беспомощно рукой им машет вслед.  
И думается, что живу навзрыд,  
и тронулось нутро, и еду,  
беду минуя, горе и победу,  
но грохот мой в сырой земле зарыт.

А ветер уличный, мошенник продувной,  
становится, быть может, тоже мной:  
сгустившись и темнея на углу,  
как бусами, играет фонарями.  
А памятник стоит, разламывая мглу,  
как мухами, облеплен дикарями.

И с вечера до самого утра ты,  
мой город ошалелый и больной,  
из темного нутра берешь одни утраты  
и вместе с ветром делаешься мной.

*1–17 апреля 1972*

## MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.  
Тому минул шестьдесят один год,  
а я всё еще не знаю,  
сам я  
или не сам.

Да и можно ли человеку  
быть самому,  
когда он, как ядом,  
пропитан явью?  
Расту на старости  
вместе со внукой  
в замену сына  
и жду,  
что смерть  
и та мне скажет,  
что я родился  
в Благовещенье.

*7 апреля 1972*

\* \* \*

Живу на улице Радостной,  
рядом с улицей Права,  
и рай сорокаградусный  
в карман положил я в правый.

Сегодня как проклятый вкалывал,  
и Маше куплю крепдешина.  
На работе я вроде Чкалова,  
у обоих у нас машина.

Поцапался с Ладой Петровною –  
учить взялась меня, цаца.  
А пью на свои, на кровные,  
мне крепче так будет спаться.

А выплюсь, так крепче работаю  
и не попадаю в истории.  
Зато уж любою субботою  
хожу по своей территории.

Ни на рублик не хулиганю я,  
не лезу пьяный в вагоны,  
а что быть может поганее,  
когда стыдят незаконно?

Своим себя раем радую  
и не ломаю стилиягу.  
Вот так! Из горла! А с Ладую  
и в пьяном виде не лягу.

*9 апреля 1972*

\* \* \*

Ишь ты, братец, идол мой стальной,  
и сквозь стены я тебя почую.  
Притащусь к тебе я и больной,  
всей душою у тебя ночую.

Уж люблю тебя я так люблю,  
больше бабы даже, больше водки.  
Всё в тебе своей рукой креплю  
вплоть до электрической проводки.

Ты велик, как бог, о мой станок.  
Нет, ты больше бога! И с запалу  
под собой не чую просто ног,  
если мы стоим с тобой на пару.

Хлеб насущный ты даешь мне днесь  
и мою насущную пол-литру,  
но ко мне ты за душу не лезь.  
Дай тебя я тряпочкою вытру.

От работы, бедный, ты вспотел,  
жарко ведь приходится и стали.



Это я сегодня захотел  
выгонять сверхпланово детали.

Даже дома, лежа на боку,  
с легкой болью в брюхе и затылке, –  
слава в вышних моему станку  
и станковой милости – бутылке!

*11 апреля 1972*

\* \* \*

Хорошо поворожить  
во цвету под вишнями,  
да не шибко споро жить  
с годиками лишними.

Хоть бы их помалу деть,  
а куда – не станется.  
Дал бы Бог помолодеть –  
знал бы, как состариться.

*20 апреля 1972*

\* \* \*

Трясет Европа гузкой,  
глядит, разиня рот,  
как прет медведем русский  
диковинный народ.

Не разбирая броду,  
орет свое «ура»,  
ведь русскому народу  
не будет ни хера.

Целуется с зулуской  
и добр невпроворот  
такой просторный русский  
диковинный народ.

Перенимает моду,  
совсем как детвора,  
но русскому народу  
не будет ни хера.

Кладет язык французский  
он, что конфетку, в рот,  
причмокивая, русский  
диковинный народ.

От этакого меду  
подохнуть бы пора,  
но русскому народу  
не будет ни хера.

Пошаривши под блузкой,  
ползет к нимфе в грот  
не хуже бога русский  
размашистый народ.

За нимф в огонь и в воду  
ползет хоть с утра,  
но русскому народу  
не будет ни хера.

Готов он и с тунгуской  
плясать всю ночь фокстрот,  
такой уж этот русский  
настойчивый народ.

Леса он валит с ходу  
ударом топора,

но русскому народу  
не будет ни хера.

Он и тропинкой узкой  
пройдет до всех широт,  
такой уж этот русский  
диковинный народ.

Всех заберет в колоду  
огромная дыра,  
но русскому народу  
не будет ни хера.

И с полной нагрузкой  
до арестантских рот  
дойдет он, этот русский  
настойчивый народ.

Отцу писали оду  
по сотне строк с пера,  
но русскому народу  
не стало ни хера.

Доволен коркой хрусткой  
превыше всех щедрот,  
он скромн, этот русский  
диковинный народ.

Тащили год от году  
все крохи со двора,  
и русскому народу  
не стало ни хера.

Но дух почуя прусский  
у собственных ворот,  
пнул духа в жопу русский  
невежливый народ.

Кому дадут свободу,  
кому вагон добра,  
а русскому народу  
ну ровно ни хера.

*23 апреля 1972*

\* \* \*

Они, ах, были лишь собой одними,  
два человека, воткнутые в ночь.  
Висело око времени над ними,  
бельмо в оправе ржавой, и невмочь  
пространству было между их губами,  
и судорогой сделалось оно.  
Две разные любви столкнулись лбами  
и стали вдруг вплотную, заодно.  
Ему и страстно было, и отрадно,  
и он смотрел: а где же поворот?  
Она сказала: «Надо безоглядно»,  
сама не зная, надо ли. И рот  
пошел на рот, как рать на рать. У взгляда  
не стало тыла. И тогда она  
стонала по-вседевичьи: «Не надо».  
А у канала он и тишина,  
да ночь с бельмом. Задета за живое,  
она была виной чужой беде.  
Опять канал и ночь. А где те двое,  
фигурки две разломленные где?

*Ночь с 30 апреля на 1 мая 1972*

\* \* \*

Он въехал в новую квартиру,  
как в неизведанную страсть.  
И заорать был рад он миру,  
как любит городскую власть.  
Встав по-хозяйски на балконе,  
то, как огурчик, созревал,  
то, как архангел на иконе,  
окрестности обозревал.  
Вон там пустырь, но будет парк там,  
и рай напрет со всех сторон.  
Но вдруг, подкошенный инфарктом,  
он загремел на весь балкон.

*1 мая 1972*

## ПРАЗДНИК

По радио тра-тара-ра!  
Проснуться к празднику пора.  
Оно уже орет «ура».  
И праздник прыгает с утра,  
как расписная детвора.  
Как дворник, ветер со двора  
выходит поиграть во флаги,  
в плакаты о народном благе.  
А кореш Юрка П. из фляги  
уже хватил волшебной влаги  
и всей душою бедолаги  
открыт, как добрая дыра.

Уже колышутся колонны  
грудастые и там и тут.  
А стародавние колонны  
стоят и с места не сойдут.

На щедрой площади Дворцовой  
стоит порядок образцовый,  
и знает вся людская рать,  
когда и как «ура» орать.  
И радости бывает столько,  
что не охватишь в райский круг,  
что даже шизофреник Толька  
не путает ни ног, ни рук.

Забиты люди в магазины,  
как гвозди в бочку. И бочком  
идут из двери. А у Зины  
из новокупленной корзины  
пять новорожденных бутылок,  
головки выставя торчком,  
друг друга стучают в затылок.

Один походкою обычной  
отправился в притон шашлычный.  
А рядом двое, впрягшись парой,  
идут с испуганной гитарой.  
А в зданьях каждая квартира  
распространяется для пира  
и вширь и вглубь, как только может.  
И, угощая заливным,  
трясаясь над ним, как над больным,  
хозяйка гостю хрен предложит.  
А тот седой, как старина,  
и, нагрузившись, как Верлен,  
на стуле даст легонько крен  
и кротко скажет: «Ни хрена!»

Трамваи нынче очень звонки,  
в них едут чудные девчонки,  
и чтобы вышло поверней –  
в сопровождении парней.

Быть каждой хочется попарней,  
и окунают груди в чад.  
Но слишком праздничные парни  
не хапают в игру девчат.

Две молодые на площадке  
вертят хвостами, как лошадки,  
и громко говорят про гены  
у Валентины и у Гены.  
Красив и в роли квалера,  
писатель Пыжиков Валера  
идет к вагону вперевалку,  
зачалив пеструю мочалку.

Всё благо: улицы и танцы,  
пол-литра красного вина,  
и молодые тонкоштанцы,  
и наших дней кафешантанцы,  
где – Боже! чья же тут вина! –  
толкуются разные засранцы,  
а в том числе и иностранцы,  
где кто-то ахнет: «Ну и ну!»,  
услышав голос на карачках.  
И вот его я как хуйну!

Всё благо, и на всю страну  
оно на загородных дачах  
сидит за чаем ввечеру,  
чаруя разговором, тортом  
и всем ожившим натюрмортом,  
в котором, ясно, есть корысть:  
его ведь можно есть и грызть.  
Постукивая, как стаккато,  
иду по улице Заката  
и вспоминаю на маю  
дурную молодость мою.

1–7 мая 1972

## ВРЕМЯ фуга

Ты, брэнное, ползешь, идешь, течешь, спешишь  
(ты – черномазая река Кратила).  
Сунь в зубы шиш тебе, так даже шиш  
и тот бы ты укоротило.  
Смотрю я на себя, как по тебе я еду,  
тобой в существование одет.  
И нету, нету никакого следу!  
(И никакого сладу нет!)

Ты больше самого себя и шире.  
В чужом уме, на звездах и в эфире  
ты расточаешься на точные цифири  
(и каркают часы, как воронье!).  
Всегда чужое ты, и на миру и в мире,  
ну а со мною целый век *мое!*  
Мое! И каждый раз гораздо разнo  
являешься – гора (и гиря!) и река.  
(Не шиш ли в кулаке у Хрона-старика?)  
А в жизни только некий вид соблазна –  
о нет, не шиш! (А шило из мешка.)  
Иль тень из-за угла, исподтишка?

Кому охалка, а кому беремья  
(кого, как топором дрова, рубя).  
И знаю я, мое извилистое время  
бывает больше самого себя  
(и меньше!). Ибо я к его вершинам  
прикладываюсь сам складным аршином.

Чужое время – медленная мера,  
клепсидры сирой капельная течь.  
Сухая течь! Его бы сбросить с плеч –  
и побери его холера!

Чужое время – способ измерения,  
им не живут и не живет оно.  
Ну а мое во имя примиренья  
враждой железной рождено.  
Ты – мой пустяк, и ты – моя забота,  
ты можешь мне не быть, когда с тобою сплю.  
Ты – праздник мой и черная суббота.  
Ах, время, время до седьмого пота!  
И я тебя порой настолько не терплю,  
что вовсе со двора убраться тороплю.  
Пусть твоему я и подвержен жому,  
пусть ты – и жох, и сиволапый дым,  
но не родня ты времени чужому,  
когда бываешь временем моим.

17 мая – 29 августа 1972

## РЕКВИЕМ

*Requiescat in pace!\**  
*Со святыми упокой!*  
*Вечная память!*

### I

Из воды – на ненужный воздух,  
когда всё ничему равно.  
(А вечер был в снегу и звездах,  
когда тебя коснулось дно.)  
Плыло тело. Был только Волхов.  
Воды – волоком. Час – как нож.  
И само пространство заволгло –  
не отворишь, не протолкнешь.  
Стар простор. Но стал он сужен,  
стиснут, сплюснен и размозжен.

\* Да почиет в мире! (лат.)

Отчего же он стал ненужен?  
Кем кому и зачем был сужен  
и навалил стопудовый сон?

Не с гитарой на веслах  
под весенний восторг –  
на носилках безмозглых  
прямо смолоду в морг.

Тут бесшумно, как в детской,  
и вопросом не тронь!  
Отвечает в мертвецкой  
только сиплая вонь.

И в лицо ты, и с тыла,  
словно камень, молчишь.  
В пальцах песня застыла,  
как задушенный чиж.

Было молодости – немного,  
было радости – на пятак.  
Далеко-далеко до Бога,  
но всегда за какой-то Так  
от порога и до порога,  
а живет человек-простак.

### II

Нечем стало мне помолиться!  
Тряпки с тайны совлечены.  
Только хочется умалиться  
до ничтожной величины.  
И чтоб к черту вам провалиться,  
вам, ученой правды чины!  
Подавиться бы вам, окаянным,  
распоследним куском мертвеца!

Смыло нацело океаном,  
замело до конца туманом, –  
нет лица на тебе, нет лица!

Просто ты в простыни закутан,  
а выходит – как ангел, бел.  
И любой бы Эйнштейн и Ньютон  
от безличия оробел.

Человек невелик. Но одно я  
не могу, хоть убей, понять –  
как же может свое, родное  
так безжалостно провонять?

И не знаю я, как лукавить  
и кому пустить подлеца.  
И зубов тебе не оскалить –  
нет лица на тебе, нет лица!

Пусть исплакан мир и исплаван,  
ну а горе прет напролом.  
И всего ты лишь белый саван  
на невидном своем былом.

### III

Ум со святыми не упокоит,  
и начинаю я ворожить  
(как на ромашке): жить  
стоит – не стоит,  
стоит – не стоит.

Юг, Север, Запад и Восток,  
да были ли вы намедни?  
На чем оборвется лепесток  
самый последний?

### IV

Из воды по воздуху – в землю!  
Гроб, одетый в чертов кумач,  
на сочувственное глазенье  
гроб, багровый, будто палач.

Кумач задыхается в черноземе,  
ком кулаком стучит о ком...  
Кончилось! Боже, а что же кроме?  
Холмик, как холод. А под бугорком  
нечто такое, чего не надо.  
Вечная память! О, как ты зла!  
Вечная память – как канонада  
или как выстрел из-за угла.  
Вечная память – как каталажка.  
Вечная память – до самого дна!  
Вечною памятью монашка  
тебя отпевает, совсем одна.

И как же лелеять Божью обиду?  
И за нее мне сыскать на ком?  
Служит теперь по тебе панихиду  
инокиня, одиноко, тайком.  
Если бы время переупрямить!  
Но не развязать на горе узла.  
Вечная память, вечная память,  
вечная память! Ох, как ты зла!

### V

Холмик стал как вселенский холод  
с теплотою родной земли.  
Через заупокойный город  
с вечной памятью люди шли.

Как далёко еще до Бога!  
И как близко нам до креста!  
В черствой глине лежит так много –  
многоглавая пустота!

*31 мая – 18 июня 1972*

## ЛЕТНИЙ САД

Летний сад сквозит, как воздух, емкий,  
понабрался статуй и людей.  
На пруду с зеленою каемкой  
подают здесь свежих лебедей.

Без лица, но чем-то длинноглаза,  
как впервые вышедшая в мир,  
в лебедей глядится дева-ваза,  
тихо приодетая в порфир.

И аллеи ходят, как столетья.  
Вечер настает во весь размах.  
Фейерверки – точно междометья  
и взлетают, как за ахом ах!

*16 июня 1972*

## КЛАДБИЩЕ

Ну что возьмешь на кладбище с вещей?  
Их тоже, кажется, похоронили  
(как проворонили). Топорщится трава,  
деревья листья обронили,  
как никому не нужные слова.  
Ну что возьмешь на кладбище с вещей,  
когда вселенная – собрание свищей  
с великой вонью прелести и гнили.

Что толку, воду в ступке грея,  
быть солнцем разума? Уж лучше быть пестом.  
И просветленной грусти Фомки Грея  
не нужно мне в забвении пустом.

Жизнь очень хороша, пока вполне живется,  
пока гуляется под ручку с ней.  
Что жизни плотоядней и вкусней?  
(Пока она внутри не оборвется.)

Могилы кучами нравоученья  
(бесплотного!) построились в ряды.  
Благословен грядый с анафемской гряды  
предела разума! Я вижу здесь труды  
природы и от жизни отлученье.  
Понятно, от нее недолго отлучить,  
но уж куда как трудно отучить.

Знакомый мой не первый век казачит  
по жизни и не знает, обормот,  
что был случайно на могиле зачат,  
но знает, что она его возьмет  
да и прикончит. Сверху встанет память,  
а он без памяти и без ума  
протянется. Потом придет зима  
и время будет дуть, как заметь.  
Исчезнут повороты и углы,  
оцепенеют горько жизнеробы,  
и будут белые надгробные бугры  
единолики, как сугробы.

Эх, Грей ты, Грей! Прочувствованный Фомка,  
ты пальцем не заткнешь вселенскую дыру.  
И только темный крест от предка до потомка  
шатается, как пьяный, на ветру.  
И совершается пресуществленьё  
(такое таинство – и задарма!),

великое развеществление  
пространства, времени, ума.  
И кладбище – такая старина,  
что новизна ей поперек нутра.  
Но уходя, скажу я: «Ни хрена.  
Авось и доживу я до утра».

*25 июня – 1 июля 1972*

\* \* \*

Парит день, как отварной картофель.  
Что с землею случилось за века?  
Красный гроб – атласный Мефистофель –  
грозно лег поверх грузовика.

Он, пожалуй, и задрал бы ноги,  
закурил и даже засвистел,  
если б рядом не сидели боги  
в грустных облачениях из тел,

если б молния на горизонте  
не была как Божие глаза,  
если б не развертывала зонтик  
траурный внезапная гроза.

Ну а так он не из настоящих,  
ибо всей вселенной пережит  
и лежит, играя в долгий ящик,  
едет и трясется, а лежит.

*2 июля 1972*

## УМОКРУЖЕНИЕ

### фуга

Пофилософствуй – ум вскружится.

*Грибоедов*

Я сам ли усумнился? Не во мне ли усумнились,  
темнея к старости, окрестности меня?  
Сменявшись на шиши, они не изменились  
и, как родня души, легли в просторе дня.  
В глазах пространство есть не самое простое,  
а занавес. За ним на свечи дышит тьма,  
а рядом дремлет вечность на постое  
в пустой хоромине ума.

И мало жизнью мне вооружиться,  
такую жиденькой, о Господе одном!  
Поди, пофилософствуй – ум вскружится  
(от голосов и дум) и станет кверху дном,  
как барский дом и глум. Страстей полны хоромы,  
гостей, которые горбаты, кривы, хромы.  
И, как нутро земли, кружится голова  
(ядро, одетое, как в облака, в слова).  
Страстей пока не отнял Бог от них,  
разваленных, как камни Вавилона.  
И дразнится язык зело, как похотник,  
назло высываясь из земного лона.  
Слепые совы страшного театра  
(домашнего) кидаются во мрак.  
Глаза болтаются, как яростные ятра,  
и красота вступает (с жаром) в брак.  
Она свежа, как девичья прохлада,  
прошла сквозь тучный жар, как ножик входит в жир.  
Но точно туча, как летучая нелада,  
весь, по листочку, обдирает мир.  
Как в точку, сам в себя я целю,  
но на лице не яблочко, а шиш.



Озябла суть моя, и не в конце ли  
ей, как дубиной, вздуть Ты поспешишь  
(и насмешишь), многосудбинный Боже?  
(Небось разноречив Твой Страшный Суд!)  
И бросит он меня кульком в рогоже.  
А шиш во всё нутро стоит, как уд.  
Шалишь! Его пространство не закроет,  
лишь времени дано свалить его к свиньям:  
оно одно в пространстве ямы роет  
на всем его пути, и сам я – только ям.

И кони времени бросаются, безгривы.  
Супони нет на них и хомута.  
И усмехаюсь я лениво и брезгливо,  
но я тебя не хаю, красота.  
А красота стоит в середине хая  
(нехай стоит, попал под гром ладош).  
А я, уже нутром театра затихая,  
блажен, как Будда, и, как хам, хорош.

И неспроста я сам, до нитки разбазарен,  
завел себе лихой театр, как старый барин.  
Такой театр, где скорбные актеры  
дерут меня и скоблют, точно терки.  
Такой театр, что члены тошной труппы,  
энергией ролей натруженные трупы,  
играют королей, шутов и бесенят  
и страхом, точно чуркой, осенят.

И чудо и надежда мне лишь бремя.  
Что ж делать-то, когда, ничуть не времени,  
всё – красота, любовь, судьба, пространство, время,  
как бабы голые в султановом гареме,  
как язвы, барствуют в самом нутре меня?..

Им, язвенницам, можно, как недуги,  
расти в году и дни затыкать ремеслом,

как щели. Но они – бесплодные потуги.  
Пофилософствуй! Гни себя, как дуги,  
ломайся на ходу да и ступай на слом!

*7 июля – 7 августа 1972*

\* \* \*

Природа – игрище. За сценой дремлют грозы,  
и в сотнях солнечных прозрачных обручей  
с утра трепещет воздух, как стрекозы,  
беззвучной музыкой он бьется об ручей.

И мельтешит в глазах, всё легче, всё мушиной,  
балетный летний день, а грозы за бугром  
и не везут еще на грузовой машине,  
как серый гроб, огромный – по лбу – гром.

И как создание муз, и бос и голопуз,  
задрал до пупа грязную рубашку,  
оставя ножку, душу нараспашку,  
сияет сам великий Карапуз.

Не замечает он, что Божий мир мозглят.  
Сосет он палец, сыт им, как сосиской,  
и светел, словно сам Франциск Ассизский,  
и цветиков набрал он полон взгляд.

А в полдень, как поклеп пройдя по кленам,  
как одиночество из темного угла,  
на коврик луговой большим земным поклоном  
монашья тень от августа легла.

*8 августа 1972*

\* \* \*

Место у нас антропоидам есть:  
крепкие кресла начальников,  
чтобы могли они поедом есть  
нас, работяг и молчальников.

Синим огнем не сгоришь от горилл  
и от атаки их матовой,  
но если лишнего заговорил,  
дверь нараспашку: выматывай!

Впрочем, так было везде и всегда,  
разве что без лицемерия.  
Люди всеядным ведь тоже еда,  
и ни к чему парфюмерия.

Снедь антропоид не прочь надушить,  
сам же наодеколонится,  
но мимоходом ее задушить  
он никогда не уклонится.

Ибо труслива нутром эта рвань,  
кормится креслом и званием.  
Знают всеяды – их тысячи Вань  
и что не вылезть из Вани им.

*15 августа 1972*

## ЗА ГОРОДОМ

Закат лежит, как рак вареный,  
у моста сломано ребро.  
На свалке дымные вороны  
долбят отжитое добро.

И искалеченная речка,  
потерянная на лугу, –  
как оловянное колечко,  
расплющившееся в дугу.

Но грусть погружена в машины,  
а люди самых разных лет.  
Огромный серый след от шины –  
совсем как динозаврий след.

*2 сентября 1972*

\* \* \*

Стихи мои уже не дети мне, а внуки,  
и я на них гляжу с плеча.  
Любви в глазах – что зависти в евнухе.  
Ее печальной горечью леча,  
на строки свежие гляжу и взглядом глажу.  
Стихи теперь со мною не живут.  
А и живи, так с ними я не слажу,  
у них свое, и я им старый шут.  
Они издалека приходят в гости,  
им непривычно здесь, как не моим.  
Лицо наискосок, заметно сдали в росте,  
они мне не свои, но нравятся чужим.  
И пусть идут к другим, пусть там их лихорадит,  
пусть их придутся там кому-то по уму.  
Я доживу без них, и, как бесправный прадед,  
лишь веки я на них приподниму.

*7 сентября 1972*

\* \* \*

Блестя, идут на перегар погоны,  
на перекур уносит души рот,  
и славно вытерпели гарпагоны  
наперекор себе нужду широт.  
Умы миры, как шарики, надули,  
разнос наука продает вразнос  
и злую долю даже, словно дулю,  
не хочет честно сунуть в нос.  
Промежду скал сидит купальный берег,  
у промежутка в бедрах расписных  
дежурит оловянный офицерик,  
и вошь ползет в угодиях лесных.  
Стоймя стоит, как мертвый час, тоска,  
и думает мужик, тяжелый как предплужник:  
«Нужны мне лишь четыре слова с К:  
кабак, бардак, кулак и нужник.  
Воистину, без кабака  
не пролежишь как следует бока.  
Ну а посредством кулака  
направишь даже облака  
куда тебе охота будет.  
А если жизнь, то бишь живот, понудит,  
то уж крепись и жисься, как биндюжник,  
а всё равно для жизни нужен нужник.  
Бардак не для одних мужей сооружен,  
а и для жен  
(подчеркиваю) мужних».  
Так целый час тоски мужик блажил,  
потом за красный галстук заложил  
и, укачав бутылку водки в сетке,  
пошел закусывать к соседке.

12 сентября 1972

\* \* \*

Подмывает иль манит?  
Но меня мусульманит,  
и меня, как на блюде,  
подают на верблюде  
в мусульманские страны,  
где гуляют бараны  
и трясут шашлыками,  
как Зевес облаками.  
Там не ходят морозы  
и не колются розы.  
Там луне желторожей,  
на мечтанья пригожей,  
соловей черномазый  
каждый вечер намазы  
распевает поэтом  
и стоит минаретом.  
А луне очень горек  
тесный внутренний дворик,  
где на разные сласти  
собираются страсти.  
Мил завод у арабок:  
как поел, так и набок,  
и лежи на боку,  
будто дома в Баку.

12 сентября 1972

\* \* \*

Вот же бабий повойник!  
Время скручено в рог.  
На столе, как покойник,  
именинный пирог.

Нет ни дальноюшки дальной,  
ни ночей, ни Афин,  
и слезою хрустальной  
плачет водки графин.

Он по графику плачет,  
и пускает слезу,  
и по радуге прячет  
в каждом Божьем глазу.

Время спряталось в детской,  
рожки выставив в срок,  
и лежит молодецкий  
именинный пирог.

Средь пространства чужого  
неподвижно лежит,  
он еще не прожеван  
и уже пережит.

Он лежит без простеста  
и без беса в ребро,  
запеленуто в тесто  
удалое нутро.

Пожелайте же сыти  
дорогому врагу  
да и в гости просите  
к мертвецу-пирогу.

*12 сентября 1972*

\* \* \*

Мне старуха-наука на картах гадала,  
ворожила мне и на бобах.  
Жил я, жил да и вправду дождался скандала,  
целый год по душе мне – бабах!

Да не раз и не два, не по-бабьи бабахал,  
приговаривал: «Вот так нахал!»  
Каждый день за меня изумлялся и ахал  
и, уйдя от греха, затихал.

Вот вперед мне и вышла наука без правил,  
без законов в железных зубах.  
Сколько горя и счастья на карту поставил,  
а остался без них на бобах.

*17 сентября 1972*

## **МОНАСТЫРЬ МИХАИЛА КЛОПСКОГО**

Вдоль речки рядышком, как две резвущки,  
и обе на одно лицо,  
бегут две серенькие деревушки.  
Одну зовут Сельцо,  
другую же Посад.

А там, где пустошь образует ширь,  
нахмурен, бесприютен, волосат,  
приткнулся на пригорке монастырь,  
в седые ивы по плечи закутан.  
Три века с гаком прожил тут он.

Его святитель был Михайла Клопский,  
а строили века боярский и холопский.

Сия киновия давно лишилась келий.  
Стволы, как руки, заскорузли  
и от намучки потемнели,  
а камни ветхие огрузли.  
И не дает пройти зеленый хлам  
в огромный и пустынный Троицын храм.

Ветла, имея вид апостола Луки,  
невдалеке от небольшой луки,  
где, верно, лавливались караси,  
стоит, как будто прежде на Руси.  
Темна вода на речке на Веряжке  
и чуть течет. А вдоль за ней  
по бережку в ряд по две ряшки  
шла рота худородная свиней.

С обительского холма гробового  
из-за косых могилки и крестов  
виднелась жизнь. И мягкая корова  
жевала серые листья кустов.

Две тучки ветром по небу гоняло,  
и день укладывался в нелады.  
И яблоня-дичок испуганно роняла  
свои непросвещенные плоды.

*17 сентября 1972*

### **ОСЕННИЙ ЛЕС**

Сентябрьский лес – ну совсем как летом,  
еще и зелен, и курчав.  
И только я в нем был скелетом,  
часа четыре там проторчав.

Небо намазано как над Равенной –  
синька густая да холодсилак.  
И поднимался день здоровенный,  
как голосующий кулак.

Или он вышел так, на разминку,  
как засидевшийся футболист?  
В полном безветрии на травинку  
бабочкой бледной садился лист.

Нутро мое было как у кукол,  
полных опилок да отрубей,  
а добрый кулак по плечу меня стучал  
и приговаривал: «Не робей».

И я был втиснут в эту картину,  
как незаконченный мазок,  
и день, натянутый на холстину,  
был не по росту мне высок.

Ноги по кочкам легко носили.  
Смотрел так, что трескались очки.  
Сроду травы здесь не косили,  
рыжели трепанные пучки.

Глаза проглядывал до ломоты.  
Нет ни единого гриба!  
Были у лета свои заботы,  
не до грибов. Такая судьба!

Поддай же ей, Боже, судьбе-горюхе!  
Кости свои собрал в мешок,  
взвалив на плечо, поправил на брюхе,  
будто подругу, тугой ремешок.

Да и айда, как черт упорный,  
жить, любоваться и дряхлеть,

а день дубовый работы топорной  
в память сложу, как в пустую клеть.

*22 сентября 1972*

### **СИГТУНСКИЕ ВРАТА**

Софии праведное лоно,  
камней мужичья доброта,  
и, как чугунная икона,  
висят Сигтунские врата.

Святые собрались на вече,  
не вылезая из клетей,  
любой железный человек  
забавней маленьких детей.

И, бесприютны, как в пустыне,  
они стоят за рядом ряд  
и на изваянной латыни  
о чем-то жалко говорят.

И, на чужбине не хирея,  
росточком всё еще с галчат,  
два иноземных архирея  
и поучают, и молчат.

Сия затворенная брама –  
как в горле стынущий глоток.  
И только мастера Абрама  
стучит по-русски молоток.

*22 сентября 1972*

### **КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА**

На всё, что трепетно и тленно,  
не разумея ни аза,  
ты, цареградская Елена,  
скосила темные глаза.

Сама ль страшна, тебе ли страшно,  
что на пиру столетних пор,  
как непорushенное брашно,  
стоит и мается собор?

Иссохли бармы Константина.  
Чета страдальческих зениц,  
два черных солнца у притина  
не опускают взора ниц.

Воздвижения древних красок  
века и в камень не замкнут.  
А время – как худой подпасок  
и в ход пускает разом кнут

и по глазам стегает резко,  
как резвый луч сквозь щель окна,  
и кротко вздрагивает фреска,  
как вспугнутая тишина.

*22 сентября 1972*

### **НЕДУГ**

#### **фуга**

Я весь живу всюю, как утро нараспашку.  
Поспал и сразу настезь, как окно.  
Варю из времени младенческую кашку  
и геркулесово хлебаю толокно.

Живу за завтраком. Живу почти беззубо  
и, глядя за спину, облизываю губы,  
поскольку вижу, что моя спина,  
как на подносе, мне чудес наподавала,  
и я наизумлялся до отвала.  
Она – бесстыдный тыл, и предстоит она  
как вынутая из подвала  
бутылка темного вина.

Пускай я гнусь в дугу, а все-таки я дюжу.  
Ни брюхо не щемит, ни кость, ни глаз, ни дух.  
Здоров я, что кулак. И всё же я недужу,  
как обворованный ору – к чертям! – наружу:  
«Ты – мой пожизненный недуг!»

Не болен я ничем! Никак!! Ни в коем разе!!!  
Полез я на рожон, в медвежий впрягся воз.  
Но я не Геркулес, и мне из божьей грязи  
не вызволить Фортуниных колес.  
И вот увяз. Живу я нараспашку,  
и на себя иду, как на межу,  
и в спину, будто в темную рубашку  
небитой карты, медленно гляжу.

Я не хвораю. Даже не страдаю,  
а просто проживаю за глаза  
и, глядя на спину, задумчиво гадаю,  
какого мне преподнесет туза,  
какой кулак по мне пройдет с тыла.  
Ах, карточка моя! Хоть в форточку ответь!  
Не оттого ли ты мне и постыла,  
что я здоров, как бык, и вечен, как медведь?

Фортуна гнет сама дубовые ободья,  
а мне уже не гнуть не их, ни звонких дуг.  
И вот увяз. И выпали поводья.

И ты – отравы мне в нутре чревоугодя,  
ты – мой пожизненный недуг!

<P.S.> Из этакой болести,  
из этого недуга  
(могу сказать без лести)  
сложилась ладно фуга.  
Но толку в этой хвори –  
что в бабьем разговоре,  
когда на фугу эту  
совсем ответа нету.  
Давно я сбился с круга,  
не сбив с загорбка ига,  
и знаю, что за фугу  
наградой будет фи́га.

*Ночь с 7 на 8 октября 1972*

\* \* \*

Вкруг пагоды висит осенняя погода  
на черных сучьях и на тусклых ключьях туч.  
У колеса времен совсем не стало хода,  
и бронзовый баран – как позабытый ключ.

И мнится, белый свет ни сладок и ни горек,  
а в вечный будень он обыденный обед.  
В буддийской тишине лежит мощный дворик,  
и снится кирпичам заоблачный Тибет.

Стоит на севере большой и косоротый,  
из камня сложенный кроваво-серый мрак,  
как древней мудростью, скудея позолотой,  
и нет вокруг него ни горсточка зевак.

Только вывеска из тени  
повешает вдруг, что тут  
морфологии растений  
(неподвижный) институт.

*Ночь с 13 на 14 октября 1972*

\* \* \*

Я сам сломал причину, точно спичку,  
и перегнул событие пополам,  
и чудо у меня вошло в привычку,  
и буря бьет пальтишко по полам.  
И я сказал «Прощай-прости!» причине,  
и ничего теперь не причину.  
А что еще и нужно старичине?  
Вот только разве душу почию.  
Заштопаю ее в старинном духе  
и проживу без следствий с полчаса,  
и, как затрещины и оплеухи,  
кругом твориться будут чудеса.  
И дом, как бык, шагает вбок угрюмо,  
и дым – как бог брадастый на трубе.  
И на углу вселенной возле глума  
стою под чудом, вспоминаю Юма  
и привыкаю к бешеной судьбе.

*17 октября 1972*

\* \* \*

Не грешить очень просто,  
но не буду спасен.  
Кружкой желчи и оцта  
я себе поднесен.

Я на гвоздиках висну,  
будто к небу прибит,  
но нисколько не кисну  
и душа не скорбит.

Сколько раз я растраву  
ко устам подносил,  
а на саморасправу –  
ни досуга, ни сил.

*27 октября 1972*

## ПЕРЕВОРОТ фуга

Я отстаю, как нищая страна,  
где странствую пешком из края в край,  
и, как терновая корона, борона  
дерет по коже под вороний грай.

Мятежны очаги во всех жилищах,  
и окна, как глаза, насквозь прожгли тюрьму.  
Но гневных жалоб я и ухом не иму,  
и тысячи меня, как толпы судеб нищих,  
валом валят к уму, как к замку моему.  
А в роще, рот открыв, зевластая ворона  
сдается на суку кукушечьей судьбе.  
Зубами вверх лежит терновая корона,  
и осень – волчий вой в архангельской трубе.  
Мои наперсники, как нечисть неживая,  
пируют, горе общее поправ,  
а уймища моя бесчинствует, желая  
лишить меня наследных прав,  
низвергнуть кулаком в рябые будни  
и рощу вырубить под огород.



Меня всё больше, я всё самосудней,  
и за любым углом стоит переворот.  
А пушки, как воробушки, на судне  
наохлились. От стужи ночь дрожит.  
Осенняя столица непробудней,  
чем Вавилон поваленный, лежит,  
усталая, как Рим, в ночи злодейской,  
во тьме разбойничьей, полна судьбой ничьей,  
и я повис, как царь державы иудейской,  
перед которым рухнуть навзничь ей.

И, свиток ночи поднося к глазам,  
беспечный враг ордастых революций,  
деля переворот с собою пополам,  
патриций лысый, близорукий Люций  
свой приговор читает сонно сам,  
а не зовет ученого раба.  
И жизнь патрицию – могучая отрыжка  
да запахи беды. И Люцию труба  
архангельская, пушка, крышка!

Ночь судная встает. К плечам подходит крест,  
и бурные рабы ликуют на иконах,  
и, горбясь, горестно вступает Люций в трест  
неправедных и беззаконных.

Осенний Зевс скопляет гром и тучи,  
и вот моя последняя гроза  
готовится мне дать раза.  
А колесо истории скрипуче –  
моей истории, – как колесо колодца.  
И я его верчу, как окаянный раб,  
от совести дурной готовый расколотся,  
в пустыню убежать со всех медвежьих лап.

По саду царскому вертится ветер новый,  
и сон мой колесом проходит стороной,

телегою дубовой над терновой,  
на поле брошенной беззубой бороной.

А колесо – сплошной переворот  
и мертвую на поле тащит воду,  
и раскрывает криком темный рот,  
последнюю мятежную свободу.  
И валятся мои прожитые цари,  
как черные чурбаны с пьедестала.

Нет, на меня всей ночи не достало!  
Но как он страшен, первый залп зари!  
Затем что не последует второго.  
И роет в кровь слепую яму крот,  
а угол подойдет и скажет мне: «Здорово!  
Слезай! Приехали! Я твой переворот».

*29 октября – 8 ноября 1972*

\* \* \*

Ты себя заморозила,  
как бутылку Клико.  
Полюбила да бросила.  
Знать, любить нелегко.

От полынного, хинного  
искорежило рот.  
Полюбила да кинула.  
Лучше так, без хлопот!

Всё-то лепеты, лопоты.  
Пенелопею – ты.  
Ведь любовь – это хлопоты  
и пора маяты.

*11 ноября 1972*

\* \* \*

Я разорвал любовь, как некую плеву,  
цыплячьих мертвых глаз ребяческую пленку,  
и, наклоня голову к цыпленку,  
я гнойной кровью на него плюю.  
Ах, плевелы мои! Но стоит ли зерном  
набить амбар, чтобы трещали бревна?  
Судьба губами шевелит бескровно  
на мне, пригорбленном и озорном.  
И я нечаянно озорничаю,  
и точно лупит в цель моя печаль,  
как истинно стрелецкая пищаль.  
И я не пью ни кофею, ни чаю,  
ни водки, ни пивов, ни сладкого вина,  
а только желчь с толикой легкой меда,  
и старая стрелецкая свобода  
шумит, как в стройном поле новина.

*17 ноября 1972*

\* \* \*

Ты легче всяких прочих нош,  
ты вечно в недалечке,  
ты будешь мне горячий нож  
и круглый хлеб из печки.

Нутро чем хочешь прикрывай,  
хоть конскою попонкой.  
Несу тебя, как каравай  
с серебряной солонкой.

Добро пожаловать, дружок,  
ко мне хотя бы в сени,

и жду я каждый твой ожог,  
как ясный день осенний.

*17 ноября 1972*

\* \* \*

Хороша ты, холера!  
(Оплеуха иль латка?)  
Ты из книги мулатка  
забуддыги Бодлера.

Ты заржавленный ключик,  
ты зазубренный ножик!  
Скука кукольных ручек,  
стоны стоптанных ножек.

Всю тебя – как нагишку...  
И, ломая колени,  
ты троянской Елене  
сунешь под нос кукишку.

*21 ноября 1972*

## **НИЩЕТА фуга**

Живу в благоустроенной квартире,  
из сказки принц или вселенский прыщ  
(разиня рот, держа карман пошире),  
и быт мой без забот. И все-таки я нищ.  
Беспечен, полупьян и сыт (собой по горло),  
и по природе я гуляю, будто хлыщ,  
с зеленой веточкой, и жру я во все жерла,  
беру на пушку всё. А вот поди ж ты – нищ.

Вокруг меня, как лес шумливый, доброхоты,  
и в нем я, как в себе, иду тропой разлук,  
как зверь на водопой, охотник без охоты,  
пробравшийся на лов и натянувший лук.  
А что-нибудь убью! Да только не бобра ли?  
На гордый воротник червленую лису?  
Я нищ. Меня до нитки обобрали,  
и нагишом в себе слоняюсь, как в лесу.

Убил бобра  
и набрал добра.  
Так чему же, брат,  
как дурак ты рад?

А ведь живу как Бог – с собой на пятом  
домашнем небе, словно на седьмом,  
живу как Бог – со мраком задопятым,  
обставленный, как мебелью, умом.  
Чего еще? Живу без подражаний,  
обобранный, и я свое беру,  
живу своим трудом, живу как горожане,  
но, тычась о стволы, в себе я – как в бору.

Убил бобра,  
накупил добра –  
и сиди с добром,  
попивая бром!

Нет, брома я не пью. Я вам не неврастеник!  
Я в древесине свиль, а во вселенной свищ.  
И, словно Иов, я сижу на куче денег,  
а сверху донизу и наг, и нищ.  
Давно уже повыщипаны перья,  
как во щи кур попался я – и сам  
молюсь о лоскуточке лицемерья,  
чтобы прикрыть свой застарелый срам.

На воле свет, как дождь, сорвался с ветки,  
и так прозрачны капли нищеты.  
А лисы, словно рыжие горжетки,  
всё брешут на червленые щиты.

*1 декабря 1972*

## ИСТИНА

### фуга

Ce que j'ay a dire, je le dis toujours de toute  
ma force.

*Montaigne*

### 1

Я усумняюсь. Стало быть, мое сумнение есть.  
Огромное, как Бог, оно во мне забилося.  
А стадо истин дымом заклубилось  
и мельтешит домой. И не забылося,  
что вечер на часах. Как шест, восстало шесть.  
(И вечер мне – как выбор спозаранья.)  
Овечья истина или баранья,  
а выбирай! – ведь надо пить и есть.  
Пить молочко, есть и мясо, и брынзу,  
и быть в овечьей шкуре, словно волк,  
и жизнь употчевать, как нищобродку-гримзу,  
не зная, есть ли в хлебосольстве толк.  
А толки что? Толкучка, барахолка!  
А смыслы? Только квантики зари,  
и я им горб, загривок или холка.  
Так пожалейте серенького волка,  
который, как пузырь, надут внутри!

2

Чужая истина – погаже принужденья.  
Чужая истина – как суд и осужденья!  
И от нее укроюсь дома я.  
Пусть вчуже истина моя и заблужденья,  
зато, как нежное гнездо, – моя!  
В сумнении всё истинно. Всех истин  
не соберу я в логово свое.  
Над ним, как липа, я излишне многолиствен,  
хотя с меня дерут и лыки, и корье.

3

Молчи, рогатая трагедия пролога!  
Лети и лопайся, пузырь-аэростат!  
Я сам себе изба, нора или берлога  
в кругу дымящихся – ах, без призора! – стад.  
В сумнении всё истинно. Без Бога –  
ни до порога! Сломанный, из лога  
выходит вечер, мой же супостат.  
Всё истинно – и есть. Когда-то или где-то  
как дата стану, может быть, и я.  
А нынче в сумерки и в черный дым одета  
бобыличья усадьба бытия.  
Горит нутро. Я изблевал сужденья.  
Всё стало истинным – до наважденья!  
(И я в дыре-норе засел шишом.)  
Пусть вчуже истина моя – и заблужденья,  
зато! родная!! рядом!!! нагишом!!!!  
Моя! Родимая!! Чего же больше нужно?  
Я с ней по-своему, на свойский лад живу.  
Но горе истине, которая наружна,  
подобно ловчей, зла и всеоружна  
и пуще смерти станет наяву!

4

Любая истина своей природой суща,  
любая истина уже по корню иста.  
А я – как волк и как медвежья пуща,  
и вся моя погудка многолиста.  
Любая истина в нутро ушла по корню  
(как в землю). И вприсос – к нутру!  
И высосет меня. Но стану ли покорней,  
когда мозоли на башке натру?  
Над пущей ночь стоит, как богомолка,  
и пуще молится, и ломаются мольбы.  
Так пожалейте маленького волка  
в охапке встрепанной судьбы!

5

Я перебрал давно свой род звериный  
по косточкам. Игрушкой заводной  
валяюсь по-хозяйски под периной  
с великой девкой – истиной родной.  
Она – моя! И ей потребны ятра.  
(В какого бога уродится плод?)  
(Кто уродился, тот всегда урод.)  
И я бегу, как темный лес, с театра  
в дремучий зал, во тьму голов.  
Всё истинно (как горький рев ослов).  
Так неужель я тоже правдослов?  
И мычутся умы с повышенным давлением,  
идут болеть, не зная за кого.  
И наступает лес огромным представленьем,  
и дремлет зал. А лесу каково?  
Не зятяну ни в обод, ни в ремень я  
поехавшего пуза-колеса.  
Избави, Господи, меня от современья!  
Нашли на волка темные леса!

Я с горя всё сожру. А правды мне натерли  
мозоли на глазах, и плачет желчью злость.  
Я истинку пустил не на простор ли?  
Но горлинкой она застряла в горле.  
Ведь в каждой истине своя бывает кость.

6

Недолго истиной и волку подавиться.  
(И станешь просто зверем без лица.)  
Уж лучше быть веревочкой да виться  
вкруг горя до собачьего конца!  
А лисья истина, скромна, хитра, зубаста,  
по снегу чистому волочит вольный хвост.  
Но щелкну на нее я сразу: «Баста!  
Тащи несчастного куренка на погост!  
(Иль ты не истина, а попросту лобаста?)»  
И сам пойду и стану пред курганом,  
где идолам, как сонным господам,  
на капище пресветлом и поганом  
свои слезинки лапами подам.  
Они блестят, как истинки. (Ей-право!)  
Их можно вставить в перстеньки,  
в глаза чужие, в Божии деньки.  
А зверская душа да будет им оправа!

7

Нет! Бога из зубов не оброну!  
Такого теплого куска мясного!  
(Помилуй, Господи, мя снова!)  
А человек булатный, харалужный  
во всей подлунной (как во всей подлужной)  
кулачным сердцем бьется о броню,  
и кулаком в сердцах стучит (по чуду),  
и выстроил лицо, что красное крыльцо.

Я на зуб пробую бессчетную кольчугу  
и разгрызаю каждое кольцо.  
В сумнении всё истинно. Всё может  
и быть, и стать. (Ну а кем я прожит?)  
Что истина моя под самый сон подложит,  
русалка, кумушка, ворожея?  
Она, как навью кость, меня, мусоля, гложет  
всю жизнь, да так, что спросишь: «Где же я?»

*7 декабря 1972 – 17 февраля 1973*

### ТРЕТЬЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

*Возсия мирови свет разума.*

Свет раскромсал полтьмы, как добрый каравай.  
Свет полоснул тебя. Не прячься в плечи!  
Горячего нутра во мраке не скрывай,  
последний хлебец, вынутый из печи!  
Да плачут по тебе горячим воском свечи!

Она была одна, орлиная звезда!  
Она сияла, как исчадь мысли.  
(Беспомощней птенцов из темного гнезда  
другие звезды падали и висли.)  
«Бог с вами!» – жалобно вопила благостыня.  
Ласкал владычной лапой агнца лев.  
И по прямой дороге шла пустыня  
в загон коровий и в овечий хлев.

Помилуй сирого,  
наполни праздного!  
Возсия мирови  
(эхма!) свет разума.

И над землей стояло Рождество,  
как бы вселенная у черного причала.

А крохотное Божество  
еще не плакало и не кричало.

Добру по мелочи недолго наблошниться.  
(Тем паче во хлеву.) Добра везде что блох.  
Вселенная моя, ужели ты божница?  
Моленная моя, ужели ты блажница,  
где колобродит лекарь-знахарь Бог?

Помилуй сирого,  
наполни праздного!  
Возсия мирови  
(эхма!) свет разума.

Блажному Мирушке свет разума сиял,  
огромный пламенный кулак,  
и весь народ земной завопьял  
на радостях от сих невыносимых благ.

Седея, мудрецы учились у звезды  
и в хлевушек добрались до зари,  
вещая, как пророки и цари,  
с текучего престола бороды.  
И небо и земля дорогою предлинной  
вытягивались за звездой орлиной.

С похода Кирова  
до боя Крассова  
возсия мирови  
(эхма!) свет разума.

Свет разума сиял, как праздничная ель.  
Блистал хрусталь, в слезах от водки.  
Земля ложилась в зиму, как в постель,  
и слушала рождественские сводки.  
А сводки пели, жили, просто были  
и, будто волки на овечек, были.

И разум электрический сиял  
во всей вселенной, как в пустой гостиной  
(иль во хлеву). И на столе зиял  
огромной раною фиал  
с непретворенною в мадеру кровью...  
И гнал мужик предлинной хворостиной  
ораву кроткую коровью,  
не зная сам куда.  
И шла над ним орлиная звезда,  
и шла за ними нищая планида.  
От света разума зажегся мир ночной  
и погорел! И плакалась обида  
турбинным воем станции речной.

Любила милого,  
дошла до разного!  
Возсия мирови  
(эхма!) свет разума.

У мудрецов росла в запруде борода,  
орлиная звезда болталась при петлице,  
и, как галактики, горели города,  
бочком пристраиваясь к небылице.

Как гусь рождественский, свет разума сиял,  
товарищ поросенку с хреном,  
и вдохновенным девкам-иппокренам  
вливали в глотку ярости фиал.

Свет разума сиял. Кружилось Рождество.  
Трегубый труд пришел на торжество,  
и рыла высунули из мечей орала,  
а крохотное божество  
в хлеву истошным голосом орало.

*25 декабря 1972 – 7 января 1973*

1973

\* \* \*

В волосах пожар и кавардак.  
Нет суда ни бедам, ни удачам.  
Если жизнь воистину бардак,  
так давай на грошик побардачим.

Кротко душу о душу потрем,  
станем тихо греться друг о дружку.  
Не по двум пройдемся, а по трем  
сторонам, сдирая напрочь стружку.

Радость нас не тронет всё равно,  
и душе премало будет дела,  
если, как ревнивое бревно,  
дремлет неоструганное тело.

Выложим себя за четвертак.  
Может, так и лучше будет житься.  
Если мир воистину бардак,  
так давай в любовь, как в гроб, ложиться.

Всяк из нас – природный жизнелюб.  
Толку что мечтать или ругаться?  
Если тело – как бревно на гроб,  
так и гробу надо обстругаться.

2 января 1973

\* \* \*

Аз усумнитель есмь. Попробуй-ка сомни  
в комок, зажми в кулак метрическую справку

и дни горбатые, как спину, гни да гни!  
А если вздумается, отдохни,  
пристроясь на кладбищенскую травку.  
Зима болит, как зуб с огромною дырой,  
зима валит морозней доброй шубы,  
и ноет голый дуб над черною норой,  
и потчует беда забавой в зубы.  
Клянусь, что дальняя любовь благоуханна!  
А рядом сыплется рождественская смерть.  
Шертую я во имя Бога-хана,  
но мне не по шерсти такая шерсть.  
Как зверь, и так и сяк верчу в когтях присягу  
кровавой грамотой баскачьего ума.  
Пока присяду вскачь, а там и вслепь полягу,  
перекрестясь сумнением. Эхма!

7 января 1973

## Я ОКОЛО СЕБЯ фуга сомнения

I

Я усумняюсь, и мое сумнение, как морок,  
с морокою при старческой клюке  
выходит из подвалов и каморок  
и странствует по замку належке.  
К Святому Гробу я поломанный паломник,  
живу себе и смерть беру легко, внахрап.  
А может быть, в смердящих сердцеломнях  
я – безраздельный, в Божьих говнах, раб?  
Клюка – не ключ. Она – яга и злюка.  
Со странствиями я не сдобровал,  
и темный пропад выглянул из люка,  
который называется провал.

## II

Каморка, люк и замок – не на сцене,  
и залу не видать от них добра.  
Они – не явь. Они еще бесценней:  
они из мышц утробного нутра.  
В тенетах бег вершится тараканий,  
и только лапки кверху наяву.  
И где-то во своей Тьмутаракани  
я без просвета исподволь живу.  
А время – как беремя. И какого  
ему я беса рыжего рожу?  
Толкаясь наугад и бестолково,  
вокруг себя, как по миру, брожу,  
и вижу я как на ладони зданье,  
построенное из дыры.  
Вокруг да около волочится познание,  
вокруг да около вращаются миры.

Паломничество, странствие, гоненье!  
Зайду в кабак, а век в нем – половой.  
Вокруг да около вращается сумнение,  
покачиваясь круглой головой.  
И чувства заскорузлы и круглы,  
и как узлы мне круглые углы.

## III

Ох, знание! Ты земной шершавый шарик,  
в клубочек сбившийся дворовый пес!  
Как возле бочек, вдоль галактик шарит  
полурасквашенный в лепешку нос.  
(И не до смеха мне и не до слез.)  
Я весь – как глаз, подбитый естеством.  
Наука непродажна, но подкупна.  
Не встречусь ли я с антисуществом

с моим, дабы обоим лопнуть купно?  
И сколько радости в ученом франте  
(дурацкой)! Мысли по загровку – раз!  
Язвите, знания, и насмерть раньте!  
И страхом жалобную явь тираньте!  
Ползут, как буки, яростные анти,  
а существуем только Бог да аз.

## IV

Вползает новизна в покорную привычность  
и в ней, как в коже собственной, лежит.  
А может быть, ко мне моя же антиличность  
со всех-то ножек лапчатых бежит?  
Как мировая вошь! Тогда чего же  
страшиться мне и класть уму предел?  
И слюни распускать, как вожжи?  
Да вот от мудрости, как тьма, я поредел!

## V

Каморка, лик и замок – не на сцене.  
Перед природою паду я на колени –  
разыгрывать смиренного царя.  
Пойду паломничать вокруг себя, как тени,  
и скромничать – на куче дребедени, –  
румянясь, как вечерняя заря.  
А сумрак в непотребную мороку,  
как в звездчатый прадедовский мундир,  
почтительно облек брюхатый мир.  
Зорюю я. Но много ль будет проку  
мне зариться на здание из дыр?  
Не лучше ль будет, если разорю  
гнездо и дуб, дорогу и зарю?



## VI

Я около себя. А мне бы стороною,  
бочком, украдкой, как муравьи  
на лапках тысячных... Куда? Хоть в паранойю!  
Туда, где все умы уже ничьи.  
Я тронулся. Но движутся со мною  
домашнею ордой окрестности мои.  
А за спиной повисла неизвестность,  
как с прорвой грешною дырявая сума,  
и около себя брожу я, как окрестность,  
своя такая, что нельзя сойти с ума.  
Ведь ум сидит, как идол и оракул,  
но он не по плечу сумненью моему.  
И ничему я сроду не уракал,  
и не орал я здравиц никому.  
Сумятица душевная каракул  
метелицей по улице к лесам.  
А я в лице меняюсь: или сам  
каракулы себе я наваракал?  
Они – каникулы моих ученых чувств.  
Хочу – скачу, хочу – мечусь,  
хочу – и мчусь, и вокруг себя тащусь,  
и у себя искать пощады тщусь.  
Но если чувства надоели,  
тогда дерусь с собою на дуэли  
(а силы остается еле-еле).  
И кажется, что целых триста лет  
я навожу на дырку пистолет  
(и около опять родным подуло).  
Зрачком нацелено на дырку дуло.  
Вот фокус-покус мирового цирка,  
заклепка, закорючка, заковырка –  
глядеть, как попадает в дырку дырка!  
И, может быть, тогда, великая Дыра,  
я в первый раз тебе и заору «ура!».

## VII

Но сцена и каморка, люк и замок,  
как нарисованные на доске, трещат,  
и стаи шустрые задастых самок,  
гуляя павами, нещадно верещат.  
А я вокруг себя, как на аркане,  
кручусь, как будто я ученый кабинет,  
и где-то во своей Тьмутаракани  
живу с голубою, которой как бы нет.  
Живу и всё тут! А чего же боле?  
Неужто ждать еще разгона боли  
и слезы сизые, крупнее гоноболя,  
брать пальцами и зажимать в горсти?  
Стар стал я, Господи прости,  
чтоб околесицу нести.  
Не по уму уже такое бремя,  
когда я вижу прямо в рожу время,  
и каждый месяц я на три дни  
природою определяюсь в сидни.  
Что может быть постыдней и обидней,  
когда я сам себе – как некий род жилья!  
Как пекло стала печь моя. Иль я  
и въяве недосиженный Илья?  
А где-то от дыры и до дыры  
вокруг да около вращаются миры.  
Река времен – в порогах нареканий,  
и как упрек – любой ухаб реки.  
А ум – что клетка, полная рыканий,  
и в озверелой сей Тьмутаракани  
я существую, жизни вопреки.  
И я притих, как город в затемненьи,  
когда несутся гром и орды бытия.  
Вокруг да около вращается сумненье,  
и весь я – как большой Авось – да буду впредь и я.

*7 января – 7 июля 1973*

\* \* \*

Заболей, дружок, заболеи!  
Будь, как мелкий смешок, тиха.  
Я куплю тебе соболей,  
как в компресс, уберу в меха.  
А еще я тебе куплю  
хризолитовую соплю,  
чтобы под носом у дорогой  
повисала она серьгой.  
Иль как снадобье пролита  
драгоценная капля та?

*13 января 1973*

## ВОР

Я вор, живу я на одну вторую,  
и я краду как истый невидим.  
По малости я у себя ворую,  
и за татьбу я лишь собой судим.

Но самосуд невольнее опеки,  
знакомство с ним обузней, чем родство.  
И всякий – вор. И в каждом человеке  
свершается слепое воровство.

Я обращаюсь к хилякам и к ражим:  
«Что корень зла за душу вырывать?  
Вы, как и я, привыкли к самокражам.  
Так можно ль у себя не воровать?»

*22 января 1973*

## СТИХОТВОРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Сетовал мне некто Н. Седов,  
гиппократик с видом ипокрита:  
на Руси огромная открыта  
ярмарка старинных городов.  
И по моде изо многих мест  
ездит к ним премножество людей  
поглядеть на них, как на невест,  
чаще, правда, будто на блядей.

Приезжает Авенир,  
в ресторан тотчас спешит,  
покупает сувенир:  
я-де сам не лыком шит!

Авенире, Авенире!  
Ты одно из дышел.  
Суть совсем не в сувенире –  
рожей ты не вышел!

Ты послушай, мой хороший,  
собранный из трех кусков,  
ну куда с такою рожей  
во старинный город Псков?

И с модерн-роскошненькими  
в ряд и наравне  
города с кокошниками,  
города в броне!

И круглы, как яблоки,  
толпы толстых рож!  
Ах, купцы на ярмарке!  
А в кармане – грош.

Приезжает Эдуард,  
привезя Викторию,  
ударяется в азарт –  
он попал в историю.

Но и он, устав в пути  
после всех стараний,  
может дух перевести  
только в ресторане.

Едет-едет Хивря с Винницы  
при содействии Луки.  
В древних городах гостиницы  
встали, будто бардаки.

Да и в самом деле –  
чем же не бордели?

Но знают городничии,  
что есть одно отличие:  
прежде на таких блядей  
не было очередей.

Приезжает мистер Гоббс  
суше черствой корки.  
подавай ему шнель-клопс,  
водки и икорки.

В лимузине прикатив  
с полурусской Лизой,  
всюду носит объектив  
с объективной линзой.

Извлекает доброхот,  
старины-де ради,  
из приехавших доход  
спереди и сзади.

И с модерн-роскошненькими  
в ряд и наравне  
города с кокошниками,  
города в броне.

Мне изобразил Седов  
плач старинных городов –  
такой, что Ярославнин  
условно к ним приравнен:

«Были мы древле почтенны,  
помогали то Бог, то черт.  
Но не выдержат наши стены  
организованных орд.

Кто нас послал на пытку,  
вырубил нас, как сад?  
Меньше бывало убытку  
от стародавних осад.

Господи, где же пристав,  
чтоб на коне косматом  
гнать зевоглазых туристов  
плетью, да с матом, с матом!»

Но слезы продаются в целлофане,  
да из-под полы, на стороне.  
И ревут города в сарафане,  
и вопят города в броне.

*15 февраля 1973*

## ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ФУГА

Вкруг меня стоймя стоят события,  
словно кегли с лысой головой.  
Мало радости мне от развития,  
развивайся лучше кто другой!  
Я ведь не веревка. Но веревкой  
развитой и горя не завьешь.  
Повенчаю норв со сноровкой.  
Словно пьяного купца с воровкой,  
уложу их на большую ложь.  
Как Яга с клюкою, бродит старость:  
и на что ей гегелев развой?  
Дай мне, Господи, до самой смерти ярость,  
дай мне быть как боль и как разбой!  
Всё течет! Куда ни глянь – утечка,  
и утечке этой нет конца.  
Мудрость заводного человечка,  
а не ярость ядер и самца!  
Пусть себе весь мир противоречит.  
Дураков не сеют и не жнут.  
Ну а в жизни только чет да нечет –  
либо пряник, либо кнут.  
И, облапя скромницу-надежду,  
пролежу я в этом нежном Между,  
как метафорическое тело,  
беззаконно, нагло, оголтело.  
Господи! Да буду я неразвит!  
Сыпь, Семеновна, голубке сыпь!  
Милостив Ты, Господи, и разве  
Ты меня не ввергнешь в дрожь и в зыбь?  
Сколько было жито, пито, лито  
на моем измученном веку!  
Но рекой проклятой Гераклита –  
вот вам крест – вовек не потеку.  
С горя доброту облапя бабью,  
я сострою Гегелю козу,

насеру на эту мудрость рабью  
и останусь дрожью, зыбью, рябью  
у большого озера в глазу.  
Трепетом по жизни пробежаться,  
запускать глаза туда-сюда,  
на Семеновну не обижаться  
и над нею не держать суда.  
Жизнь и с камня будет лыки драть.  
Слава Богу, я не птица Цаца,  
чтобы отрицать и отрицаться,  
после пива в гегели играть.  
Я игрок разгульного пошиба,  
отродясь я мыслей не кропал.  
Любо мне такое либо-либо –  
или пан или пропал.  
Загуляю на своей же тризне,  
ибо я великий малOVER.  
Трех законов мне не нужно в жизни,  
а на бытие кладу я хер.

*21–24 февраля 1973*

\* \* \*

Набежала разлука,  
как закат и гроза.  
Слезы злее тузлука  
разъедают глаза.

Черной тучи мрачнее  
завихряется прядь.  
Ты не стала ручнее,  
дикоокая блядь!

Ты, как правда худая,  
и остра, и тоща.

Только денусь куда я,  
сам себя чуть таща?

Нашей ноши совместной  
одному не снести.  
У тебя, у бесчестной,  
я опять не в чести.

Но ко злу ли разлука?  
Может статься, к добру.  
Слезы злее тузлука  
я возьму да утру.

Но просохшая морда  
с пересошим нутром –  
некий род натюрморга,  
где упрятался гром.

*4 марта 1973*

## ПОКРОВ

Засветил чернец лампаду.  
Вечер, как орда, суров.  
Стелется по листопаду  
Богородицын покров.

И мороз великий в ригу  
стужи целый воз свалил.  
А Господь земли ковригу  
слишком круто посолил.

Звезды, зернам подражая,  
так и сыплют в свежий снег.  
Сытной смерти урожая  
поклонился человек.

*16 марта 1973*

\* \* \*

Ах, современность, современность!  
И на кой прах ты мне нужна?  
Ты лишь соломенная брэнность  
и, значит, некий род рожна.

А я, как ветер, пьян и шаток,  
с медведем я вступил в союз.  
Твоих рогатин и рогаток  
уже не очень-то боюсь.

Беззубый рот ничто железу,  
и я ничем не поражен  
и не смущен. А всё же лезу  
на твой соломенный рожон.

Годами я богач и нищий,  
через тебя перешагну,  
и се не ты меня, блядища,  
а я тебя в дугу согну.

*16 марта 1973*

## УНИВЕРСАМ фуга

Всё во мне, и я во всем.

*Тютчев*

Я думаю, что я себе универсам,  
куда я захожу по надобностям разным.  
Открыт бываю я и людям, и часам,  
пространству грузному и хрупким чудесам,  
погоде на сердце и пьяным голосам,  
и кособокой скуке, и соблазнам.

Всё есть во мне, чтобы по горло жить  
(в придачу ко всему и распри даже!).  
Фасованно могу себя я предложить,  
готов с утра к великой распродаже.

Завистники-глаза сверкают, как витрины,  
устраивая трижды в день смотрины.  
Сквозь них приходит день в универмаг,  
облизываясь, будто бешбармак.

Вот полки белые и твердые, что кость,  
нагружены чуть охлажденным мясом.  
Утроба нежится, подобная колбасам.  
Но кто это «ого!» проокал басом?  
Кто взгляд в меня забил, как в стенку гвоздь?

Не трогайте меня! Своим я занят делом!  
А если нужно что, ходите по отделам!

Вон головы мои, как лысые сыры,  
лежат, лишенные и плеч и шеи,  
и рады, что в них есть червивые траншеи,  
и рады от дыры и до дыры.  
Лежат они, округло хорошея,  
как с неба выставленные миры.

Лежат они невдалеке от масла,  
которое белеющую плоть  
поставило стеной, за пряслом прясло.  
Но в масле не катаются. Колоть  
ножом их насмерть не велел Господь,  
и по частям они обречены железу  
и жизни, как вседневному надрезу.

Располосованный наискосок,  
как лососины розовый кусок,

не может рот полунемой открыться.  
А кровь густеет, как томатный сок.  
И из ладони, словно из корытца,  
сухие пальчики, как палочки корицы.  
И каждый мой отдел не оттого ль высок,  
что мне затылок, темя и висок  
украсили и соль, и сахарный песок?

Ой, полным-полна моя авоська!  
Есть и перец в ней, и лук.  
Не жалеи ни слез, ни воска,  
ни утраты, ни разлук.

Всё есть во мне. И жить – как жрать и жрать.  
Надежде я свояк, а делу кум.  
Могу товар своей рукой-владыкой брать  
и по-лукулловски жевать рахат-лукум.

Рабочий день, бывает, разворчится,  
а в деньгах ветер, свист и кутерьма.  
Соскочит с полки баночка горчицы  
и в руки прыгает сама.

Чужой огромной жизни послужи-ка,  
и прянут пряности в открытый рот, как рать,  
язык и нёбо обожжет аджика,  
крапивой продерет. А жить – как брать и жрать.

Во всякой жизни есть и нужен привкус,  
но жизнью торговать, ей-богу, нелегко.  
Проторговался – так возьмут за гривку-с  
да и на солнышко, как за ушко.

Проторговался – так седи да шамкай,  
гляди вослед, как в самый зад, судьбе,  
когда универсам с универсамкой,  
качая сумками, идут к себе.

Ой, пустым-пуста моя авоська!  
К ней не я ль попался в сеть?  
С плеч головушку ты сбрось-ка!  
Что ж ей попусту висеть!

Всё есть во мне. И назло контроверзам  
чиновничьим и страхолюдьми зим  
универсам стоит, как универзум,  
как суетливый Божий гомозин.  
И стану ожидать я с Богом очной ставки  
в полночный час, всплакнув по волосам.  
И буду ждать на судном на прилавке,  
когда закроется универсам.

*17–25 марта 1973*

\* \* \*

Вослед Готьеру и Верлену,  
и сам сносив немало лет,  
я здесь библейскому колену  
поэтов – сочиню завет.

На грай грачей, на треск сорочий,  
на птичье вече стал я зол.  
Хочу завет изречь короче,  
вложить его в один глагол.

Творец громадин и безделиц,  
создатель храмов и камей,  
будь ты хоть гения владелец,  
в стихах один закон: умеи!

*29 марта 1973*

\* \* \*

Я думать пробовал. Претесная затея!  
Огрехи сзади, рядом, впереди.  
Споткнусь об эти и запнусь за те я.  
Ах, время острое! Меня не береди.  
Я думал. А вокруг так много размышлялось.  
Я мыслил деревом и всей листвой рябой.  
Природа ли со мной вдоль Клязьмы шлялась  
(под ручку?), говоря наперебой?  
Под ручку ли? Скорей всего, не в ногу.  
Какой-то я был, как Микула, хром.  
Какой-то я рубил пространство топором  
(но из него не выстроил хором),  
и залпом жил, и думал понемногу.  
А за утыканным осинками бугром,  
как бочка, перекатывался гром.  
Из дали утренней синеголовый лес,  
как змей из сказки, на меня полез  
(или как рать карательная?). Эка!  
И лес, как вече, валит человека!  
На думах я шагал. Как аист на ходули,  
на них я встал, отмеривая день.  
И сумерки прохладные подули,  
и голенастая со мной шагала тень.  
И мысли шли со мной, по темени скребя.  
Я думать пробовал. Попробуй, друг, попробуй,  
подумай-ка поглубже всей утробой  
за всех и вся – за семерых себя!  
И я почувствовал до костна скрипа:  
будь я медведь, бульжник или волк,  
будь ясен я, предгрозье, вечер, липа,  
но думать всей природой – это долг.  
(А тут меня мартышка лапкой толк!)  
И кажется, не вышло слово рылом  
(ни серафимом шестикрылым!).

В лесу стояла трескотня сорок,  
сверкающих, как белизна в черниле.  
Повысунулись дни да и меня дразнили,  
как языки. Но к ним я нынче строг:  
кого же, яшень или дуб казнили,  
чтоб напечатать эти сорок строк?

*31 марта 1973*

\* \* \*

Я жизнь отмериваю год по году  
на свой аршин. Так меряй и не трусь!  
Но не берусь душевную погоду  
предсказывать ни медленно, ни с ходу:  
душа хоть и мала, а всё своя же Русь.

Где будет засуха, а где ударят грозы,  
где снег падет, а где пройдут дожди,  
узнается потом. Поспеешь, подожди!  
Еще получишь сводку этой прозы,  
прежде чем бухнут бомбами морозы.

Предсказывать погоду погоди!  
Пусть каркает наука, как ворона.  
Страх брал за шкуру даже Цицерона  
знать, что с душой стрясется впереди.

*31 марта 1973*

## ЛОЖЬ фуга

Я вижу жизнь свою, гляжусь в нее да лгу.  
Я в руки ложь беру и вру наудалую.  
А как не лгать, когда я пред собой в долгу  
и правду нравную, как девочку, балую?  
Ей самое ее вынь да положи  
на выказ. Правда – смертная кокотка,  
и от нее спасет монашка наша ложь,  
заступница такая же, как водка.  
Нам снадобье она. Причастие! Держи  
пустую душу, как карман, пошире!  
Приймите лжицу освященной лжи,  
возлюбленные братья во кратире,  
чтоб удержаться у межи,  
чтоб крепче стать ногами в зыбком мире.  
Зима не терпит пестрого вранья  
и сыплет всюду снег, сухой как сода.  
Но замирает в ужасе природа  
от хриплой правды воронья.  
Мы все – герои самообороны,  
себе на горе лишь пигмеи лжи.  
А проповедницы-вороны  
натачивают клювы, как ножи.  
А если уж самой природе страшно  
от правды, то еще страшнее мне.  
И стерво правды, как большое брашно,  
мы пожираем при луне.  
Пусть правда и добро, но нет добра без худа,  
и правда – лиходейка и паскуда:  
покуда не подступит смертный час,  
всё время обворовывает нас.  
Я жить и думать широкохоромно  
хочу, учусь и, душу теребя,  
отчаянно кричу: – Да будет ложь огромна,  
да превзойдет саму себя!



Да будет больше правды заунывной,  
проныры и задиры супротивной!  
(Да что ты говоришь? Иль на тебе креста нет?)  
Гоните правду, как быка, под нож!  
И счастлив человек, когда везде настанет  
одна сплошная вольнодумка Ложь.

*1–2 апреля 1973*

### MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.  
Кипит моя старость ключом,  
и не спит  
былое.  
Бурлит и хочет  
забежать в будущее.  
И я боюсь захлебнуться  
в своем  
шестидесятидвухлетнем  
потоке  
или расшибиться  
о свои же подводные камни.  
Я весь  
как вспенившаяся борода.  
И неужели опять начнутся  
грустные явления Музы,  
ибо я родился в Благовещенье.

*7 апреля 1973*

### БЕЗ СЕБЯ фуга

Я изживаю сам себя, а злое естество  
изжить меня, пожалуй, и не в силах.  
Оно – трепещущее существо,  
повисшее на скоротечных жилах.  
Оно – как вешалка. И строй годов служилых  
глядит, чтобы висел по правилам мешок  
(на нем затягивают ремешок,  
а жилки тянутся, и дрожь по ним бежит).

Когда собою буду пережит,  
окажется всё собственное вчуже.  
Сторонкой, как по стенке, вдоль себя  
я проберусь, ладонями гребя,  
по пустоте, по безвоздушной стуже,  
и, мысли за вихры тихонько теребя,  
не буду знать, что лучше мне, что хуже.

Спокойствие мое! Во всю твою длину  
занудную тебя я проклянчу.  
Авось тебя проклятьем я заклиню!  
(Да много ль будет остроты в клину?)

Ох, естество мое! Как смертную вину  
признав тебя, себя ополовиню.

Ополовиню или оболваню?

Пока я – лишь растянутый пролог,  
пока я жизнь еще не доволок,  
в нутро к себе хожу, как в баню,  
и греться лезу, грешник, на полоч.  
Ведь греет грех. Потрескивают кости  
от раскаленного добра.

И я не Еву создаю (со злости!),  
а изгоняю беса из ребра.

Покой заклинно я, и заклян у громко:  
«Изыди, бесе!..» Рывкнуло нутро.  
Он вышел, крикнул, а в нутре полонка:  
как твердый голос, треснуло ребро.  
Вот грех какой! Оно, чай, не соломка  
и не поэтово перо!

В изгоях бес. Но в горле узкий голос  
стал, как пустая кость, скрипя, свистя, сипя.  
Брюшиною душа на кости напоролась...  
Оставшись без себя, я буду Бес себя.

*7 апреля – 7 июля 1973*

\* \* \*

Мне волшебница младая  
подарила талисман  
(и, собою не владея,  
расползаюсь, как туман).

А еще ее подарок –  
хоть бледней, хоть багровей!  
(И глаза, как из-под арок,  
на меня из-под бровей.)

На пуантах три гвоздики,  
и как ножки – стебельки  
(веют тенью Эвридики  
изумленные зрочки).

Белой пачкой, красной пачкой  
танцовщицы машут, но...

(Осторожно! Не запачкай  
то, чего не суждено!)

Дар напрасный, дар случайный,  
ничего он не таит  
(жизнь валит, как вонь из чайной,  
чайной дымной, как Аид).

Всё собою застилая,  
словно мглой, не жду я льгот.  
(О какой напасти ляя,  
стал, как Цербер, каждый год?)

И когда бы знала фея,  
что подарок – как удар  
(и у бедного Орфея  
песня – как сквозь пальцы пар).

Я отдам оправить счастье,  
как пространство, в раму лет  
(кандалами на запястье  
деревянный амулет).

*8 апреля 1973*

\* \* \*

Ночь с обманным запахом лимона  
и луной занудной желтизны.  
Ты, как ночь, не знаешь угомона  
и дерешь на клочья сны.  
Рамона!  
Ты изогнута, как стон,  
Рамона!  
В танго воткнутый чарльстон.  
Рамона!

Ночь, как призрак старого романа,  
на гитаре трогает струну.  
Только знаешь, милая, не майся,  
лучше выжми в чай луну!  
Рамона!  
Пьяный трепет кабаков.  
Рамона!  
Ты сто рук и сто боков.  
Рамона!

А роман твой не горит.  
Ночь – как чай с лимоном.  
Ах, едрит твою Мадрид  
и Тулу с Лиссабоном!

*20 апреля 1973*

\* \* \*

Мы с тобой – как две поры осенних,  
поздняя и ранняя пора.  
Ты еще бываешь в воскресеньях,  
ты еще живешь на новосельях.  
А меня с утра дерут ветра,  
обдирают догола,  
добираясь до ствола  
помыслами топора.

Ты еще раскидываешь ветки,  
нежная наряженная ложь.  
От последней радостной расцветки,  
будто бы от вражеской разведки,  
иногда тебя бросает в дрожь.

Слабая голубка,  
бледная улыбка.

Отчего так зыбко  
в сероглазьи вновь?  
Отчего пахнула  
ты, как ночью любка?  
Отчего махнула  
по коленям юбка  
и сломались губы?  
Ах ты, Любка, Любка,  
ах ты, Люба, Люба,  
Любушка, Любовь!

*20 апреля 1973*

## ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА

Здравствуй, агнье стадо, овечья паства!  
Я стал как мир и сбился к ночи с ног.  
Но сладко на миру тройное яство –  
опреснок, вино, чеснок.  
Воскрес и я, но как-то понемножку,  
и высвободился из смертельных уз,  
жую святую горькую лепешку,  
в которую, быть может, разобьюсь.  
Пасу себя. А ты, иссохший посох,  
как перст указательный, мне не настывь!  
Я – паства из драных, нагих и босых,  
а пастырь стал как монастырь.  
Пасу себя, пасусь, да всё с опаской.  
Набат припрятали колокола.  
И крестным ходом я иду за пасхой  
вокруг во гроб забитого кола.  
А рядом со мною друг-миловзорич  
открыт, как в зори вешние окно.  
Вкушаю вас, кислота и горечь –  
опреснок, чеснок, вино.

Не сети ль себе я, самоспаситель,  
расставил, словно на стаю лещей?  
Быть может, я уже и не житель,  
а лишь обитатель и обитель  
бездомных юродивых вещей.  
Быть может, меня угощает Кощей,  
наливая погуше всё тех же щей.  
Кладут поклоны грады и веси.  
Колокола трезвонят наотрез.  
Христос воскресе, Христос Воскресе!  
И я по малости воскрес.  
Воскрес по самой малой сути,  
воздвиг на пропасти дыру.  
Люди добрые! Не обессудьте!  
Очень красно умирать на миру.  
Дыра на дыре. Но каждая – продох,  
и в них я, как в решето, суюсь,  
и даже со стадом мудробородых  
по всей природе христосуюсь.  
Сейчас начну во всю мочь орать я  
утробой в каждом человечке.  
А рядом радость стоит, как братья.  
А рядом горечь горит, как свечки.  
И стал хорош я не понарошку.  
Я стал народом повальным с ночи.  
Вино приемлю, и ем лепешку,  
и попадаю на зуб чесночий.  
И, Боже веси чему радея,  
с огромной крохой благостыни  
грызу опреснок, как иудеи  
без Моисея, в своей пустыне.  
Ужели, Боже, един Ты веси?  
Шумит соборов дремучий лес.  
Христос воскресе, Христос воскресе!  
И я по малости воскрес.

29 апреля 1973

## 1 МАЯ

Все празднуют, а я сижу, дежурю  
и жду из дали некую беду,  
и на душе досаду, будто бурю,  
быть может, я под утро наведу.

И одинокие уходят сутки,  
и сон уже дежурит за спиной.  
Но я еще в себе, в своем рассудке,  
и только ремесло мое виной

тому, что я сижу в служебном кресле  
и жду, ломая на кусочки ночь,  
чтобы родные мертвецы воскресли  
и попросили чем-то им помочь.

Я помощь срочная на случай мрачный,  
я как бессонная рука врача.  
А за окном по улице прозрачной  
уже бежит заря из кумача.

1 мая 1973

## САМОПОЗНАНИЕ фуга

γνώθι σεαυτον!\*

Я жизнь, как небылицу, наваракал –  
в стихах! – А рядом черный телефон  
уселся на столе и, как оракул,  
прокаркал: «Γνώθι σεαυτον!»

\* Познай себя! (др.-греч.)

А я – не По, не умник и не сноб.  
(Аристофана нету в телефоне.)  
По мне уже бежит познания озноб,  
Аврора нежная восходит в синей вони.

Стучат отчеты, четким строем сводки,  
как сапоги, шагают по мозгам.  
И груды пепла рядом – как Пергам.  
И десять чистых рюмок водки  
идут ко мне походкой мюзик-холльной,  
дают хвататься за хрустальный стан  
и подносить к устам рукой невольной,  
паломницею ко святым местам.

Стучат отчеты и поют доклады,  
как длинные ручьи, где мертвая вода.  
Хромые боги всеземной Эллады  
протягивают в уши провода.

Я жил в обнимочку с душой-дикаркой,  
но смылась стервочка в какой-то институт.  
Ты, ворон-телефон, сиди и каркай  
про страсти там и про мордасти тут!

Пес человеческий, а все-таки не лаю  
и не скулю. Я всех собак добрей!  
Поехать, что ли, в гости к Менелаю  
иль Одиссея встретить у дверей?

Я, слава Богу, был великий недоумок  
и жил, за косы душу теребя.  
Но заплясал во мне десяток нежных рюмок,  
и я заржал, как жеребя...  
Как сапоги, в четыре четких стука  
в мозги вошла великая наука.  
Меня не стало: я познал себя...

*7 мая 1973*

\* \* \*

Хлопья чаек летают над Мойкой всё тише,  
как белая копоть,  
и вдруг начинают резвей ребятишек  
в крылышки хлопать.

И в воздухе, словно в повиснувшем зале,  
восторга обрывки,  
как будто спектакль им такой показали,  
что не до рыбки.

И вправду, вода здесь одета в камень,  
в железо – деревья,  
и вечер сегодня не знает затмения,  
ни красок пригревья.

На бледность прозрачную пущены краски,  
на зыбкие горы,  
и, как напрокат из художничьей сказки,  
взяты просторы.

У чаек в глазах нарастают и тают  
громады покоя.  
И кажется – камни и те рассветают.  
Где ж видишь такое?

А город единым в Исакьевском теле  
стоит исполином,  
и Мойка валяется в твердой постели  
в пуху тополином.

*22 июня 1973*

\* \* \*

В голове муть,  
эта муть – суть.  
Так не обессудь,  
что в крови ртуть.

На спине груз,  
это – груз Муз.  
Сам себе я врусь,  
пополам рвусь.

Я – своя часть,  
эта часть – касть.  
И в какую пасть  
суждено пасть?

И орет рот,  
этот рот врет.  
Всё невпроворот,  
и нельзя вброд.

Есть у рек рок,  
этот рок – срок  
перейти порог.  
А какой прок?

*26 июня 1973*

\* \* \*

Муза, Муза! Я ведь старый.  
Ну а если бес в ребро?  
Что ж! Тогда с нутром, как с тарой,  
забирай мое добро!

Знаю, знаю, что к добру-то  
не приводит груз такой.  
Грустно это всё, да брутто  
тяжелее, чем покой.

Ведь в душевной тишине-то –  
словно в сваренном говне!  
А не то возьми хоть нетто,  
чтобы легче стало мне!

Вскрой меня, как просто ящик,  
воженный по городам.  
Сколько слезок настоящих  
даром я тебе продам!

Но меня – прошу как Музу –  
не считай за торгаша.  
Сам себе я стал в обузу,  
с жиру бесится душа.

*28 июня 1973*

## **ВПОЛСЕБЯ фуга**

Я вполсебя живу. И оттого лишь,  
что стакнулся с тобою неспроста.  
А впрочем, знать меня ты вовсе не изволишь!  
Ведь ты усталая, как суета,  
и где-то номера как топором ты колешь,  
моя поломанная маята!

Но, слава Богу, я еще не умер!  
Хотя уже – пес весть – с каких-то пор  
не сам ли я себя попасть и надоумил,  
как на убой, под твой тупой топор?

Живу я вполсебя, в жару, хотя и тленно,  
как и любая вещь, имеющая плоть.  
Но я среди вещей – сучкастое полено,  
которое тебе не расколоть.  
И, слава Богу, я еще не помер  
и, как чурбан, стою в упор.  
И попусту откалывает номер  
с дубовой чуркой твой тупой топор.

А хочешь, лягу плашмя, самоплахой,  
во весь и смех и плач моих широт и длин,  
как маленький и куцый исполин?  
И сколько обухом по мне ни ахай  
и как ты ни вгоняй проклятый клин,  
не расколуюсь я на две половины,  
на две несчастные сухие части,  
а только сделаюсь еще сучкастей!  
Пусть у судьбы из горловины,  
как бы из пьяной судорожной пасти,  
неукротимой рвотой хлещут касти,  
и пакости, и липкие напасти!

А хочешь, повалюсь под стать кряжу  
корнями в воздух? (Пусть подышат корни!)  
А хочешь, в облако тебя я обряжу  
и буду на тебя смотреть еще укорней?  
Иль в тучу серую! (Не жди от ней дождинок!)  
Холодная пора. Какой там град да гром!

Живу я вполсебя, как поединок  
дубовой плахи с царским топором.

Перед тобой валяюсь я ничком,  
но похваляюсь всё равно,  
что каждым (из себя!) в твоём глазу сучком  
торчу я, как бессмертное бревно.

И вправду стал совсем под стать бревну я,  
ревнуя о тебе, тебя ревнуя,  
а внутрь к тебе вовек не загляну.  
И, повторяя, грешный: «Ревность, древность,  
усталость, старость, тленность, бренность», –  
я всё равно тебя не закляну.

Да кто же ты? И где? В каком расколе?  
Топор, и колокол, и кол загробной тени!  
В моем помине ты меня помене  
и более себя в моей могильной боли.

Да кто же ты? Смерть мажет салом пятки,  
и я тебя целую за глаза.  
И, как на сцене, на седьмом десятке  
иду ва-банк с крапленого туза.  
Но вскоре, может быть, себе, как пес, подвою?  
Или заржу, как жеребья?  
Придешься ли к бревну, подобная подвою?  
А может быть, свой век устрою и удвою  
тем, что живу я вполсебя?

*5–17 июля 1973*

\* \* \*

На Московском ходит Вася.  
Звезды на небе густы.  
Парк Победы, раздавайся,  
раздвигай свои кусты!

Страсти некуда деваться,  
страсть ворчлива, как свекровь.  
Томка – добрая деваха,  
может выдержать любовь.

Ну а как пойдут потомки?  
Ведь в потемках не видать.  
И проходит страх по Томке,  
как большая благодать.

Темный час нам – тень от вальса,  
а объятья так просты!  
Парк Победы, раздавайся!  
Раскорячивай кусты!

*14 июля 1973*

\* \* \*

Голос твой карабкался по трубке,  
как зверек в забытое дупло,  
в ухо мне, где все-таки тепло.  
Все пять чувств вдруг стали как отрубки  
пятерни, налегшей тяжело  
пятилетием последним жизни  
на мою упрямую судьбу.  
Прямо хоть по роже дербалызни  
или по семи пядям во лбу  
самому себе за эту долю,  
только удели ты мне ее!  
Я тебя чем хочешь изневолю.  
Я тебе дупло, но и жильё.  
Я тебе одежка и обутка,  
будь ты даже раскняжна!  
Кто ж ты, белка или незабудка?  
Отчего ты и без ласк нежна?  
Отчего же малость ты такая,  
что хочу тебя я в горсть собрать,  
что, судьбе упрямо потакая,  
я готов себя на клочья драть?

Варварка! Нагрень скорей дикаркой,  
потихонечку любя.  
Будь что будет! Только мне накаркай  
самое себя!

*1 августа 1973*

## **Я В ИГРЕ шахматная фуга**

Я сам себе грызня и грозная игра,  
где каждый Божий год – что гром из-за бугра.  
А я poleg доской, составленной из клеток  
(но отчего-то в шестьдесят два поля).  
И вот моя желательница Воля,  
мой молодой гуляющий однолеток,  
которого волочит в поле воля  
(не торопись! Уедешь на ноле так!),  
с размаху ходит, как удар багра  
в утопленника или во бревно.  
От бренности ей это всё равно,  
когда ходить ее черед,  
когда она коня берет  
(как он – игривую кобылу).  
Ах, эта Воля! С жару с пылу  
(и вечно сзади наперед)!  
Она живет с покорной жалкой жертвой,  
готовая пожертвовать еще.  
А разный разум, вечный маловер твой,  
глядит сумнительно тебе через плечо.

Игра – как музыка, где на последней ноте  
финал висит, как на притинной нити.  
Пойду погромно. Нет уж, извините!  
Вы в пустоте гремите и звените.  
И застываю я, мечась в цейтноте,  
как солнце: и в затменьи, и в зените.



Доска моя, печальная клетчатка,  
материя божественной игры  
с потерями от самого начатка,  
по первопутку до крутой поры!

Ох, Воля! Воленька! Ты мне такая внука,  
которая что хочет, то творит,  
меня переставляя: «Ну-ка!  
Сходи хоть на горшочек!» – говорит.  
Такой горшочек, ежели он с руки,  
не горше, нежли обжигать горшки.  
Хоть на вершочек, а вперед шагай-ка!  
Шугай же годы, как глухих ворон!  
Хожу и жертвую – и никакая гайка!  
И недосуг мне вычислить урон.  
А всё лишь оттого, что я – всегдашний.  
Но и всегдашнему фигурки дьяволят  
играть, как в шашки, в козни, в басни, в шашни,  
а также в свои козыри велят.

Надулся я тузом в игорном зале,  
ворчу, как самого себя толмач.  
Но Боже упаси, чтобы сказали,  
что гол я, как футбол, что я в игре как мяч!  
Пусть лучше буду хилый покеришко  
(как рикша, повезу себя же самого)!  
На выигрыше ставлю я херишко.  
А впрочем, ведь и мне не будет лишка  
урвать из банка ближнего рублишко,  
когда дела не очень-то того,  
когда беда иль нелады с квартирой.  
Ах, эти в шахматах и в картах короли!  
Играй ва-банк! Мечи! Шахуй! Понтируй!  
И гни наудалую пароли!

И, самому себе дерзя,  
я всё хочу пожертвовать ферзя,

как грош на погорелый храм Господень.  
Игра стучит костяшками день о день,  
и я мечу себя, как зернь.

Игра и Воля! Лозунги, пароли!  
И я готов играть самодержавья чернь  
(за то, что мало лозами пороли!).  
В любой игре найдется мне по роли,  
а дылда Герман с заднего двора  
завоет яростно: «Что наша жизнь? Игра!»

Игра – как музыка. Смертельная палестра!  
А игроки – навек ученики.  
И время залегло, как пауза оркестра,  
в медвежьей раковине, у слепой реки.

Играю в жизнь, швырнув себя, как ставку,  
как пешку на съедение слону,  
и, вдавшись к бешеным фигурам в давку,  
своею Воленькой углы я гну.

Ох, широки вы, шестьдесят два поля!  
Как дураки просторные... Игра и Воля!  
Он скачет к личности, мой всенародный клич,  
пока по всей доске кулак, как паралич,  
не стукнет и фигурки кверху брюхом  
не рухнут – руки вверх – подобно рюхам.

Какая смерть светает на дворе?  
Какая жизнь смеркается за слухом?  
И говорю я девушкам-горюхам:  
«Игра – как музыка. И я еще в игре».

*1–7 сентября 1973*

\* \* \*

Всю себя как в гроб ховая,  
ты – что дата без числа.  
Нам навстречу Моховая  
не приходит – заросла!

Словно призрак перевозданный,  
ты исчезла – хвост трубой.  
Но ей-богу, на Расстанной  
снова встретимся с тобой.

И ты будешь шелкова,  
покладиста, гладенька  
(будешь ведь? ладненько?)  
у кладбища Волкова.

*2 сентября 1973*

\* \* \*

На притине стынешь ты за тыном,  
у Кашея в мудром терему.  
Как же в существе моем пустынном  
я тебя привечу и приму?  
Неужели прятаться в кусты нам,  
как в лесную заячью дрему?

О тебе молюсь я, как о чуде,  
о дремучей яви из добра,  
купно с бедным бесом из ребра  
повторяю: «Буди, буди, буди».  
Пусть дубами громовыми люди  
хохотать начнут на нас с утра.

Буди ты мне утренней побудкой,  
распахни на волю ночь-намет.

Буди мне глазастой незабудкой  
с волосами цветом точно мед.

Виснет он на каждой волосине,  
дух медвяный, пряный, светло-синий,  
и среди мертвецкой пустоты  
ты с повадкой детской – просто ты.

Дай же я хоть каплю меду выпью  
вопреки тоске моей седой.  
Только не рассыпья звездной сыпью,  
не подуй падучею звездой.

Неужель о двух концах мы палка  
и свои побои я приму  
не с тобою, бедная русалка,  
у Кашея в мудром терему?

*7 сентября 1973*

\* \* \*

Как прежде, стала мне никто ты.  
А что же было? Черта с два!  
И мы друг другу – анекдоты,  
два небывалых божества.

Один – болван, другая – идол.  
Как завидно визави!  
И я себя утрате придал,  
как сдачу с преданной любви.

И если явишься еще ты  
в обличьи дружеской ленцы,  
то не сведем с тобою счеты,  
а только отдадим концы.

*15 сентября 1973*

## МОРЕ

### ГИМН

Море! Mare! Θαλαττα!  
Извивы и переливы.  
Море цвета салата!  
Море цвета сливы!  
Или, как сливки, густое,  
или, как небо, пустое.  
Белое, черное, желтое, красное.  
Как бог, единое и разное.  
Бурно оно и бездонно,  
как седая борода Посейдона.  
А вообще-то говоря,  
все эти разные моря –  
сияющая то сия, то та  
взволнованная пустота.  
Море, Mare, Θαλαττα,  
огромной воды палата,  
то, как окно, прозрачная,  
то, как бровищи, мрачная,  
то, как простор, в окладе  
из глянцевиной глади.

Море – как музыка.  
Оно волнуется.  
Оно волнует.  
Море наваливает  
водой и пространством,  
вздымая чувства  
на самом гребне.

Море – как музыка.  
Расчувствовавшаяся пустыня,  
а не мирная пустынь,  
не прибежище

и не пристань,  
а просторное торжище,  
где торгуют соленым ветром,  
занудным зноем,  
брызгами,  
скоростью,  
ожиданием, скукой,  
жизнью и смертью.

А вообще-то говоря,  
бывают разные моря.  
Море! Mare! Θαλαττα!  
Sea! Shi Hav! Tengiz!  
Вы! Неумные выкрики,  
меняющиеся имена.  
В море потонет время.  
Вода обоймет, как воздух.  
О, прогулки в лесу латинарий  
и пляски на рыбьих пастбищах.  
И люди будут  
как утопленники,  
чтобы продолжить жизнь,  
которая кончится  
не в так называемом космосе,  
а в плотной массе моря.

*17 сентября 1973*

\* \* \*

Вянет лист. Проходит лето.

*К. Прутков*

В просторе кратком огорода  
сидит на корточках природа,  
листочки из земли вытаскивает,  
в воде небесной ополаскивает.

Таков устав, таков статут,  
и очень много роста тут.

Листья ломки, как галета.  
Иней сел на грани призм.  
Вянут дни. Проходит лето.  
Увядает организм.

К былому я себя ревную  
и в рощу бегаю грибную.  
В стыдливых капельках росы новички,  
повысунулись подосиновички.  
Но каждый склизок, как сморчок,  
а уж на что похож – молчок.

Ширь какая на земле-то!  
Недалёко коммунизм.  
Киснут дни. И сгнило лето.  
Вянет, вянет организм!

*24 сентября 1973*

\* \* \*

Куда с тобою денусь, Боже мой  
(а ключ разгадки не на дно ль?),  
с тобою, как с судьбою, множимой,  
быть может, мною же на ноль?

Так либо в морось, либо наново я  
такие выращу стихи,  
чтобы, как поросли банановые,  
повисли в слухе лопухи

и стали целый мир подслушивать,  
а ты вполголоса мое

озеленение подсушивать,  
как и себя же самое.

И слух, и взор, и ты – как призраки,  
и лишь любовь – как амулет.  
И от тебя доходят признаки  
сквозь скошенную призму лет.

И Музою при крике петела  
ты сгнула, и тем верней,  
как арифметика, пометила  
меня с макушки до корней.

Недуг заразный причитания?  
Но он целителен, дабы  
спастись за резкость вычитания  
тебя из жизни – как судьбы.

*Ночь с 1 на 2 октября 1973*

## **Я ИЛЬ НЕ Я? фуга**

### **I**

Я иль не Я? Вот мой вопрос, и Гамлет  
идет, как лысый ворон, в уголок,  
а разумом по-человечьи храмлет,  
себя с ноги спуская, как чулок;  
из жизни теребя кровавый клок,  
жуёт и, не прожевывая, мямлит  
гнусавые, как смерть, слова, слова, слова!  
– Ах, государыня, дурная голова!  
Ты, словно гузно на внебрачном ложе,  
вкушаешь страсти по евангелистам

всё судорожнее и всё моложе.  
А я валяюсь томом многолистым,  
привязанным, как пес, к родимому заглавью.  
Я иль не Я? И вот вожу пером,  
как сломанной ногой, умом и наг и хром,  
и оборачиваюсь я по-волчьи явью  
к себе, как задом. Или же нутром?  
Хромая разумом, как человек Паскалев,  
шагаю в бой, как однолицый полк,  
и, зубы шаткие над падалью поскалив,  
сизу да вою, будто куцый волк.  
А мой вопрос хрипит, как горло в стужу,  
а мой вопрос торчит, что кость из глотки,  
и сам изглодан я. И из себя наружу  
не вылезть мне, как из колодки,  
куда заключена моя  
хромая, сгорбленная, как Яга,  
с коленом лысым голая нога,  
такая умная, такая костяная,  
что усмехаюсь я, исподтишка стеная,  
и отвечаю: это, знамо, я.

## II

Ох ты! Всечеловеческое знамо!  
Ты знамя беспросветного ума.  
Как пауза, орет разинутая яма,  
и Гамлет движется, как сам себе тюрьма,  
как распадающаяся темница,  
и тела черствые и нищие куски  
и косточки обглоданной тоски  
в суме, в сумятице друг другу так близки,  
что всё живое как в пролете мнится –  
в готическом просвете на дворе,  
а смерть уже светлеет на заре,  
по краешку зари крадется, словно память.

А двор – как мир ночной в зияющей дыре,  
и призраками в черном серебре  
его успела жизнь моя захламить.  
И Гамлет руку жмет безжалостно и жалко.  
По воздуху пускается в бега  
увенчанная черепом нога.  
А нежность, как прозрачная русалка,  
из омута цветочного плывет.  
Луна растаяла. Офелия живет.  
И на годах мне ворожит гадалка,  
и травы сохлыми глазами ворошит,  
и волчьи зубы беспощадно шерит.  
И пережит я, словно перешит,  
и налит ум змеиным ядом в череп.  
В короне балаганится король.  
А мой вопрос торчит гвоздем наружу.  
И через силу я играю роль,  
но слов заученных ничем я не нарушу.

## III

И Гамлет движется, как Тени тень  
(за пазухой какой-то тенькнул птенчик).  
И прыгает шутком измученный Монтень,  
а философия повисла, как бубенчик  
на конусе бумажном колпака,  
и старческого трепака  
отплясывает батюшка Полоний.  
Я иль не Я? И всё всегда *пока*.  
И тает полночь, и любовь – в полоне.  
Хочет замок, взявшись за бока,  
прошелся месяц по железной каске...  
А тьма прядет неласковые сказки,  
и скачет на ноге Яга без посошка.  
А время – колесом, столетия – вприпрыжку,  
и вечность – словно череп на колу.

И чувствую вопрос, как адову отрыжку.  
А горло – пекло. К черту в кабалу  
пошли пешком, как Божье стадо, чувства,  
не стало им ни жизни, ни жилья.  
А бытие стоит, как Богово искусство,  
с вопросом поперек: «Не Я иль Я?»

7–12 октября 1973 – 3 марта 1974

### НЕКОЕМУ ПОЭТУ

Aime une nue, aime une femme,  
Mais aime! – C'est l'essentiel!

*Th. Gautier\**

Когда строку диктует чувство...

*Б. Пастернак*

Когда строку тебе диктует чувство,  
а страсть кипучею гадюкой поползла,  
то ты еще то яблоко искусства,  
в котором полдобра, ползла.

Ты еще завязь или кислый плод,  
где семени нет и в помине,  
и вся твоя надежда и оплот  
заклочены, как в бане, в витамине.

Когда же ты на спицах вяжешь строчку,  
то кружева, подобные мечте,  
пойдут на крохотную оторочку  
великой деревянной пустоте.

---

\* Влюбляйся в женщин или в тучи, / Но полюби их! – Вот в чем суть! *Т. Готье* (Перевод *С. Петрова*.)

Искусство – это бытие за гробом,  
туманный дол, река черней чем деготь,  
и жертва на потребу всем утробам –  
как трудный труп и вросший в мясо коготь.

Искусство – это тертый грош Харона.  
Загробным паром движется паром,  
и в немоте орет не ворон, а ворона.  
И надо быть великим топором,  
и отрубить кусок себя, и шмякать  
крававую парную мякоть,  
как мировой мясник, на худенький прилавок,  
чтобы, как тысячи булавок,  
в нее вонзались враз глаза хозяек.  
А ты, дружок, покуда что прозаик.

И страх тебя берет, как бы не просвистело  
нехитрое ехидное «хи-хи».  
Влюбляйся в музыку, как в женщину без тела,  
и чувствуй человека, как стихи!

12 октября 1973

\* \* \*

Неправду говорят, что зеркало правдиво.  
В нем, как в отстойнике, едва течет вода.  
Живи без зеркала, и станут скоро в диво  
текущие из глаз далекие года.

И так ведь в омуте кривом житья-бытья мы  
плывем навзрыд, забыв о милых пустяках.  
Живи без зеркала, без этой светлой ямы!  
Глядись в прозрачный день, держа его в руках.

А зеркала – моря! В них стужа. Корабли же  
в них неуклюжи и недвижны, словно пень.  
Живи без зеркала! Держись за то, что ближе,  
и не жалей, когда лежит в осколках день!

31 октября 1973

## ДИКАРЬ

Я жадно одержим неотторжимой верой  
и взят в зажим, как жар и дрожь хватает тьма.  
От счастья щерюсь я взъерошенной пещерой.  
Аукаюсь с собой, а лес, как время, – серый,  
и стучаюсь о лоб лохматого холма.

И нищая расщелина ума  
светает, как расчет без действия и чисел.  
Светает, словно смерть. А смерть – великий грех.  
И маленькую жизнь когтями я очистил,  
как незрелый земляной орех.

И в умственную я гляжу прорешку,  
как прикасается последний зуб к орешку.  
И, словно зверь в кустах, природа замерла.

Но как забуду я про решку  
и про каленого орла?

Каленье поколения калечит.  
Толченая вода в ручьях навзрыд течет.  
Но как забуду я про одинокий нечет  
и про четверорукий чет?

А не считаю! Ибо числа строги.  
А не считаю! Ибо аз есмь скот.

И корни, сучья, лапы и отроги  
ко мне протягивает мой дремучий год.  
И я лежу, как злобный зуб на полке.  
Вдали белеет мне не седина, не мел.  
И голоса бегут, как маленькие волки,  
а я оскалился и онемел.

Куда ж они сбежали, голоса-то?  
Звериные предлоги *перед* и *за*!  
Какая духота! Пространство волосато,  
как тело, где лишь чрево да глаза.

Я жадно одержим неотторжимой верой.  
Лежит вполжизни серым камнем гром.  
И щедро я зажат бесчестною пещерой,  
как жар державный яростным нутром.

7 ноября 1973

## СТАРЫЙ ГОРОД

Осенний полдень дымчато-хрустален,  
и счастье за углом в полуверсте.  
Трепещет, как пятнистый парус, Таллинн,  
и камни стали словно на холсте.

И улочки укромные, как тропки,  
бегут через бульжные сады.  
А над садами белые коробки  
воздвиглись, как квадратные зады.

Иль мне сдается сдуру, остолопу,  
что вышеградский я собор, ей-ей?  
И вот гляжу на зодческую жопу  
во все унылых двадцать этажей.

А в Кадриорге небо так ветвисто,  
что в клочья раздирает синеву.  
И грустно зеленеет Олевисте,  
как моховая древность наяву.

И я – как старый город, и пока мне  
еще не отряхнуться от судьбы.  
Я в старом Таллинне хожу по камни,  
как ходят в бор по крепкие грибы.

*12 ноября 1973*

\* \* \*

Когда бы годы смог сволочь я,  
как лошадь сани по песку,  
тебя я изодрал бы в клочья,  
как лихостройную тоску,

чтобы потом кусок к куску  
мне подбирать, как узорочье.  
И вновь бы рвал за ночью ночь я  
по ниточке, по волоску.

И были бы мы душегубы  
чужой тоски в своем уме.  
Я растворял бы в жидкой тьме  
и пил твои густые губы  
и, как надгробная доска,  
ласкал тебя до волоска.

*26 ноября 1973*

\* \* \*

Твои две груди – как смиренные колени,  
а страсть, как мясо, ветер раскромсал.  
Но я пишу тебе, как некогда Елене  
писал задумчивый Ронсар.

Но ты не хочешь пить из жизни понемногу  
и чуда ждешь от каждого глотка,  
и мы с тобой идем бок о бок, да не в ногу,  
пустив удачу с молотка.

Чуланчик темный чувств недолго и захламить,  
и будет житья лишь самой себе назло.  
Судьбу, как самое себя, переупрямить –  
великое, быть может, ремесло.

И я к тебе войду в стареющую память,  
как то, что близилось и не дошло.

*29 ноября 1973*

\* \* \*

Зря говоришь, что я не прожит.  
Я стал себе гермафродит:  
ум изнасиловать не может,  
душе ребят не породит.

И о девической приязни  
ты просто бестолку тростишь.  
Знай, что, споткнувшись на соблазне,  
меня потом ты не простишь.

Я бог любви, одетый схимой,  
но я не стою и плевка.



Не лучше ль быть по гроб любимой  
исподтишка, издалека?

Тебя, задумчиво-шалъную,  
держу, как пустоту, в горсти,  
и всё равно тебя ревную.  
Люби за ревность и прости!

Любовь – всегда неосторожность,  
годами исчисляет дни.  
Люби меня за невозможность  
и над могилою всплакни.

*4 декабря 1973*

\* \* \*

Я голой памятью сижу в своем уме,  
как в банной кадке, поддавая пару,  
и смерти говорю, как медленной куме:  
«С тобой не стану париться на пару.

Но чист к тебе приду я, как евангелист.  
Ты мне в диковинку, но и в досаду.  
Так что ж пристала ты, как банный лист,  
к склонившемуся над судьбою заду?»

И каждый день живет без долга и без денег,  
а тело – переметная сума,  
и сад в окне торчит, растрепанный как веник,  
и, как закат, горит румяная кума.

И только кислый квас еще остался в жбане,  
а каждый поцелуй – подобие глотка.  
И всё же парюсь я с кумой в предсмертной бане,  
и капли – как на гроб удары молотка.

*7 декабря 1973*

## ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

Благоволение? Желание добра?  
Когда любой из глаз – зловонная дыра?  
Бездонная! Ну нет, на дне любой из впадин  
я вижу: Вечный Жид до жизни смертно жаден.  
Таскает Дед Мороз подарочный мешок,  
а елочка в руке – как пышный посошок.  
Глаза наведены, как пушки для салюта,  
снег кучами валит дешевле серебра,  
и звезды сыплются – стеклянная валюта,  
и фейерверк из глаз взлетает люто.  
Благоволение? Желание добра?  
Мир по пояс стоит в миру и в мире,  
как ель в сугробе. Душно в декабре,  
не думается что-то о добре.  
И пестрый клич размазан на трактире:  
«Ура! Свобода, равенство и братство».  
Святая Троица! Ну а внутри  
кричат не раз, не два, не три  
под самым носом у больной зари:  
уродство, шкода, казнокрадство,  
зуботочение, ехидство и злорадство,  
и громче всех: «А, черт тебя дери!»  
Горит вино, со зла синееет нос,  
и всех багровый Дед Мороз  
дерет как сидорову козу.  
И тут уж, Господи, указу нет морозу.  
И рубит стужа крепче топора.  
Благоволение? Желание добра?  
Молчит в лесу насытый хор зверей,  
и свечки обгорают по привычке.  
Синеет мальчик у больших дверей,  
и девочка всё зажигает спички.  
Засоня, Господи, еси, а не хозяин,  
не видишь на своем дворе окраин

и мажешь миром по губам,  
закатывая в мире доннер-веттер.  
А сам поешь: «О, Tannenbaum,  
Wie grün sind deine Blätter!»  
Скажи-ка, что это? Нужда? Юдоль? Игра?  
Benevolentio? Желание добра?  
Я сторож твой и дворник, Дед Мороз,  
и вырос из сугроба, как вопрос.  
Передо мной лежит природа, что колода.  
И где тут, прости Господи, свобода,  
когда и жид, и русский, и немчин  
ступить не могут шагу без причин?  
А равенство? Не явно ли давно,  
что может быть одно говно  
и то лишь самому себе равно?  
А братство? Или ты забыл, хозяин,  
как братца уколошил Каин,  
как громынула среди райска дня  
завистливая братня головня?  
Нет, братство – каинство и окаянство,  
а я тебе нимало не Боян,  
не вещь и мороком великим обуян,  
я вижу зиму как большое пьянство,  
и сам ты, Боже, расписной буян.  
А я? Я Дед Мороз. Но к стуже я привыкну.  
А ты, покуда жив, ступай отсель.  
Не то тебя, лихую сатану,  
я по сусалам садану,  
не то тебя я так, пропойцу, чекалдыкну,  
что сляжешь в гроб, как в чертову постель.  
.....  
Стоит одна, как перст, рождественская ель.

*Ночь с 24 на 25 декабря 1973*

\* \* \*

В снежных сумерках полудня  
уличная беготня.  
Ах ты пакость, ах ты блудня,  
уписала полменя!

А когда – и не заметил.  
Ночью, утром? Вот так раз!  
Ну а взгляд твой детски светел  
и ресницы без прикрас.

Хочешь, так со смеху прыскай!  
Что же киснуть мне, когда  
о меня ты, киска-киской,  
так и трешься без стыда?

Съела, а остатки сладки.  
Только больше не греши!  
Ведь лежит еще в остатке,  
как полтуши, полдуши.

*25 декабря 1973*

\* \* \*

Ах ты, тара пустая!  
Ах, лобастый чурбан!  
Здесь гитара густая,  
постоянный баян.

Освежение духа  
всем, кто здесь побывал.  
Голубая пивнуха,  
три ступеньки в подвал.

Ну чего забоялся?  
Всё по-чистому. Глянь!  
Кружки тут из фаянса  
наливаются всклянь.

Не кончается фраза  
о жестокой любви.  
Заходи же, зараза,  
и меня позови!

Друг заветный и старый,  
мы отколем роман,  
как с залетой-гитарой  
тянет жилы баян.

Нас сам дым заколышет,  
завертит колесо,  
а потом нас напишет  
господин Пикассо.

*26 декабря 1973*

1974

## НОВОГОДНЯЯ ФУГА

Я под боком живу у новогодья,  
не то задумчиво, не то навеселе,  
и все солено-горькие угодья,  
как скатерть-самобранка, на столе  
разостланы. И пробки из бутылок  
не выбивает старая судьба.  
Сижу спиной к былому, а в затылок  
бабахает безмолвная пальба.  
И пробираюсь я сквозь дебри января –  
седые ледяные громоздины.  
И кажется, что стал я пьян, варя  
во ржавом котелке мыслительные льдины.

Природа восстает со сна, как древле ода,  
а скатерть-самобранка – на столе  
и стелется всё дальше год от года,  
и перебранка сыплет по земле  
метелицей. И телятся коровы –  
галактики в божественном хлеву.  
Вопросы, как послед, сизо-багровы,  
и как-то боком я еще живу.  
Пусть боком, но зато и избоченясь.  
Стучу и падаю – ну что из бочки гром!  
Еще живу, что квас шипучий, еле пенясь,  
и, из последней мочи ерепенясь,  
я боком выхожу, и оком, и нутром.

*1 января 1974*

## СОРОК ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Лазурь черна...

*О. Мандельштам*

Жизнь – костлявая катастрофа.  
Лодкой плавает в глине гроб.  
Словно вспученная Голгофа,  
чуть не лопнул от муки лоб.

И лазурь в замогильном воске –  
как захлопнутая веком ширь.  
И вздувается на повозке –  
на последней – булыжный пузырь.

Был рунист и жирел, как валух.  
А экран был – как ранка к ранке.  
Жизнь, заверченная на штурвалах,  
колесованная на баранке.

Распят был на себе, как Бог,  
молодец посреди богородиц.  
О буддический скоморох,  
изнасилованный юродец!

Во взошедший над веком лбище,  
как в огромную полусферу,  
когтем вписывала судьбища  
и отчаяние, и веру.

Как малиновый куст, кипел  
шут атласный в багровой рясе  
и кровавые сгустки пел,  
уходя навек восвояси,

в три пространства, как бес, свища,  
вдоль по осени порябелой.

Мозгу ярого был свеча,  
только мозг был белый-пребелый.

*8 января 1974*

## ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ

Когда нисходит с неба полузной,  
а травы чахлые ползут хворобой,  
возносишься отвесной прямизной,  
отесанной наотмашь белизной  
и четырехугольную утробой.

Черствеет у воды сухой песок,  
как пень молитвенный, чернеет бабка,  
а полдень грузен и, как ты, высок,  
и купола – три крепкие обабка –  
стоят друг с дружкой наискосок.

*25 января 1974*

### КУДА? фуга и вальс

Куда деваться от неполноты  
и мокреди сердечной февраля?  
Я сам с погодой перепал. Но ты  
послушай всё же грустного вряля!

В конурке весенней  
собака на сене  
не спит, и не пьет, и не ест.  
Живу не по году:  
любую погоду –  
в обход, и в обег, и в объезд.

Послушай, душенька! Тебе радея  
нутром огромным, как слепым умом,  
с пути сбиваюсь я в себе самом.  
Печального послушай прохиндея!  
Живу в глухом году, всё в том же, где я  
тебе немилый мим и мощный мом.  
На ниточке пляшу я над дерьмом.  
Идешь как снег ты над моим письмом.  
И ты мне где-то в далеке немом  
нежнее каватины Берендея.  
Послушай! Говорю упрямо я.  
Снегурочка! В плакучей бороде я  
барахтаюсь, собою не владея.  
А ты – последняя заря моя.

А годы годятся  
на то, что плодятся  
собачьи отжитые дни.  
И песенки песьи  
в их простоволосьи  
могильному вальсу сродни.

О Господи, как время моросит!  
А я лежу неутоленной силой.  
Над голой заостренной осиною  
заря прозрачной тряпочкой висит.  
Но всё еще ни глаз, ни рот не сыт,  
и хоровод, как воздух, пахнет псиной.  
А снег крупитчатый – какою кашей  
он станет нам на заунывный ужин!  
А ты всё уже! И судьбине нашей  
я стал теперь до ужаса не нужен.  
И сяду я к огню с укромною Агашей,  
с Агнушей иль с примкнувшей Нюшей.  
Пес побери! Снегурочка! Послушай!  
Что если буду как Лутоня с Лушей?

Послушай, как топчут по земле  
собачьи хороводы в феврале!  
А ты идешь как снег, и сыплют хлопья,  
и воля Божья – как судьба холопья.

Шитьем пустот  
ты занята,  
порвав все нитки в прежнем.  
И я не тот,  
и ты – не та.  
Друг другу мы еле брезжим.  
А простота  
легла и спит,  
привыкшая к потерям.  
Ты испита  
и я испит.  
Скрипит твой высокий терем.

Снегурочка! Черны, как угли, сучья,  
и жизнь, как тяжесть, вылезла из гирь.  
Снегулочка! Несется свадьба сучья,  
и расщеперилась звезда паучья,  
но я, поверь, ей-богу, не Мизгирь.  
Нет больше ни туза, ни короля,  
ни козыришка не осталось даже!  
Не слушай заунывного вряля,  
ведь я всё тот же, да и ты всё та же.  
Не сбрендил я и жизнь опережу  
тем, что себя тобой разбережу.  
Я – Берендей, от древней силы слабый,  
до счастья я хотел дойти пешком.  
Снегурочка, ну стань хоть снежной бабой!  
Снегуленька, ну кинь в меня снежком!

Чу! Загуляла улочка  
жарко, жадно и жалко.

Ты ли это, Снегулочка,  
или опять русалка?  
А жизнь – прожженная прокуда,  
и не беда, что ты худа,  
что ты, как дырка, ниоткуда.  
Да только мне с тобой куда?

*7–8 февраля 1974*

\* \* \*

*Хлеб наш насущный даждь нам днесь.*

Умерла, но живая.  
Кофейку попила?  
Но тоска ножевая –  
как ножовка-пила.

Что же мы наживали?  
Неужели тряпье?  
Пусть и так! Но жевали  
каждый горе свое.

От любви засветленной  
(было так! не скрывай!),  
от любви разделенной,  
как ножом каравай.

И всходила опара  
в тихой полночи той.  
Но не сделалась пара  
никакою четой.

Неужель обнажали  
тело-душу с тобой,  
чтобы черти нажали  
всей судьбою рябой?

Чтобы черти нажали?  
Или мелконький бес?  
Только жаль не ножа ли,  
что он в жизнь позарез?

Подала оплеуху,  
как подобье ломтя,  
чтоб нечистому духу  
помолиться за тя.

*12 февраля 1974*

## СЛУШАЯ СОНАТУ

Играешь в жизнь, не глядя в ноты.  
Бежит соната наизусть.  
Хохочет трель. Но всё равно ты  
в игру подбрасываешь грусть.

И вот до грани безразличья  
доходит звук, как темный знак,  
и грохает тоска мужичья,  
как бы по клавишам кулак.

В сонате легкой канонада  
кому же может угождать?  
Того, что есть, не больно надо,  
а чего нет, так туго ждать!

И трет хомут, туга подпруга,  
скрипит телега без колес.  
И не выходишь ты из круга  
забот и звуков, дум и слез.

*12 февраля 1974*

## НАБРОСОК

Был летний праздник женски-жгуч.  
Он состоял из разных куч –  
из куч воды, песку и ягод,  
из тел, которые полягут  
на яви или на экране,  
как на полях любви и брани,  
из куч лесов, садов и парков,  
где ходит музыка, накаркав  
свиданий, танцев и подарков,  
из рядового вдохновенья  
и из домов отдохновенья.

И день бродил, как жирный барин,  
среди торжественных поварен.  
Увитый взглядами прыгун  
скакал, как бес, в большой чугуи,  
а мы по-грешничьи кишели  
в глистообразной вермишели.  
Нас поварешкою мешали,  
дабы мы праздник совершали.

От этих праздничных хлопот,  
как кот, по спинам ползал пот.

Один мужик, от пота ряб,  
стоял среди душистых баб,  
распахнутых, как ворота,  
от ручек и густого рта.  
И их, всецело безбородых,  
водили на желанный отдых  
и доводили до лесов,  
как водят на прогулку псов.  
А там уж этот летний праздник  
сам вел себя, как безобразник,

и, погоняя по задам,  
укладывал он в позы дам...

*13 февраля 1974*

## ВСЛЕД ЗА ПУШКИНЫМ

*И хладную душу терзает печаль.*

«Ебена мать – не то, что мать ебена».  
Какие чернокровные слова!  
Ебена мать! Гадай на Агафона,  
закрученная рыже голова!

Пространство – заостренное уступов,  
в любом углу и крышка, и конец.  
И на пол я сажусь, тебя ощупав,  
как стены в темном карцере слепец.

Но камень чем-то более податлив.  
Ебена мать! И камень позатих.  
Обоих нас, как волосы, распатлив,  
ты сразу одурачила троих.

Но силы нет, чтобы тебя нещадно,  
как стих поваленный, и грызть и мять,  
да так, чтоб ночь орала пренесчастно:  
«Ебена мать! Ебена мать!»

*17 февраля 1974*

\* \* \*

Errur si muove! Мысли вслед за ней  
вращаются, как бурные турбины,  
и реки нагружаются сильней,  
вывертывая бедные глубины.

Erpur si muove! В очи Галилея  
зверюги адские очки вотрут,  
пока, свободу детскую лелея,  
огромный ум играет в рабский труд.

И вести, будто голуби с луны,  
летят на черные квадраты пашен,  
и высятся, как тонкие слоны,  
плетеные скелеты телебашен.

И заслонясь галактикой бездомной,  
и позабыв совсем про сопромат,  
и руку занеся с ладьей, как с домной,  
Господь закатывает спертый мат.

*20 февраля 1974*

\* \* \*

Завари чайку черноокого,  
сядь, укутанная в романс!  
Будем жить мы вокруг да около,  
еле зная себя и нас.

Часик счастья есть в том, что прожито,  
но бывшее – как балаган.  
Вот какая петрушка! А рожи-то –  
как у муринов и цыган!

Вот какой балаган на Масляной!  
Память – ярмарка невзначай.  
И сижусь с тобой, как с напраслиной,  
и тихонько дую на чай.

Лысый черт мне теперь помянется  
да, быть может, черная шаль,

но ты добрая, как племянница,  
утишаешь и боль, и шаль.

Так и сядем вокруг да около  
и закроем час на замок.  
Завари чайку черноокого,  
сероглазый ты мой дымок!

*23 февраля 1974*

\* \* \*

Вода по улице летала,  
и каждый мелкий океанчик  
холодным ветром оплетало,  
и бушевал он, как стаканчик.

Какой-то дом стоял безуглый,  
как баба на озябшем блюде,  
и под водой рябой и круглой  
шагали жить густые люди.

Шаги висели, словно гири.  
(Сорвать их или прочь стряхнуть бы!)  
И в капле, будто в малом мире,  
переливались чьи-то судьбы.

И радуга, над крышей стоя,  
как виадук, на низ глядела  
и из порожнего в пустое  
переливалась то и дело.

*28 февраля 1974*



## ДОМ И ДОЖДЬ

Гром грохочет, как ведром.  
Дом продрог. Какой продром!  
Если будет дом простужен,  
ешь тогда холодный ужин!  
Ах, не лей же воду, дождь,  
ибо мы совсем не вождь,  
и толикой утолиться  
может тощая столица.  
Но другое дело дом.  
Встал к воде он передом,  
ибо он не рядовой,  
а вполне передовой.  
И, понятно, он стыдится,  
что боится простудиться.

Старый хрен Болван Болваныч  
обеспечил брюхо на ночь  
интеллектуальной пищей:  
он купил бумаги писчей.  
Правда, он не полиглот,  
но зато литероглот.  
На ночь он, подобно магу,  
садит буквы на бумагу –  
вырастает прямо в рот  
огород наоборот.  
Ест Болваныч эти буквы  
вместо репы, редьки, брюквы,  
вместо сладкого горошку  
вправду, а не понарошку.

Ну а дождик льет и льет,  
безыдейный идиёт.

*5 марта 1974*

## НЕЧТО ЖАММОВАТОЕ

Полусонный, что пижама,  
я лежал под сенью Жамма.  
Удивительный француз!  
Напустил в природу муз.

Был он не чета Ростану.  
Да и я ведь не отстану.  
Спозаранья нынче встав,  
побываю в трех местах.

Перво-наперво – в прихожей,  
палку взяв, как странник Божий,  
и от городских хором  
поплетусь своим двором.

Со двора же путь направлю  
к славну городу Муравлю.  
За нарядец щегольской  
прозван он Муравль Польской.

Ветер, ветер-тиховейник,  
покажи мне муравейник,  
где живут и лапки трут  
мирный мир и трудный труд.

Не ведет акрополь хвойный  
против кромов прочих войны.  
Каждый Божий муравей –  
парень трудовых кровей.

Посреди своих хвоинок  
он, трудяга, – право, иннок  
и натащит столько в закрое,  
что не увезти фиакром.

А когда под осень опаль  
призакроет сей акрополь,  
чернецы, одеты сном,  
спят в безмолвии лесном.

В трех местах я побывал,  
комаров напобывал  
очень даже просто, яко  
превеликий я вояка.

Всё во мне смешалось шало,  
всем нутро мое дышало.  
Отдал я поклон ежам,  
ибо сам себе я Жамм.

*6 марта 1974*

\* \* \*

Зачем, как с похмелья, смутьянится  
и куда рук приложить?  
И долго ли, сладкая пьяница,  
ты будешь лежать и блажить?

А жизнь – неумная спорщица,  
сама так и лезет на спор!  
Чуть что не по ней – и встопорщится,  
свой довод подняв, как топор.

Еще ты не кончила вечера  
и ночи ты не начала,  
а жизнь тебя расчеловечила  
от самых кишок до чела.

*15 марта 1974*

## ЯЗЫК

Язык – произведение искусства,  
он зодчеству и музыке сродни.  
Как зверь в берлоге, коротает дни  
в грамматике полуслепое чувство.

Язык – что сцена в каменных веках  
с заклатьями и чарами Медеи,  
где скоморохи ходят на руках,  
где все слова – одни лишь лицедеи.

Язык – трагедия, коль мысль есть ложь.  
Язык – комедия, коль он как сводня.  
Но точит он себя всегда, как нож,  
и век, что клык, вонзает в нас сегодня.

*Ночь с 17 на 18 марта 1974*

## ОЖИДАНИЕ

### фуга

...а вы, вы не пришли!  
*Старинный романс*

Ты не пришла. Как не приходит срок  
пропущенный. Я ждал тебя недолго.  
Свалился камень и нутро заволгло.  
Тебя сбывать с рук мне было вроде долга  
(как ты сбывала меня, оставя между строк).

Но строки – как в родимом доме рать  
собравшаяся (по чьему приказу?).  
И каждый знак не хочет умирать,  
прияв тебя, бессмертную заразу.

Ты не пришла. Как не приходит труп.  
А гроб лежит, твоим былым поваплен.  
Прости, что снова грустен я и груб,  
что в пустоту живою точкой вкраплен.  
Я княжескому игу угождать  
могу, как будто сам себе дружина,  
и всё еще могу упруго ждать,  
как будто я самой судьбы пружина.

Не прибежала и не приплелась,  
как телка на убой иль как на рынок тетка.

Зачем же ты оправлена в мой глаз,  
как малая бессмертная пустотка?

Я от тебя не ласк, не лавра жду,  
ты мне сама – последней жизни жила.  
Зачем же ты, как полую вражду,  
бездушную между меж нами проложила?

Ты не пришла. А восемь лет – увы! –  
прошли. Как куклы отмаршировали.  
И две отрубленные головы  
валяются в слепом провале.

Ты не пришла. Ибо ты ждешь чего-то.  
(Не может быть, что ничего не ждешь!)  
Тебе я – правда, тошная как рвота,  
а ты себе – снотворнейшая ложь.

*25–26 марта 1974*

## ОБМАН фуга

Я, может быть, себя и то не обману,  
и словно впроголодь гляжу я на луну,  
обсосанную, будто леденец,  
и ночь обстругиваю, как конец,  
и заостряю так, что ну и ну!  
Кого же я таким концом хуйну  
по совести и без обману?  
Себя? Ну нет! Покуда что не стану.  
А утро мне опять в глаза туману  
напустит, и я взор как гайку отверну.

Куда отвертывать такой железный глаз,  
не знаем мы – ни Ты, ни Бог, ни Аз.

Меня заденет день, и ты (дуреха), Майя,  
воспитанница парок или нянек,  
кусоч (надкушенной) зари ломая,  
прохладный, точно мятный пряник, –  
ты зря стараешься. Тебя я объегорю  
тем, что свое подкину к бабью горю.

Ибо я знаю, что обман  
не лезет за словом в карман.  
Ведь правда он, обряженная в слово  
и пережившая всю ложь былого.

Ах, Майя, Майя! Право, ты дурища.  
Топор я отличу от топорища,  
ибо какой дурак не знает, что провал  
за каждым из твоих индийских покрывал?  
Почто, надуть меня нимало не умея,  
выплясываешь, словно Саломея?  
Да знаешь ли? Прикинься ты нагой,  
обсахаренной этакой нугой,

так всё равно и в рот тебя я не возьму.  
Ступай обдуривать Демьяна и Кузьму!  
Авось пойду к чертям, как восвояси, я!  
Подумаешь, нашлась мне плясая!  
Ступай-ка, матушка! В моем апреле  
остатки в закромах уже сопрели.  
Ступай же, прелесть! Ибо из ума  
построены мои пустые закрома,  
а горе тучею гремит в моих хороммах,  
из громкоговорителя ревет  
до охрипа, как модный обормот.

Нет, Майюшка! Я малый сам не промах.  
Промашки я не дам. Зане обман  
не лезет за словом в карман.

Я знаю, любишь ты за три рубля давать,  
чтобы с тобою миру блядовать.  
Так получай, голубка, эту мзду  
да и ступай сама к себе в пизду.

*1 апреля – 31 июля 1974*

## ТЕЛЕБАШНЯ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

Из-за облачного притина  
опускается вдоль реки  
эта вытянутая паутина,  
где запутались светляки.

Это нашего века мысли  
сами в сеть себя заплели.  
На невидимом коромысле  
ум покачивается вдали.

В кошки-мышки играет разум,  
и сознание – напролом,

как под вытянувшимся глазом,  
подо вспучившимся стеклом.

А в глазу, как в зале картина,  
здравомыслию вопреки  
мне любезная паутина  
светлячковая у реки.

*5 апреля – 31 июля 1974*

\* \* \*

По душе прошлась и растоптала,  
оттого что по сердцу пришлась.  
И сама себя ты нашептала  
шорохами удивленных глаз.

Шевелились длинные ресницы,  
веки были трепетнее губ.  
Но тебе былое не приснится  
даже как в анатомичке труп.

Я тобой был прожит, словно грошик.  
На копейку мной ты напилась  
и живешь, набрав кусков да крошек,  
будто со шмат-разумом сошлась.

Ты весной на месяц зашумела,  
чтобы жизнь мою разбередить,  
и твоя беда, что не сумела  
самое себя опередить.

На меня глядишь, как череп с тына.  
До тебя мне ног не доволочь.  
Ну а в комнате моей пустынно,  
за окном – прокуренная ночь.

*6 апреля 1974*

## MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.  
– Ну и что?  
В сей день птица гнезда не вьет.  
– Значит, выходная.  
Сам день сей означает: евангелие.  
– Знаю!  
От благой вести никто не умирал  
и не рождался,  
и нечего мне тут об этом  
благовестить.  
Благо и блажь –  
одного корня,  
корня великого дерева дурости.  
Сама не трезвонь!  
По нам с тобой не звонят еще,  
мы еще не провоняли,  
и в уме еще не обедняло,  
и сами мы еще  
не обеднели от бед  
и от ударов колокольных.  
Так давай раскачивать  
языками железными  
по всей пустоте  
о том,  
что родился я в Благовещенье.

7 апреля 1974

\* \* \*

Ты мне – всебудничная память,  
мой задушевный кавардак.  
Себя я не успел захламить –  
не снес былого на чердак.

И вот я кавардачусь, зная,  
что, как лобаста, ты стара,  
а память мне – кровать резная,  
которой века полтора.

Тебя я буду тароватей  
и, если хочешь, покажу,  
какое у резной кровати  
кровавейшее акажу.

Как у трагедий в эпилоге,  
оно – запекшаяся кровь.  
И я в постели – как в берлоге,  
а память мне – сама любовь.

12 апреля 1974

\* \* \*

Но можно рукопись продать.  
*Пушкин*

Я просто маленький старик,  
стихи ношу я как парик.  
Путей корявых не торив  
и чью-то рифму повторив,  
я вовсе не смотрю в тариф.  
Я не стилига и не франт,  
и на кой ляд мне преискурант?  
Хотя дает немало денег  
лакеям моды этот ценник.  
А я молюсь себе шишу  
и ради прошлого пишу  
про всё – про Бога и про дам,  
про ум, про срам, про сокровенья, –  
и вопреки чужим годам,  
не ведая обыкновенья,

ни глупости от вдохновенья,  
ни рукописи не продам.

*22 апреля 1974*

\* \* \*

Телеграфная проза вонзает – не роза! – колючки.  
Так на, получай из Тьмограда опять телеграммы ты.  
А в теле (не в грамме!), а в теле хитро: закорючки,  
и рукопись тела – подобье китайской грамоты.

Ни слова, ни слога! Кустистая изгородь знаков.  
И не продерешься. Насажено всё неразборчиво.  
О иноязыкая плоть! Ну чего же, наплавав,  
и зачем же вздорную дуру ты корчила?

Стучит телеграф, как часы. Телеграфная проза плачевна,  
и в чертовых черточках лента такая прелестная!  
Как прядка волос. И тело вполне задушевно,  
да только душа-то зачем-то такая телесная.

*24 апреля – 3 августа 1974*

### **ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР**

Проходим воздух осторожный,  
прохожих чуть задев плечом.  
Стоит не пасхою творожной,  
а трехэтажным куличом  
собор Владимирский в лазури,  
и в камне скрыта красота  
под слоем сладостной глазури,  
да только нет на нем креста  
и не святится он. Готово  
не всё к приятию чудес,

и из нутра его пустого  
не слышится: «Христос воскрес!»  
Я, сластоежка оробелый,  
глазури этой не лизну.  
А колокольня бабой белой  
во всю сияет белизну.

*24 апреля 1974*

### **ЦЕРКОВЬ КЛИМЕНТА В НОВГОРОДЕ**

Старина в природе то и дело  
поднимает всенародный клич.  
И церквушка за оградой села  
и белеет, как резной кулич,  
в воздухе голубовато-ломком,  
за оградой, рядом, вдалеке,  
из веков поднесена потомкам,  
как хлеб-соль на зимнем рушнике.

*27 апреля 1974*

### **ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА В КОЖЕВНИКАХ**

Меж дохлых трав и возле грязи сизой  
архангел, гридин иль опальный князь,  
одетый сумрачной кирпичной ризой,  
стоит к реке бочком и наклонясь.

Стоит, как в пуще, он меж временами,  
и каждый век ему – как стук желны.  
Над Волховом безмолвно раменами  
поводит он в три каменных волны.

Нахмурен докрасна, пришел не к месту  
и стал, угрюмец грозный, грудь – стеной.

Высматривая светлую невесту,  
приподнял он загривок щепяной.

28 апреля – 7 августа 1974

\* \* \*

Та ночь сначала многого не знала,  
еще гадала да ждала.  
Ты леденела, как вода канала,  
когда ты руку подала.

И говорю, ту полночь вспоминая:  
«Себя былым ты не балуй!  
Ведь ты давно была совсем иная –  
и ты, и первый поцелуй.

А ворошись он вкруг судьбы разгромной –  
так ведь и тут она гнетет  
тем, что он будет всё такой же скромный,  
такой же нежный, но не тот».

30 апреля 1974

### ПОДРАЖАНИЕ ТЕГНЕРУ

*Fyr lönge se 'n, fyr lönge se 'n!\**

Не говори, что миновало, –  
былое на плечи легло,  
и мне от этого навала  
само желанье тяжело.  
А тяжело мне оттого лишь,  
что в прошлом мне не всё равно,

что ты была и быть изволишь  
давным-давно, давным-давно.

И пусть былое только пакость!  
Себя, как остов, обнажив,  
я всё живу еще кость на кость,  
ни жив ни мертв, и мертв и жив.  
Самой природою нутроба  
хитро устроена давно.  
И без тебя я – как без гроба,  
говным-говно, говным-говно.

2 мая 1974

\* \* \*

Когда была ты бледным голым телом,  
и грустно серые глаза блестели,  
и в чувстве смутном (но и оголтелом),  
как в на сто верст раскинутой постели,  
лежала жертвою себе самой,  
а день глядел из незакрытых окон,  
то был он до зарезу твой и мой,  
но высмотреть того, что ждал, не мог он  
и отошел, горбатый и хромой.  
То, что он дал, он сам же и похерил,  
то, что он создал, сам же погубил.  
И уж поверь, как я тогда поверил,  
что слишком нежно я тебя любил.

4 мая 1974

\* Давным-давно, давным-давно! (швед.)

## ЗАРЯ

Я вижу, как издалека  
заря вычерчивает ветки,  
и небо ангельской расцветки  
на них качается слегка.  
Ветришко зябнет на лету,  
зачем-то прыгая с качелей,  
и утром Бог, как Торичеллий,  
выводит к жизни пустоту.  
Она уже гремит, что ргуть,  
за стекловидной утра стенкой,  
но хочет нежностью оттенка  
ученый Бог меня надуть.  
И утро, как с пейзажем опыт,  
Он поставляет мне в зрачки,  
а в ухо мне влагает лопот  
на камни лезущей реки.  
Но, может быть, всё это проще  
и вылит в пустоту не яд,  
а Бог – ученый тунеяд.  
Пусть небо зыблется на роще  
и просит пусть у жизни прощи  
не я, а мир, как уният.

В кустах, не смысла ни аза,  
сидит оттенок, как котенок,  
и отмывает от потемок  
прищурившиеся глаза.

*7 мая 1974*

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уже подходим к рубежу,  
к меже из неполадок.  
И пусть тебя я побегу,  
а всё же взятюк гладок.

Но там, за этим рубежом,  
какая чертовщина?  
Нещадно режет, как ножом,  
любая годовщина.

Затвердевая от тоски,  
от вяленья томяся,  
откромсанные вкось куски  
висят, как шматы мяса.

Ты хочешь жизнь перемолчать,  
а я о ней судачу.  
Но это значит, что начать  
уже ты хочешь сдачу.

Ну где тебе обет давать!  
Себя хоть кроху выдай!  
А я – я буду бедовать  
с победой, как с обидой.

*9 мая 1974*

\* \* \*

А кто они? Онуфрии да Кифы,  
наследники ученых дикарей,  
обученные полумыслям скифы,  
пришедшие из дебрей декаблей.



Широкие, самих себя добрее,  
завязывающие зло узлом,  
из пуш буряющих гипербореи,  
они идут на смену, как на слом.

Они возьмут мои слова щепотью,  
понюхают – и дело тут табак,  
и стану я для них единой плотью  
всех, всех на мне повешенных собак.

Любых собак – цепных, борзых и гончих.  
И стану я тогда единым псом.  
Ко мне прицепят пакостей вагончик  
с единственным, как правда, колесом.

Пойдет оно, колесико, вертеться,  
а скифы вскинут на меня глаза,  
и некуда от детской своры деться,  
ибо они не знают ни аза.

Весь ум у них взяла в себя десница  
и сапоги надела доброта.  
И часто при дурной погоде снится,  
как скифы взламывают ворота.

*Ночь с 17 на 18 мая – 12 августа 1974*

## С НАТУРЫ

Сделан день из дерева. На простом бульваре  
кормится и любит уйма разной твари.

Набухают голуби, ежатся голубки,  
поджимая лапки, словно алы губки.

Сделан день из воздуха. Никому не тяжко.  
Парни – на шарнирах, девочки – в обтяжку.

Счастье воробьиное или с гулькин носик.  
За пичужьей радостью кой же пес их носит?

Сделан день из листьев и цветной крошки...  
По кривой дорожке и не понарошке.

Всё по-настоящему, всё по голой правде.  
И щемит у Митьки, и сосет у Клавди.

Набухают голуби сизо и самцово.  
Девочки – как песенки, все – как слово в слово.

Сделан день из гомона, дыма, ожиданья,  
из коктейля желтого, жидкого желанья.

Как фазаньи курочки, стали даже галки.  
Девочки – окурочки, парни – зажигалки.

Набухают голуби, шейки гнут голубки.  
Девочки на лавочках задирают юбки.

*26 мая 1974*

\* \* \*

Сегодня о тебе подумал в первый раз  
как о далекой и ненужной вещи,  
как о простом предмете без прикрас,  
так именно – не легче и не резче.

Сам Бог давным-давно мне думать так велел,  
но я Ему был непослушен в этом.  
А как подумал, так и пожалел,  
что где-то стала ты таким предметом.

*28 мая 1974*

\* \* \*

Под мухой день людей облобызал.  
Он всех еще не обошел трактиров...  
Выблевывает пассажиров  
пузатый Витебский вокзал.  
И по недельной по привычке  
весь день – сплошной блаженный зуд.  
Подносят рюмки, кружки, спички,  
и вместо брички электрички  
со свистом отдыхать везут.  
И я себя в вагон пихаю,  
как узел старого тряпья.  
Меня везут, и еду я,  
но от себя не отдыхаю.

29 мая 1974

### **Я СЕТУЮ трехголосая фуга**

Я сетую, что ни над чем не плачу  
и что с души себя же ворочу,  
что раскурочу или раскулачу  
нутробу, как положено врачу,  
но не завою и не зарычу  
(до рыка ли мне, старому хрычу!).

Не для того ли вспорота нутроба,  
чтобы останки выломать из гроба  
и снова (в гроб иной) их уложить,  
дабы хоть как-то можно было жить?

И, как на тыне, виснут на притине  
и преспокойно сохнут черева.

По мне, как в белом грунте на картине,  
натыканы вразбивку дерева.  
Как черные плоды, висят на них потери.  
В сон, как в мешок, насованы тетери.  
Обуглены тетерева.

Что делать с этим липким зимним грунтом,  
не знает сумрак, медленный, как ум.  
И не желают стать осинки фрунтом.  
И вот какой из зим – с походным фунтом –  
(бараний!) сыплется изюм!

Но я еще, ей-ей, как звери, молод  
(изюм еще, глядишь, пойдет на торт),  
пусть измолочен я и перемолот  
и даже плюнут и растерт!

Я сетую: попал я в тонки сети,  
навешали мне давленных собак.  
И я в себе порой – как в том кисете,  
откуда вытрясли табак,  
как бы остатки дела на сигарку.  
Судьбу-цыганку что же мне журить?  
Что наклоняться к грешному огарку,  
когда и сам даю я прикурить?

А мой отстой – какая желчь и горечь!  
И смех, и грех, и соль – всё вместе тут.  
И день идет, как Слава Миловзорич,  
учиться в холодильный институт.

Да ведают великие потомки  
о том, что первородные права  
лежат, как в богоданной анатомке  
разглаженные глазом черева.

Творец подслеповатый был горшечник,  
из жизни не сумел устроить блат.  
И ляпка тянется вдоль рек и блат,  
как путешествие длиной с кишечник.

Нет, стен не хватит для моей башки  
во храме Богородицы Природы,  
где гирьками стоят богиньки и божки,  
а рядом бузиной рыгают огороды.  
И в Киеве рыдает дядька спьяну,  
и явь подобна вечному изъяну,  
и остается мне вкруг жизни на вершки  
наматывать загаженные годы,  
как вываленные кишки.

Я пожил на смотринах и на смотрах,  
умножил зрение – и окосел! –  
На торге Божиим я во всё око сел  
с нутробой, легшей рядом во весь потрох.

Я издали завидую монаху  
и даже славлю иноческий чин,  
ну а вплотную посылаю на хуй  
и дурочку валяю без причин,  
как девочку, не ставшую девахой.

И Ты в Меня натыкано, как тын,  
последний тын с разбитыми горшками –  
о глиняные черепа! –  
и с вымотанными кишками...

К нему не зарастет народная тропа.

*1–8 июня 1974*

\* \* \*

Каждой вещи приходит срок,  
каждый предмет собрата громит.  
Как ты построишь хоть восемь строк,  
но вековечнее пирамид!  
Старость одна меня распрямит,  
с каждого слова возьму оброк.  
Матерно смерть меня срамит:  
«Создал, а кой же в создание прок?»

*11 июня 1974*

### **СТАРОСТЬ трехголосая fuga**

Я стар, как мир. И сам с собой врасык.  
Я стал не мной, а чудом трехутробным.  
Кручусь я около вещей простых,  
как черт, всем оком (круговым и дробным).  
В побегах бед, в сухой траве скорбей,  
вдоль по судьбе ухабной, как угроза,  
враскат гоню я, рабский скарабей,  
свой скарб и корм – священный ком навоза.

На солнце смрадное смотрю во все фасетки.  
Се зрение горит, как отблеск, в сетке.  
Следы его блестят из лупоглазых дыр  
в зады познания. Я жук и стар, как мир.  
И взоры семят по мне, как лапки.  
И нет меня. Как жернов, жаден круг.  
Я жил, как век и как навозный жук.  
И вот уже лежу во сне на лавке,  
как нежная египетская тварь.

Я стар, как мир. Я стал как звери встарь  
и стягиваю вмиг кошачьи зенки.  
Сквозь желтый круг проходит щель, что кол,  
и когти – каты в меховом застенке,  
и каждый коготь, как иголка, гол.  
И посреди своих священных статуй  
я стар, как мир, и стал как вихрь хвостатый.  
Он полосат, слетающий с кота.

Я скарабей и раб, и древен, как оратай,  
и рад, что я тружусь над жизненной утратой,  
как жук над пахотой – от бога до скота.  
Как жук. Как век. Как бык. Как стук рогатый.  
Как бедный бог, вхожу я в быт богатый.  
Я был и есмь в свое нутро врата.

А у ворот стоит богиня Гатор  
(или рогатый экскаватор,  
который тарахтит мне «тра-та-та?»).

Я стар, как мир. Как бог, как жук, как бык!  
И к боли я, и к игу приобьик,  
и так и сяк тружусь в наседливом соблазне,  
висят на мне египетские казни,  
нутро, как грозный рот, раскрылось на бедро,  
а на бедре орет в ответ ему тавро.

А может быть, я – дробное ядро,  
и в дрожи некогда я испытало  
и снег эонов, и распад металла?  
А может быть, я – дробное ядро?

Несчастный друг утрат и приращений!  
И грозен круг звериных превращений,  
где бог – не более жука и холуя.  
И будет мне глаза слепить, как заметить,

попавшаяся на дороге память,  
в пар превращая то, чем было я.

Я стар, как мир. И мною торговали  
(и, может быть, изношенным до дыр).  
Я злобный звук ядра в своем развале.  
Одно и знаю – что я стар, как мир.  
Нет воли продаваться дешевизне,  
нет времени себе – до боли – надоесть.  
Что толку ждать желанного от жизни?  
Но у себя я вырву всё, что есть.

*1–7 июля 1974*

### **ЯКОБЫ СОНЕТ**

Как хорошо, что я не чин,  
и что живу я без почета,  
и что чинам я – как немчин  
или какой-то тихий кто-то,  
полчудака, пол-оборота!  
А мне невелика забота  
и обижаться нет причин.  
Ни харь на мне нет, ни личин,  
но повидал я их без счета.  
Я не турчин, не половчин,  
ловчиться – не моя работа,  
но не сойду я и за мота,  
я – медвежиная дремота  
и в жизни прост, как треск лучин.

*11 июля 1974*

## УТРО В ЛЕСУ

Я нынче утром потревожил лес,  
как будто я в чужую жизнь залез.  
По-мужески корежились дубы,  
и голосили тонкие осинки  
и подставляли небу цвета синьки  
бледно-зеленые и жиденькие спины,  
и проступали белые грибы,  
как темные пупырышки судьбы  
иль опухоли чьей-то чуждой доли.  
Их уносила в розовом подоле  
Аврорка блеклая домой.  
И лес был мой, но и не мой.  
Да и не лес то был, а перелесок,  
не красота была в нем, а краса,  
и, словно сотни крохотных подвесок,  
с травы свисала робкая роса.  
Зачем же дело я с природою межую,  
а ведро собираю я в ведро?  
Я потревожил лес, как жизнь чужую,  
а утро было как свое нутро.

*15 июля 1974*

## АКАФИСТ

Святителю! Винюсь, я вышел не в Тебя,  
и даже в старости я ржу, как жеребя,  
а рядом, как лошак, идет судьба большая.  
Растягивая шаг и душу теребя,  
надеюсь на себя, нимало не плошая.

Угодниче! Ты был воистину хорош,  
на солнце глядя, как на медный грош.  
В обители он был Тебе как подаянье.

Как четки, зернышки отсчитывала рожь,  
а черная гроза была как покаянье.

Я стал от суеты и гомона старей,  
грызу свой век, как зубр из пуши Беловежской.  
И рос я как пырей, не находя дверей,  
а сам был хан Мамай и Сергей Радонежский.

Вот оно как было, Угодниче!

*18 июля 1974*

\* \* \*

Я прожил всё, чем я не дорожил,  
и мне не жаль костлявого имения,  
но ко прожитому я доложил  
надежд, раздумья и уменья.

Я вольной старости сердечный друг  
и обожатель мудрости беспечной,  
и сам себе хозяин я. (А вдруг  
я только таракан запечный?)

И жизнь, которую сложил, нова?)  
Как головы, лежат у склада годы.  
И буйный раб вращает жернова,  
лихие жернова свободы.

*24 июля 1974*

## НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

У Русского (плавного, как огромный корабль) музея  
для каждого ротозея  
тощенький Пушкин руку простер,  
как трехгрошовый актер.  
А деревья по-прежнему естественны и старинны,  
под давлением времени они не гнутся,  
и Пушкину восторженной ручкой до Екатерины  
подать, да не дотянуться.  
И стоит красота.  
Красота, да не та!  
И нет ни черта в ней,  
ни даже самой малой черты  
ни от будущей красоты,  
ни от красоты стародавней.  
А мимо плывет Русский музей.  
На нем навархом сам Тезей.  
Как море из камня – площадь,  
и вписан чугунный круг в нее.  
А слабое небо над ней полощет,  
как подсиненное белье.

*31 июля 1974*

## НАД ОЗЕРОМ

Холодный август – словно из стекла,  
и в воздухе литом не могут птицы плавать.  
Как речка мелкая, беззлобно истекла  
природа, время превращая в заводь.  
В бесшумной камышовой бороде  
сидят стрекозы, как на яйцах птички,  
и вижу, как в полуживой воде  
летит испуганная тень плотички.

Всё существует нехотя, нигде  
и даже чем-то вопреки привычке.

Поет сиреневая птица Сирин.  
Глянь, и она хвостом по пустоши вильнет.  
Соседний лес как пальцы растопырен,  
но, как и я, душой не шевельнет.  
О, как велится мне не шевельнуться!  
Прости меня, стеклянное лицо!  
И к самому себе нельзя вернуться,  
как на прощальное крыльцо.

*1 августа 1974*

\* \* \*

Мы знаем все, что мы умрем,  
однако думаем нутром,  
что смерти нос гнилой утрем,  
а времени наврем.

Наврать удастся нам навряд.  
Ко правде нас приговорят,  
в семи водах нас проварят –  
и будешь черту брат.

И всё же будешь жить да жить,  
с собою, как с судьбой, дружить  
и знать, что суть есть только сыть,  
когда тянуть не нужно нить  
к возможности не быть.

*Ночь с 7 на 8 августа 1974*

\* \* \*

Как вы полны, земные пять минут,  
когда пекут блины, белье стирают,  
торгуют телом, песенку поют,  
целуются, в квартире прибирают,  
в трамвае едут и судьбу клянут,  
играют в шахматы и спину гнут,  
животики от смеха надрывают,  
рожают и пускают в дело кнут,  
возводят из соломинок уют,  
по морде бьют, ломают, создают,  
и дремлют, и от пули умирают  
иль просто Богу душу отдают.

*19 августа 1974*

### СЕНТЯБРЬСКАЯ ФУГА

Я смею всею смертью на себя в поход идти,  
а жизнью сам себя обороняю,  
но и в пути я, будто взаперти,  
за мыслью мысль беру да и роняю.  
Уже не держат руки долгих дум,  
а ветки – побурелых ягод.  
И весь поход – как в роще листьев шум,  
внесенный по статьям расходным за год.  
Но, книги к бабушке Яге послав,  
я на себя иду, как древле Святослав,  
хотя и знаю, что мой скорбный полк,  
как вошеньки под ногтем, щелк да щелк.

Последний день на доньшке я пью.  
Он крепче снадобья, светлее водки.  
Осенние выслушиваю сводки,  
поющие хвалу природному тряпью,

как модному сезонному костюму,  
и к Богу в душу посылаю думу,  
уехавшую вдаль к житью-бытью.  
Оно же бычье, птичье, человекье,  
а шар земной – дурная голова.  
Как листья, жолкнут мудрые слова,  
и не стареет только просторечье.

Не злоумышленник я и не доброхот,  
когда пишу про собственный поход,  
а не про стычки дружественных армий.  
И не беда, что есть какой-то Хармий,  
фельдмаршал или пьяный адмирал.  
И без него не раз я умирал,  
но каждой смертью крупно награждался  
тем, что я снова наг рождался.

Так и живу, печалюсь и кобенюсь,  
на яйцах и костре (фефела или Феникс?).  
И в сентябре мне жизнь всё дорожает,  
когда она хоронит да рождает.  
А дружественных армий маршировка  
всё тянется, как мокрая веревка,  
да изредка меня пинает в бок,  
как идол Божий, валяный сапог.  
Но проживаю без обиняков  
и не подсчитываю синяков,  
не подвожу им никакого сальда.  
И жизнь моя древнее жизни скальда –  
она и простодушна и хитра.  
И вечер начинается с утра  
от страха Божьего, что обморочный гам  
того гляди ударит по мозгам.  
Но я от этого не сделаюсь умнее,  
а просто будет мне еще темнее.

Люблю чужие пожирать мозги  
по той причине, что в своих – ни зги.  
И вот живу я на авось и даром,  
стою, как пешка, под ударом.  
А если пешку сбить, то крышка королю,  
и выйдет, что я сам себе же насолю.

В природе осень, мудрость и морока.  
Трещит, как радио, бессрочная сорока.  
Ворона каркает удало,  
как будто делает доклад,  
и, каркая, громит прогулы, пьянство, блат.  
Ах, матушка! Не доверяй удара.

В природе осень. Весь музей в природе!  
И зренье треплется по пестрому тряпью.  
Сентябрь пылает. В собственном походе,  
как Святослав, из черепа я пью.

Копают землю. Носом землю роют,  
но даже носом яму лишь откроют.  
А что есть яма? Только подоплека.  
Горит сентябрь. До декабря далеко.  
Пора глаза разуть! Но грусть во что обуть?  
А то, что будет, – разрешаю: будь!

*1–7 сентября 1974*

## ПОГОСТ

Божья нива ждет гостей  
неспроста!  
Вырастает из костей  
красота.

Как прекрасен до поры  
каждый труд.  
Эти пестрые ковры  
нежно врут.

Жизнь бежит, еще густа,  
по коврам.  
Прикрывает красота  
Божий срам.

Пышут поверху цветы,  
но зато  
там, внизу, совсем не ты,  
а никто.

*18 сентября 1974*

\* \* \*

Про осень да про лето,  
про года времена  
зачем читать у Фета,  
зачем у Кузмина?

На осень я не стану  
нацеливать перо,  
глядеть по Левитану,  
взирать, как Писсаро.

Перо беру иль кисть я,  
гляжу хоть вдаль, хоть вблизи –  
летят дожди да листья  
и лезут грязь и слизь.

Безумному Ван Гогу  
не занимать ума.



Живешь – и слава Богу,  
которого нема.

*24 сентября 1974*

## ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА НА СЛАВНЕ

Какого из апостолов слегка  
ладошкой шлепнул Бог по черепушке?  
Не стой-де, старый дурень, на горушке!  
И плечи поосели, как века.

Но в виде каменном боровика  
стоять обидно серенькой церквушке,  
и у нее, у крохотной старушки,  
укрылась где-то в алтаре тоска.

Над церковкой, то светел, то суров,  
из облаков сияет Саваоф,  
и тученосный, и тяжелолицый.

Идут дожди над грешною землей,  
и всё вокруг полным-полно водой,  
а грусть подземная ползет грибницей.

*25 сентября 1974*

## ПИСЬМО

### фуга

Ты ли это? Вправду ли остыла?  
Стала ли одной из горенош?  
Отчего ж ты возникаешь с тыла  
вдруг, и снова – как в буханку нож?  
Знаю, что любви ты не простила,  
что тебе себя не побороть,

знаю, что себя ты упустила  
и что я – отрезанный ломоть.

Ну а что, как ты решишь воспрянуть  
и тряхнуть собой опять –  
и всем горем на меня нагрянуть  
и ворчливо ворковать?

Вот мне и почудилось, что ты уже едешь...  
Где два прошлых встретятся? Не в одной беседе ж?

Ехать недалечко – приезжай скорее,  
покуда не стала в три разб старее,

а не то навалится десятый десяток  
тяжестью от темени и до самых пяток.

Тяжесть ляжет с темени псицей на колени...  
Убегай от темени, от унылой лени!

А не то навалится десятый десяток!..  
Но ты усмехаешься: «Вот чудак! Нельзя так!»

Или заколодило? Иль заколдовало?  
Или всё, что есть в тебе, ты пораздавала?

Стукни же в оконце, как почтовый голубь!  
Иль в глазах всё та же ледяная прорубь?

В комнате хозяйской – осень на обоях.  
Иль тебя, голубка, не хватит на обоих?

Окно уже с утра слезливо,  
и голышом в углу голубка.  
Погода ноет и тосклива,  
как при распаде рак желудка.

Изъеденные микросволочью,  
дни как-то сами доконались,  
и сад в стекле – как рвота желчью.  
Вот вам анализ так анализ!

Слушай же, голубка-гореноша!  
Неужели ты совсем безвестна  
и, себя душевно облапоша,  
существуешь ты мелкопоместно?

Поверь, тебе я не был вор,  
и горько спрашиваю: «Где ж ты?»  
И обрываются надежды,  
как телефонный разговор.

*1–9 октября 1974*

\* \* \*

Ты была и еще где-то есть,  
ты моим стихам – как перегной,  
и не может память надоесть:  
ты во мне, но нет тебя со мной.

А пожалуй, ты и не в себе,  
а черт знает где, и в ком, и в чем,  
и в судьбе ты, ох, ни «а» ни «бе»,  
ни колом тебя, ни калачом.

Каждый скажет: не подобен я  
вовсе ни колу, ни калачу,  
но по грязным колеям житья  
нас обоих всё же волочу.

Ибо я нанялся в битюки,  
и меня сто судеб не столкнут.

Ты прости мне эти пустяки,  
но твое молчание – что кнут.

*12 октября 1974*

## СЛОВА фуга

Я, как телеги, ставлю в ряд слова.  
Они скрипят. И просят дегтю оси.  
И не беда, что связь их якобы слаба  
и что живут они разноголося.  
Ведь даже дурню ясно, что их связь –  
кочевка и ночевка, осель, грязь.  
И едет табор прочь по осени цыганской,  
и я уже на многое не лыщусь  
и на деревья с верою поганской  
полуиспуганно крещусь,  
понеже слово каждое смертельно.  
Скрипят колеса, заглеваает ось,  
и слава табору, что я живу двутельно,  
но связь слаба и оба тела врозь.  
Живу и проезжаю мимо моды,  
кобыла, тужась, задирает хвост,  
скрипят колеса, как былые годы,  
и осень хочет осенить погост.  
Веретену ужалить иль осе –  
а царству Божьему как в сказке спитя.  
Разноголосица вертится в колесе,  
и в обод, словно палец, тычет спица.  
Слова мои – возы, рогожные телеги,  
и сызмала я еду потемну  
и грязь на каждом повороте мну,  
не ведая ни од и ни элегий.  
И что мне связь, когда я – табор гили,  
и нежных мятежей, и безголовых смут.

Я лишь безвременник на маленькой могиле  
и никакой не Дант и не Вергилий,  
и черти в ад меня, ей-богу, не возьмут,  
ни к стенке не прижмут меня, ни к ногтю.  
Телега этой самой жизни – вкось.  
А я не Пушкин. Только просит дегтю  
разгорячившаяся ось!  
И кистью мажу я ее со злости,  
подслеповат и тугоух.  
Шуршу я, как бессмертник на погосте.  
Пусть осень плачет. Я останусь сух.  
Да ведают про беды и побег  
огромной кочевой всклокоченной судьбы  
слова, как половецкие телеги,  
слова, как двухколесные арбы.  
И по осеннему разноголосью  
живу я, напоследок разъярясь,  
когда я сам и колесом, и осью  
со всей охотой вваливаюсь в грязь.

*17 октября 1974*

\* \* \*

Говорил Пастернак, что душа – душна,  
а в моей свежо, как на воле.  
Ведь она у меня – как такая мошна,  
где на дне и монетки нет боле.

И живу-брожу вот с такой душой,  
словно вошь ползет по железу.  
Мне весь мир семья, где я сам большой,  
в душу за словом я не полезу.

И не тяжко мне от пустой мошны,  
не скрипят от раздумья плечи.

И жалеют меня, ну а мне – хоть бы хны.  
По-пустому живется легче.

*20 октября 1974*

\* \* \*

По новейшей моде я  
благо породил.  
Но, Ваше благородие,  
кто Вас нагородил?

И зачем вы с благами  
топчетесь на площади  
и ими, точно флагами,  
на весь простор полощете?

И не лучше ль просто,  
благо спрятав в люди,  
быть липой ради роста,  
жить сам себе на блюде?

Или в беспорядке  
играть в любовь, как в прятки,  
тянуть ее за прядки,  
как морковь на грядке?

Это не пародия,  
это не сатира.  
Но, Ваше огородие,  
ведь вам нужна квартира,

пусть и не угодия,  
без коммунальных благ.  
Ваше благородие,  
где же белый флаг?

*20 октября – 17 ноября 1974*

\* \* \*

Жеваное утро,  
трепаная ночь,  
и к тебе, лахудра,  
ног не доволочь.

Как в стране заморской  
процветает ты?  
Как в земле обдорской  
первые цветы?

Только, Бога ради,  
не ходи домой!  
Мой кусочек бляди  
пусть и будет мой.

Словно лимонада  
я тогда напьюсь.  
Мне любви не надо,  
я любви боюсь.

Жалобно и угло  
встала дребедень.  
Жеваное утро  
и бессонный день.

*22 октября 1974*

\* \* \*

Ничего уже не жаль –  
ни пьяного, ни трезвого.  
Без кинжала ль, без ножа ль,  
меня ты не зарезала.

Был тебе и я – не я,  
не конь и не кобыла,  
и без яда, без ружья  
меня ты не убила.

Подчистую грусть с утра  
я стригу да брею.  
Ты была ко мне добра,  
а я еще добрее.

Но из нашей доброты  
ни черта не станется.  
Проживаешь храбро ты  
то, что сзади тянется.

И, пожалуй, лучше так –  
миловаться издали.  
Не хочу, чтоб за пятак  
чувство устно издали.

Вот тебе я сочинил  
без думочки-подушечки,  
без руля и без чернил  
грустные частушечки.

А сама ты не грусти,  
ведь жизнь – лишь наваждения,  
и, обняв, меня прости  
ради дня рождения.

*31 октября 1974*

## КУКИШ-ФУГА

Я, как Орфеишка, остался без подруги,  
однако на Аид одной рукой машу.  
Порой крылами бьют легчайшие испуги,  
а мне и нет-ничто, бездомному шишу.  
Чего же ради сочиняю фуги?  
Кого я тешу тем, что их пишу?

А надо! Отчего же? Не от скуки ж?  
Я суку-скуку закопал в земле.  
А смерть моя, как чей-то красный кукиш,  
торчит божком на письменном столе.  
И – вместо Эвридики – дулю накось!  
Под песню камни, точно горе, в ряд,  
а стены и дороги – сикось-накось,  
а звери, как соседи, говорят...

А звери слушают, поджав пустые лапы,  
сидят холопы важно, как сатрапы,  
земля кружится в четырех стенах,  
как ум в косоворотке и в штанах.

Ярмо поэзии! Увы, беда не в иге.  
(И на стихах нажать возможно жир.)  
А в том беда, что фуги – просто фиги  
и простофиле сладостный инжир.

Орфей не хочет стать жильцом Олимпа,  
ибо на весь Олимп одна сплошная липа.  
А Гебу-горничную – ну ее к Эребу!  
Почто любезничает? В зад ей Ганимед!  
Пожить бы во всю грешную потребу,  
во всю утробу без помарок и помет!  
А воля – как заломленная кепка,  
и мысли с диким телом не в ладу.  
Да, в сущности, на что мне эта Гебка?  
Амброзии и в прозе я найду.

Рыдают камни и земля измокла.  
Душа и семенит, и моросит.  
На нотной проволоке фуга, будто смоква  
на липе с фиговым листом висит.

Жизнь уже зажарена.  
Смерти не вреди-ка!  
Гадостью ужалена  
где-то Эвридика.

И легка смоковница,  
словно на отлете,  
бедная любовница  
без плодов и плоти.

Когда бы можно было жить с нахрапу!  
А зверь внимателен, сося большую лапу,  
густые уши высоко подняв  
и ежебудню, как сатрапу,  
утратами покорно попеняв.

И легко смоковница  
производит вычет:  
будто бой-любовница,  
дулю под нос тычет.

Как просто самого себя лишиться  
в опустошительный мятеж,  
когда омеги или фиги ешь,  
и добрый голос древнего плешивца  
не слышен мне, а вижу шиш да плешь.

За фугу, право, ни фига не купишь.  
А я, как маленький, играя их пишу.  
Охуйком на столе стоит багровый кукиш,  
и карла-шиш – как шут Великому Шишу.

*1–7 ноября 1974*

## МЯТЕЖ

Я жил в законе и дружил с авосем  
и был себе одной из тихих меж.  
Взорвался шаг, ударился я в осень,  
как в жалобный, измученный мятеж,  
и вот теперь насквозь я, а не меж.

Не между строк, не между чувств, а через,  
поверх отчаянья валом валю;  
в самом себе уверяюсь и изверяюсь,  
я правде блядской слезно лечь велю.

Бушует правда, и крушит рояли,  
и саркофаги рубит топором...  
И вот себя я спрашиваю: я ли  
бегу босой из собственных хором?

Соседка-схимница советует мне: «Брось-ка!  
Возможно ли бежать за все-то рубежи?»  
Бегу, а рядом казачок Авоська  
да смерть моя, изнеженная моська,  
и по ночам горят смолою мятежи.

*7 ноября 1974*

## РОМАНС

С лузою блузочка,  
с брешинкой брошь.  
Что же ты, музочка,  
врушеньки-врешь?

В сумочке, музочка,  
стало пустей:

долька огузочка,  
части костей.

Много ли по миру  
ты набрала?  
К новому номеру  
что наврала?

Бесится песенка,  
счастье – в расход!  
С месяца лесенка  
тянется в год.

Даль молодецкая  
вплавь по реке,  
что-то недетское  
есть в старике.

Самозакусочки  
станет к утру.  
Душеньке-музочке  
врушеньки-вру.

*17 ноября 1974*

## СОБАЧЬЯ ФУГА

Я старый пес. Но на луну не вою  
и по покойном Боге не скулю,  
а припадаю к телу головою,  
как к толстому промерзшему кулю.  
Уже погряз я в разуме, не лаю  
и не кусаю хлеба с солью слез.  
И под ноги я сразу Менелаю:  
погладь меня! Я Одиссеев пес.

Тебя надули, батюшка, с Еленой,  
а мне осточертели женихи,  
которые, сойдясь со всей вселенной,  
гуляют и пируют, как грехи.  
Но псу, рабу, илоту иль холопу  
на суд привольных женихов не звать.  
И пусть их продолжают пировать.  
На них не лаю. Ну их в Пенелопу!

Я, старый пес, вернее этой бабы:  
я сам себе хозяин, как и был.  
Через солено-горькие ухабы  
я на Ифаку все-таки приплыл.  
Ну а являсь неожиданно на Ифаку,  
я самого себя встречаю, как собаку.  
Хвостом виляет, как софист, вопрос:  
«Да кто же я, хозяин или пес?»

Грехи пируют. Новый бык зажарен.  
Когда-то будто был я добрый барин,  
а нынче появляюсь, как Улисс,  
ко стрекулистам сим из-за кулис.  
И даже не устраиваю сцены.  
И ухом не веду я. Вот что ценно.

Лежит жена Зевесовой коровой.  
И ухом не ведет, что я как будто вдов.  
Хвостом не шевельнет. А ты, кобель дворовый,  
рычи на женихов и оводов!  
Ведь жалят женихи и овода.

А море, как огромная вода,  
подсинено лежит в своей лохани,  
и рвутся от его волнистых колыханий  
просторы, паруса и невода.

Был не дворец у Кирки, а кабак,  
свиной она блюла, а не собак.  
Я знаю, что моря широки и глубоки.  
А если б из сего простора вод  
восстали бы собаки, руки в боки,  
и завертели песий хоровод  
да на волшебницу бы зарычали:  
«Эй, любушка! Сама с собою спи!»  
Но волны, как волы, томятся на причале,  
а бедные собаки на цепи.

Собачья жизнь... Хвостом облезлым хлопай,  
как в ладушки, пред жирной Пенелопой.  
А между прочим, где-то на полянке  
в медведицу вцепились меделянки  
и вертятся вокруг, как сатаны,  
густые приспустив с нее штаны.

Я Одиссей или Шалтай-Болтай.  
Я натрудил глаза. Не лайся, Менелай,  
на то, что крепкочленный Парид  
по-своему твою Елену парит.  
Пожалуй, ей в отместку пожелай  
мужей еще десятка полтора,  
но чтобы без кола и без двора.  
А кто с колом, так оную дубину  
пускай употребит на бабью спину  
и, выгнав Леды дочь с пуста двора,  
как грек под Троей, заорет «ура!».

Собачья жизнь! И жить-то недосуг.  
На службе жизни просто не до сук.  
Несешься, воздух на бегу терзая,  
как гончая или борзая.  
Будь темнота хоть с краешка белей!  
Какую кралю прикупить к тузу бы?

Бежишь и задираешь кобелей,  
а сам бежишь, быть может, к черту в зубы.

Собачья жизнь у мамы и у папы.  
Бежишь по ней во все четыре лапы,  
а тропка, что кишка или кулак, узка,  
и некогда нигде урвать куска.

В собачьем беге – словно в роще ног.  
Грохочет сзади каторжная тачка.  
И точка. Так! И всё мое добро – щенок,  
прекрохотная к старости собачка.  
Боится он заезженных путей,  
смышленный сын Кутейников Кутей.

Собачья жизнь у папы и у мамы.  
И если набираемся ума мы,  
в мирской суме огрызки и куски  
великих пирогов насмешки и тоски.

Когда-то был я добрый лоботряс,  
и нынче не берет меня хвороба.  
Одна беда – я в разуме погряз,  
а разум – это род особый гроба,  
а гроб – моя огромная нутроба.

*1 декабря 1974 – 12 февраля 1975*

\* \* \*

Не болит и не хворается,  
и живет беспредметно,  
понемножку умирается,  
безобидно, незаметно.

Потихоньку, понемножечку,  
без иронии жеманной,  
с блюдца зацепля ложечку  
несоленой каши манной.

Еще чудится и кажется,  
что повестки недошлются,  
что размажется та каша  
на лице ребячьем блюдца,  
что и так всё образуется.  
Об одном лишь и грустится –  
что отпетая разумница  
не придет со мной проститься.

*10 декабря 1974*

\* \* \*

Не ходи под меня с дамы,  
я тебе не валет козырной.  
Мы не птицы, не вьем гнезда мы,  
не побьем судьбы озорной.

Пусть грачи с нарочитым граем  
птичье вече весной чинят, –  
в свои козыри мы играем  
и нежнее слепых щенят.

Окрылились и озверели,  
прорезайте же нам глаза.  
Пан, играющий на свирели,  
непременно пойдет с туза.

*19 декабря 1974*



## ОДА НА 1975 ГОД, ИЛИ НОВОГОДНЯЯ ФУГА

## 1

Я и живу и жду, гадая по годам,  
и каждый год в архив я складываю оду.  
А долю я себе как бы от Бога дам,  
как летопись судеб суровому народу.  
И по году иду, не спрашиваясь броду,  
от глада гладок став, и в каждую погоду  
я – голый Божий червь, единственный Адам.

## 2

Внемли же, Новый Год, неправде, что я гладок!  
Скажи, что я – весь век кочующий архив,  
где годы, как пуды досад и неполадок,  
навалены давно, в отчетах закружив  
чиновного вралю, как в вальсе, но порядок,  
как музыка, парит поверх бумажных грядок.  
Печать на Старый Год! А я служу и жив.

## 3

И сыплются часы, как дождик, по палате.  
Здорово, Новый Год! Здорово, старый крот!  
Все старые счета предъявим мы к оплате.  
Попробуй-ка уйти от нас любой банкрот!  
(А дома я, как дед, залезу на полати.)  
Теперь мне исполать, хоромине на блате,  
лежать и нежиться, как труп, разиня рот.

## 4

Торчат глаза совы иль серого кота.  
И наваракал что мне нынче сей оракул?  
Что коготь или клюв царапал? Неспушта  
я с прошлым запросто, как с будущим, балакал.  
Поставлен на кон быв или посажен на кол,  
и счастье зараз, и горе я проплакал:  
одна чиновная осталась сухота.

## 5

Расписки, описи, отчеты и счета,  
приказы, песенки, записки и тетради...  
И самому себе теперь я не чета.  
Меня, о Господи мой Боже, не укради!  
Да о какой уж тут подумывать отраде  
на сем, пожалуй что, предсмертном плац-параде  
(когда и жизнь моя еще не начата)?

## 6

И моего ума уже темна палата,  
и служба жизни мне воистину пуста.  
«А что есть истина?» – грозят уста Пилата  
согнуть распятого с бессмертного поста.  
Но на сердце, как грех, наложена заплаата.  
За службу жить и жить мала была зарплата.  
Фиг с маслом выслужил. И лататы с креста!

## 7

А я забит колом в булыжный день забот  
да и забыт собой, как родственник на снимке,  
и мой бумажный день неистово идет,  
чиновно я гребу и гривны и ефимки,

и наострился жить без кривды, без ужимки,  
а ведь живу-то я как имя на заимке,  
сложив в чужой архив всё тот же новый год.

*1–7 января 1975*

\* \* \*

Шла коляда из Новагорода,  
а дед-пасечник шел на пчельник.  
Подводило сердце от голода,  
приводило время в сочельник.

И какого ляда колядовать?  
Где голодному кобелю блядовать?

По рукам трепыхались елочки,  
брань посыпалась с верхней полочки.  
Воссия свет разума миру  
то ли в Лондоне, то ли в Кирове.

А работушка-матушка обмерла.  
Так давай от души, вали из горла,  
и поужинашь, как положено ж.  
Рождество Твое, Христе Боже наш!

*7 января 1975*

\* \* \*

Под роком нашим общим  
живем мы широко  
и на него не ропщем:  
не рок, а рококо.

И никакого шиза  
в нас, может быть, и нет:  
ты – над окном маркиза,  
я – просто маркизет.

И если день не светел,  
то нас во всю-то мощь,  
как тряпки, треплет ветер  
и поливает дождь.

Мы повторяем кратко  
(а то и триста крат),  
что ты аристократка  
и я аристократ.

Как лодочку, погоду  
пускаем по реке.  
Проходит год по году  
в высоком парике.

И наши оба рока  
понять совсем легко:  
судьба была барокко,  
а рок стал рококо.

*31 января 1975*

## МУЗЫКА фуга

Ты – музыка моя. Долбят вороны стерво.  
Былого мне, как падали, не жаль.  
И на костяк натягивает нервы  
(кто?) дева-арфа или бык-рояль?  
И пальцы звуки рвут из тела, будто клювы.  
Пространства струны дышат наготой,

и сотворю я прелюды, как прелюбы,  
и, словно ветер, задевает губы  
прозрачной арфы гребень золотой.

Время – лопнувшая скорлупка.  
На библейских гусях сотки  
песню черную мне, голубка  
(кровью крашенные коготки).

Ну а с песней – куда сбегу с ней?  
Я от музыки зол и наг.  
Как твой вензель, вонзились гусли  
прямо в мясо – нагрудный знак.

Но с твоей-то игры нетрудной  
невелик будет Богу спрос.  
Продирает сей знак нагрудный  
смертной музыкой, как мороз.

Ты – музыка моя. Пусть это так, но надо ль,  
чтобы колом забит был каждый звук  
в загробье? И долбят вороны падаль,  
роняет снег насупившийся сук.  
Слетает снег с нахолодившейся брови,  
сгибает арфа музыку в дугу,  
и у голубки лапки цвета крови  
бегут строкою красной на снегу.  
А снег полег, как белая кошма,  
и жизнь обита войлочною толщью,  
как герметически закрытая зима.

Бредет рояль, рыгая черной желчью,  
и с белых губ облизывает мед –  
трехногий бык, медведь иль бегемот.  
А может быть, и просто богомет.  
Ведь боги были будто первозвуки.  
Но, музыка моя, к тебе попали в руки.

Стоит зима, обитая кошмой.  
В уюте юрты косоглаз киргиз.  
(Сим самоинородцем стал не я ли?)  
Клочки фланели в вымершем рояле  
дерут маркиз де Сад и дюк де Гиз.  
И музыку рояль беззвучно и беззубо  
жует, когда подносит монна Люба  
ему в ладонях горестное пойло  
и дергает его за сумрачное войло.

Как мягко мне! Фланель, и войлок, и кошма.  
(И, как предсмертие, душна зима.)  
А клавиши из-под твоей руки  
острятся, как последние клыки.  
И по предсмертью, точно по предместью  
(любви), скрипят деньки от Января  
и улыбаются смиренной мезью,  
в насмешку Господу прелюбы не творя.

А кошма-то – втай кошмар,  
как наждак шершавый.  
Ждет настырно стайка шмар  
где-то за Варшавой.

Шмары-мавки, ваша грусть  
до не-дуры Кубы  
гонит страстью – наизусть  
исполнять прелюбы.

Знаку, ордену, звезде  
медленно внимая,  
обезумела везде  
музыка немая.

Знаю, будет где-нибудь  
(в Будапеште ль, в Пензе ль)

приколочен мне на грудь  
музыкальный вензель.

Ты – музыка моя. Зачем ты пошутилась  
и навертела impromtu?  
Жизнь как тюрьма изрешетилась,  
а музыку замкнули – и тю-тю!

В железах музыка. И тот, кто музыкален,  
играет узами. И не его вина,  
что отбивают звуки из окалин,  
что горн дымит и музыка черна.

Конечный бог она иль бесконечный?  
Молчанье, чары или просто чад?  
Рояль дрожит от нежности кузнечной,  
а зубы желтые от старости стучат.

Я самоинородец. Скорбно-хамской  
судьбою косоглазой я рожден,  
и нотной грамотой великоханской  
уже с рожденья был я награжден.  
На даль, как на педаль, я жму, но всё равно ты  
молчишь. Шерсть на кошму идет, а я на шерсть.  
И шертую тебе я до последней ноты,  
ибо ты – музыка моя и смерть.

*1–2 февраля 1975*

### **ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА**

В магическом кристалле,  
наука, свирепей!  
А истины пристали,  
как к заднице репей.

Я без переполоха  
эпоху проживу,  
в кусты чертополоха  
пойду на randevu.

Но на свиданку к правде  
таскаться – ой-ой-ой!  
Скажи-ка ей, что прав-де,  
и сразу в зуб ногой!

А коль на мне креста нет  
и я матерьялист,  
то истина пристанет,  
как к жопе банный лист.

В магическом кристалле  
всё зримо нам вовне:  
нас боги обдрили,  
а мы царим в говне.

*4 февраля 1975*

### **Я СПЛЮ**

Я сплю без задних ног и заднего ума.  
Основы сна, должно быть, очень крепки.  
Натружен сон, но труд сей задарма.  
Повыверну нутро – и будет бухтарма,  
и вижу: дедка подобрался к репке,  
и хочет он ее лишить простоволосья,  
пуская по ветру сердечную соплю.  
Из сказки кличет внучку. Но авось я  
по полной правде только сплю да сплю.  
И, как из черепа, воробышек из каски  
водичку пьет. А я свой сон, как саван, рву,

и сон трещит по швам. И сказки,  
что вещи, существуют наяву.  
Нет ни крещения, ни похорон,  
и испаряется стоячее мгновенье.  
И, как апостол Петр, суровый Кальдерон  
мне открывает рай: «La vida es sueco».

*7 февраля 1975*

\* \* \*

Расту как уши – выше лба.  
Люби ж меня, Лукерья!  
Я верю только в барчум-ба,  
ну да еще в неверье.

Тик, так иль тук? Не всё равно ль?  
Люби же, друг сердечный!  
Ведь обращусь я скоро в ноль,  
без палочки, конечно.

Но будет где-то благодать,  
сколь доброго ни херь я.  
Так бросим палочку кидать,  
любезная Лукерья!

*12 февраля 1975*

## СОБОР СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

Стоит небесная громада голубая,  
пять медных солнц над ней вознесены.  
А век вертится рядом, колукая  
кусочки сини со стены.

Чуть слышится барочный образ трелей,  
певучих завитков намеков.  
Но музыка молчит. Вколочен в гроб Растреллий,  
а день как тряпка серая намок.

Кто мчится напрямик, а кто живет окольной,  
кто на банкете пьет, а кто так из горла.  
По-вдовьи толст собор без колокольни –  
она, воздушная, в девицах умерла.

Воспоминание о ней – как о кадавре,  
на чертеже она рассечена.  
Сестра ее на променаде в Лавре,  
как дама в робе, всё еще стройна.

А церковь вдовая ушла подальше  
от медного болвана на скале  
и, вроде позабытой адмиральши,  
стоит облезлым небом на земле.

*24 февраля 1975*

\* \* \*

Поехал Кавказ набекрень, как мозги,  
и в вихре грузинской лезгинки – ни зги.

У зла и добра не осталось примет.  
В усатой папахе белеет бешмет,

а как я с похмелья глаза подниму,  
так красные пятна летят по нему.

Аврора не так озаряет Казбек,  
и пляшет бешмет, ускоряя разбег.

Как висельник, пуст, он сорвался с креста,  
готовый прирезать младенца Христа,

прирезать младенца Христа на шашлык, –  
и кверху ногами любой панталык.

Огромный баран наживает курдюк.  
Кинжалом истыкан растяпа бурдюк.

В ущелье гуляет на цыпочках ширь.  
Из ран бурдюка вытекает чихирь.

Вкруг пальца зурны задрожал барабан,  
и пляшет лезгинку со стадом чабан.

«Папаха! Папаша!» – ликует ашуг.  
Танцуют Казбек, и Бешту, и Машук.

Шашлычьи затеи и кровь дочерна.  
Перстом помавает над пиром зурна.

И пир – как поминки, козлиная рать.  
Не Глинке такие лезгинки играть.

*27 февраля 1975*

### **ФУГА С АЛЛИТЕРАЦИЯМИ**

Куда удрать мне из дремучей драмы,  
портрету Икса из надгробной рамы?  
Не осуждая, жду, как ждет меня вражда.  
Грусть Грея – грех и кладбищу чужда.  
Умы лежат на нем, как выгребные ямы  
(многожды в них была великая нужда).  
Так и кончаемся за други за своя мы,

задрыги грешные. У каждого свой скит  
и каждый, будто в Белом море кит,  
чернеет. А в стране раскиданных раки,  
черниц, поникших ниц, просторов безголовых  
и нежных осеней простоволосых  
безносый дядя, как большой философ,  
слуга богов и властелин колоссов,  
орлом в большой нужде сидит.

По жизни, как по роще, бродит нежить,  
голубить любит, тормошить и нежить  
(и можно мавок и кикимор пежить).  
А пажить мокнет на кривом холме  
(как после драки встрепанный хохол).

И ходит Нечто в ум, с ума, в уме,  
как без штанов божественный глагол.  
И он вещает, бляди-коби зная:  
«Потребна яди яма выгребная».

На берегу, темнея от луны,  
валяются занудные лгуны –  
то валухи, то валуны,  
а то обглоданные колдуны.

А ну их, башни, пашни, шашки, шашни!  
Играть с утра неловко в поддавки.  
И я, сам-друг с историей вчерашней,  
засим во всем сошлюсь на Соловки.  
Прошу, как человек великосветский:  
ты, время, – пастырь, но мне не настырь!  
Ступай себе в колхоз рыболовецкий!

Мой сон – из камня, словно Соловецкий  
автокефальный монастырь.

*1–9 марта 1975*

## ПОД АНАКРЕОНТА

Встал, но впусе, кипарис  
посредине лета.  
Ходит в кустики Парис.  
Испарись, испарись  
ты, хмельная Лета!

Крепче музыки токай.  
Прямо из балета  
ляжет баба-растегай.  
Утекай, утекай  
ты, хмельная Лета!

Кипарис торчит копьём,  
ну а на земле-то  
хватит нам забот с бабьём,  
и мы пьем, и мы пьем,  
и далеко Лета!

*11 марта 1975*

## ВЕДЬМА

Многосоставно Божье естество,  
а люди – вроде бы Его подобья.  
И вся природа – чье-то колдовство,  
пронизанная взглядом исподлобья.

Но вся природа – нет, не белый воск,  
а дрожь в пупырышках по коже куриной  
иль выложена как на блюде мозг,  
как липкие наплывы стеарина.

И если чуда нет, то надо колдовать,  
чтоб возвеличиться иль умалиться,

и будут ведьмы дьяволу давать,  
а Богу потихонечку молиться.

Как голые ветви  
изогнутых лоз,  
по воздуху ведьмы  
заводят психоз.

Бычка бы за рожки!  
Со звоном в залив  
глядятся сережки  
расхристанных ив.

Срывая рубашку,  
несется дотла  
душа нараспашку  
и тела метла.

Великое науки ведовство,  
но вся природа – чье-то колдовство.  
Не бабы пляшут и не мужики,  
а с ведьмами дерутся ведьмаки.

И всё на свете только ведь да ядь  
(да ты и я), и если плоть разъять,  
то даже престарелые бздуну  
и те по-своему суть тоже ведуну.

На беду себе колдуя,  
тронешь слабую струну –  
и любого обалдуя  
превращаешь в Сатану.

Ворожу я на бумаге  
и любое шутовство,  
как египетские маги,  
превращаю в колдовство.

Но могильный холм Хеопса –  
острореберный погост.  
А любимый как наебся –  
сразу на сторону хвост.

Блажь на блажь! И все баш на баш  
чихом души на тела.  
И шумит речами шабаш  
возле чайного стола.

А блюдце с чаем – словно озерцо,  
и из русалки сделалась ветла.  
Редает ночь, и кажется светла  
дорога из толченого стекла.  
Как губы, криво ведьмино лицо,  
и ходит тела дворничья метла.

*20 марта 1975*

\* \* \*

Девять лет тому назад  
ты была мне Муза,  
а теперь я стал пузат  
и пишу от пуза.

Девять лет назад тому  
быть пришлось мне битю,  
но себя я в кортому  
не сдал с горя быту.

Это ты ему сдалась  
и бытуешь тихо,  
то ли молча сгинув с глаз,  
то ли как шутиха.

Горя слезный урожай  
в сердце заамбарен,  
и живу уже, ай-ай,  
будто жирный барин.

Урожай-то я сложил,  
горе колосится,  
только не мешает жир  
мне, увы, беситься.

*Ночь 25 на 26 марта 1975*

## MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.  
А когда умру?  
В Успенье  
или в день  
усекновения Главы  
Иоанна Предтечи?  
Сам Господь сказал мне,  
что мироздание –  
на темной научной гуще  
гадание.  
И как хорошо, что я к старости  
не ведаю ничегошеньки.  
Шестьдесят четыре года  
мне начислила природа,  
и от этих лет я сед,  
самому себе сосед.  
И напрасно Большая Медведица  
к нам пытается присуседиться.  
Не сидится ей и не едется.  
Вся вселенная – гололедица.  
И живет полноценными сутками  
пейзажик с болотцем и с утками.



Староватый такой пейзажик!  
А годы это пейзажево  
пожирают мерно и заживо.  
Год по году я отломал,  
а сам еще подло мал,  
сам себе поперечная трещина.  
А между прочим,  
я родился в Благовещенье.

*7 апреля 1975*

### РУССКИЙ РОМАНС

По месяцу ездили белые тени,  
и ночь зеленела, как свежий листок.  
Два голоса встретиться очень хотели,  
и, темен как холм, поднимался восток.

Как жребий, по каплям вода упала,  
и в сумрак смешались слова и дела.  
На белую ручку цыганка гадала  
и черной рукою ту ручку брала.

Глубокие пятна синели на теле.  
Как жеребьи, падала где-то вода.  
По месяцу белые тени летели,  
и, кажется, не было нас никогда.

Гитара страдала, гитара рыдала,  
и черт ее знает, что ночь наврала.  
Цыганка гадала, цыганка гадала,  
цыганка гадала, за ручку брала.

*19 апреля 1975*

### РУССКИЙ РОМАНС

Девушка сердится  
милая вновь.  
Крутится-вертится  
эта любовь.

Ее закружили  
цыганские предки  
в таборе или  
близь оперетки.

Руками своими –  
веревка и гвоздь.  
Красное имя,  
черная кость.

Нас с тобой сам Бог заметит,  
не погасших на лету.  
Самолет в тумане светит,  
набирая высоту.

Девушка вертится,  
черная бровь.  
Побелу чертится  
эта любовь.

Ее начертили  
черти рейсфедром  
на ватмане или  
тушью да ветром.

Губами твоими  
командует злость.  
Красное имя,  
белая кость.

Нас никто не обызветит,  
не погаснем на лету.  
Нам шофер в тумане светит  
и сигналиит на мосту.

*24 апреля 1975*

## РУССКИЙ РОМАНС

Сердце тарахтит в моторе.  
Ночь – побег в большой гурьбе,  
и простор, как крематорий,  
принимает нас к себе.

Ночь белеет, повисая,  
как воздушные мосты,  
и опять совсем босая,  
как прохлада, рядом ты.

Всклянй простор отрадой налит  
и, как стопка с водкой, чист.  
На мосту опять сигналиит  
заблудившийся таксист.

*24 апреля 1975*

\* \* \*

Имя зодчего да будет втайне похоронено!  
Полно! Строили тебя и вправду мастера ли?  
Ох ты гой еси, огромная стеклянная хоромина,  
или для рептилий ты террарий?

Не кокотничество ли такое зодчество?  
Только кажется американскою кокеткой.

Быть тебе дворцом без имени, без отчества,  
зданием номенклатурным с этикеткой.

Сколько жизни ты соседям поковеркало,  
лихо ты безликое, само не вяжешь лыка.  
Впрочем, вру: прекрасно ты, как зеркало,  
где Архангельский и сам Иван Великий.

*27 апреля 1975*

## ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ фуга о Грибоедове

*Памяти Тынянова*

Какая ночь! Как далеко Россия!  
Мохнатая, как шуба, спит Москва.  
Чего у Господа ни попроси я,  
всего наобещает сей вития,  
и я иду вершить деяния пустые,  
а под рукой – одни слова.

Во тьме собаки, звезды и грузины,  
как в зодиаке некоем, сошлись,  
а эти горы, как с бельем корзины,  
глядят прохладно утром на Тифлис.  
Старик, как чебурек горячий в бурке,  
усы повесил, фиги сторожа.  
А государь балует в Петербурге,  
Анету в кабинете разложа.

Что делать мне с моей грузинской ночью,  
когда судьба мне – не кума?  
Уже подходит жизнь ко многоточью,  
а мне еще полгоря от ума.

Шепчу я, как молитву, имя Нины.  
Хоть это слово, слава Богу, есть!  
А у княгини завтра именины,  
и жизни снова окажу я честь.  
И вовлекусь в какую кабалу я,  
раскрыв, как потаенный ларчик, ум  
и сладких дам остротами балаю,  
как будто поднося рахат-лукум?

А где-то копится последняя промашка  
и грядет, точно снег из облаков.  
Лежит, как Волга, мой счастливец Сашка,  
за четверых храпит он бурлаков.  
Жизнь у него румяная, как Машка.  
Знай мни ее! Вот счастье простаков!  
А он, мерзавец, именно таков.

Стоит Тифлис в окне, как призрак исполинский  
(болит, как после бала, голова).  
Плывет огарок, и в ночи грузинской  
как далеко мохнатая Москва.  
А в Питере спит лепная позолота.  
Столица важничает, как мундир царя,  
и, как прозрачное холодное болото,  
чуть зеленея, зыблется заря.  
Всё было... И умишко санкюлота,  
и непробудный сон богатыря,  
и лесь, и месть, и прегрешенье Лота,  
и, честь-капризницу боготворя,  
стрельба из пистолета... То-то!  
Всё это было – и, пожалуй, зря.

А что еще? Смиранный голоштанник,  
но в пляске парень удалой  
вертелся, будто бес, средь сарафанных Танек,  
не помышляя заорать: «Долой!»

Еще князь Федор, физик и ботаник,  
стоял под книгою, как аналой,  
и на параде полк румяных Ванек-встанек...  
Oh, ces roussahs...\* И где-то я былой.

Как иноземец я, зажатый в холод русский.  
(Ужель высмеивает забияку трус?)  
Торгую я собой с усушкой и с утруской.  
Плюй мне в лицо, а я, смеясь в кулак, утрусь.  
Себе я труден, как язык этрусский.  
(С бумагами пожалуйста к утру-с!)

Мне умирать, пожалуй, и не рано.  
Но року не положишь пальца в рот.  
И доведет меня до Тегерана,  
как под руку, плюгавец Нессельрод.

А ночь в Тифлисе темной дебри глуше,  
не слушает меня спокойный человек,  
усы развесь и повесь уши, –  
старик, теплеющий, как чебурек.

Я просто самому себе оратор,  
пророк, каких распиливали встарь;  
а в Петербурге стынет император,  
во фрунт поставленный царь-государь.

И если я у персов уцелею,  
то орден и мне перепадет.  
И ничего я больше не жалею.  
Россию разве? Но Господь и с нею.  
И кругом ночь, как голова, идет.

Нет, с детства никакой не знал я веры.  
Я жил в обычае (и, сколько мог, блажил),

\* Ох, эти неваляшки... (франц.)

но не ломал я, как безумец, меры.  
И всё же не скажу, что подло жил  
(лишь раз свинью себе же подложил).  
Бывало, что бесился и тужил,  
но не изображал я недотрогу  
и кривду жаловал (когда была нужда),  
но меры не ломал я, слава Богу,  
со временем не шагивал я в ногу.  
Вот разве с дамами? Так тут уж да!

Писал о мере некий немец Гегель  
(валяй себе и дале, пустословь!).  
А мне предстала деревянной кегель –  
хоть бей шаром по ней! – сама любовь.

И не с кем драться мне и некому молиться.  
Россия, Персия – одна ебена мать.  
До инока я рад бы умалиться  
и самого себя сломать.

Какие розы расцветут в Тавризе?  
Где суждено мне голову сложить?  
И долго ль буду, словно попик в ризе,  
молебны за куруры я служить?  
У этой ночи много разных версий,  
кровавых, муторных и славой осиянных...  
Горячих, словно очи или перси  
по-псиному послушных персиянок.  
И всё такая пусть и мерзость, право,  
что даже лень что-либо понимать,  
и стал я сам себе одна отравка...  
Россия, Персия... Одна ебена мать!

Тифлис – как сифилис, а горы – будто гуммы.  
Куда ни сунешь нос – сплошной провал.  
Подушке так и той поверить страшно думы  
(которые всю жизнь я от себя скрывал).

Как в дебрях ночи, здесь еще в своем уме я.  
Жиреет ласково княгиня Саломея  
и ждет меня, глазаста и нежна,  
пылающий дитеночек-княжна  
(как партию, которая нужна).  
Ужель, вкусив тебя, мой червячок восточный,  
я зацеплюсь за жизненный крючок?  
(Какое крючоктворство!) Но уж точно,  
что проглочу тебя я, червячок!  
Ведь ты моя последняя приманка  
в реке времен и мутной и пустой;  
грузинка, россиянка, персиянка –  
мне всё равно, что с этою, что с той!

Ужели я всю жизнь толоч водицу в ступе?  
(Но вон глаза тому, кто поминает старь!)  
И стал теперь себе я недоступен,  
как тот студёный в Зимнем государь.  
Так что же, в длинный гроб я уложусь  
или до тайного, быть может, дослужусь  
и буду жалобно кивать из кресел,  
паралитически, как дедушка точь-в-точь?  
Не сплю я. А старик усы развесил  
на всю грузинскую таинственную ночь.

До тайного? И в тайном – уйма фальши  
(а смерть, быть может, и еще фальшивей).  
Сиди в Тифлисе, от ума паршивей  
и в ящик сыгрывай! А что же дальше?  
Нинуша с пенсионом генеральши.  
Жизнь сыграна. Но как без нот соната.  
Ужель и перед смертью бабу мять?  
В Тафризе – розы, а Москва мохната.  
Россия, Персия – одна ебена мать!

*29 апреля – 5 мая 1975*

\* \* \*

Торчит предначертанье,  
как в гроб забитый кол,  
и всё есть сочетанье  
перегоревших зол.

Но не сгорела древность,  
и встала над четой  
серебряная ревность  
на свадьбе золотой.

И всех нас, этих прошлых,  
минувших и былых, –  
как дратв и ниток в прошвах,  
и крепких и гнилых.

Кроя, поря, латая,  
то ну, то ах, то трах.  
А свадьба золотая  
летит на трех одрах.

11 мая 1975

### **ЛИБО – ЛИБО фуга о Киркегоре**

Я сам с собой живу, с умом да с Богом дальним,  
и я зажат в молчке, как в кулачке.  
А люди добрые живут по спальням,  
как на тычке иль на толчке.  
Нет, Копенгаген мне не стал столицей –  
из кабаков, из фонарей, из дам.  
Я мало дани взял, но, как Господь, сторицей  
за это доброй Дании воздам.

Как арестант, в ограде из крестов,  
гулял по кладбищу на косогоре,  
гонял, как лошадь в цирке, горе  
и жить учил ее во сто хлыстов.  
А горе слушалось. И я готов  
был позабыть о Киркегоре.

Так будь, земля, мне пухом или прахом!  
Мне тошно быть немецким логомахом,  
и рад бы я к тебе единым махом,  
а ты, великая старинная перина,  
прими раба Господня Северина!

О Господи! Как пуст английский сплин!  
Но я-то сам живу не без подмоги ль?  
А жил по разуму! Разумен был Берлин  
и Гегель, липкий, словно гогель-могель.  
Он в разуме сидел, как пес цепной в халате,  
в палатах обитал высокоотрешенных,  
а место вам, профессор мой, в палате –  
в палате для умалишенных!

Когда увязну по пояс в беде я,  
когда от кашля лихорадит ночь,  
то самая толстенная идея  
худеет и, как тень, шагает прочь.  
Пятак цена законам вашим, если  
я вам не Киркегор, а только Человек!  
Дай Бог, чтобы подошли вы навек!  
Дай Бог, чтоб вы и не воскресли!  
Вы – тень от разума в моем житейском кресле.  
Я сдуну вас. Weg, Herr Professor, weg!\*

Остались от отца мне денежные средства.  
И с горя я пишу и даже книги

\* Прочь, господин профессор, прочь! (нем.)

печатаю, да только за свой счет  
(жизнь по канаве всё еще течет),  
они – на мне великие вериги.  
Но веру от отца я получил в наследство!  
И как уж я ее насмешкой ни ломал,  
а оказался против веры мал.

Однако в жизни я не верю чудесам.  
Мне горе – крепость и моя твердыня.  
Прости мя, Господи, но в сем моя гордыня,  
и только в горе я бываю сам.  
А существую я, лохматый и неточный,  
когда иду как дождь по улице Восточной,  
которым не смываются грехи,  
а мне вослед мальчишечье «хи-хи!».  
Как громко голосует Новый рынок!  
Собрание людей, окороков и крынок.  
Иду – и как чудак я знаменит,  
а вялый дождь за мною семенит,  
как миллион бесплодных икринок.

На улице с людьми встречаясь – черт возьми! –  
предпочитаю говорить с детьми.  
Пусть слабая, но есть надежда тут,  
что в разум малые сии войдут  
терпением, добром иль даже силой,  
а от вошедших – Господи помилуй!

Я верую и бью поклоны скверам,  
где липы стали общею судьбой.  
Смеюсь и над попом, и над невером  
(а еще пуще над самим собой).  
Дождь икряной бесплоден и прозрачен.  
Жить на авось и бедным, и богатым!  
И выбор – наугад. И смех мой мрачен,  
как тучи над пустынным Каттегатом.

На тучи и на дождь я не сержусь.  
Одно твержу – что горем я горжусь,  
что в горелюбы Божии гожусь.

Волнуются трехцветные французы,  
и капли просвещения моросят.  
Как девки пьяные, растерзанные Музы  
на рынках голосуют-голосят  
(и режут мужики под Пасху поросят).  
Скажу я Музам-оборванкам снова:  
«На что она вам надобна, Бог весть,  
кабацкая свобода слова,  
когда у вас свобода мыслить есть?»

А есть ли? Есть ли у любого  
свобода мыслить, или он  
пожизненно с рожденья обречен  
на всё не свой давать ответ,  
а только выбирать меж *да* и *нет*?  
И ваша логика, профессор, – околичность,  
ненужная для жизни ерунда.  
На правду выйдет мудрая жильда!  
Быть и не быть зараз не может личность,  
и в жизни ей подай иль *нет*, иль *да*!

Так вот и выбираем сами все мы  
иль царство Божие, или огромный Хер.  
И сам я некий род философемы,  
философемы личности, *mein Herr*!  
Мне ваша мудрость встала костью в горле.  
На свалку мудрость, как одер, свезу.  
Да разве ею вы хоть раз утерли  
у нищих хоть единую слезу?  
А люди, *Herr Professor*, очень нищи,  
и даже гении изрядно наги  
и преисполнены вонищи,  
а духовиты только на бумаге.

Ум – как на поясе висящая мошна,  
а человек живет и ходит, руки в брюки.  
А нравственность и в жизни, и в науке  
страшна уж тем, что старчески скучна.  
И всё ж мы ей до тошного послушны  
по той причине, что все люди скучны.  
И тот, кто сам себе не надоел,  
других великой скукой утомляет,  
а кто скучает и в пучине дел,  
тот сам других собою забавляет.

И ночь Твоя всей сворой, Боже, лает.  
Я и себя и ночь так и разнес бы в дым.  
Но кто поистине и всем нутром своим,  
кто, даже самый жалкий, пожелает  
быть не самим собою, а другим?  
Себя он не уступит и на треть.  
Ведь стать другим и значит – умереть.  
А посему переселенье душ –  
для всякой личности чудовищная чушь.

Я в нотах жизни – только знак бекара,  
но все еще куда несут ноги.  
Покой мне не в укор, а просто кара.  
И жить могу я только во тревоге.  
Стою я по пояс среди разлива,  
среди половодья жидких дней.  
А надо ли стараться жить ровней?  
Ведь личность лишь тогда воистину счастлива,  
когда трагедия бушует яро в ней.

Почти забыл я думать о Регине.  
Она ли сгинула или сгинул я ее?  
Давно я кинул вас, благие инокини,  
и вас, нагие бедные богини...  
Вы кто? Объемлющие жизнь рукини

или любострастные ногини,  
в постель впадающие, как в жите-бытье?

А мне от Господа запрет на сладострастье,  
и живы мечь во мне да зависть старика.  
Но горе – крепость мне! Да здравствует несчастье!  
Вблизи чахотка, а Регина – далека.  
Она прошла – как оттолкнула локтем...  
О чем же Бога мне теперь просить?  
Ворота, что ли, вымазать ей дегтем?  
И как далекий локоть укусить?

Мгновенье всё, как миф, переиначит  
(а миф по жизни – словно бычий мык).  
Но миг есть всё. А это значит,  
что женщина есть всё на этот самый миг.  
Ну а потом она, как изречение,  
написана душе в альбом на поученье.

А что я в этой мудрости пойму?  
Но впрочем, кажется, могу я поручиться,  
что кончен человек, когда ему  
уже не стало ничему  
у барышни молоденькой учиться.  
Я не люблю справлять панафинеи  
и праздничного не урву куска.  
Нет у меня любовницы вернее,  
чем эта черная косматая тоска.

Стою я, мышцей разума напряжен,  
и свод высоких бед несу я, как Атлант.  
Чтобы отчаиваться, дар совсем не нужен,  
но для сомнения необходим талант.  
И проповедую я городам и селам:  
«Кто может (ах, да что и говорить!)  
по воле собственной бывать веселым  
или по желанью личному хандрить?»

Я не ряжусь в павлиньи перья  
(ворона нищая прекрасна и сама!),  
но помню, что по десять раз на дню  
мне про общественность разводят болтовню  
либо наследственное лицемерье,  
либо злокозненность лукавого ума.  
Безделки всякие, пустышки и пустяшки  
для пользы жизни, может быть, даны.  
А жизнь уму – как тощие подтяжки,  
чтобы хранили в тайне срам штаны.

Недужно всё – собор, базар и дождь,  
и сам я тоже даже Богу тошен.  
И от чахотки тихой стал я тощ,  
но сам в себе по-прежнему дотошен.  
Не лезу в лекари, не обращаюсь к врачу  
и золотым дождем не каплю на Данаю.  
А только по ночам строчу, строчу, строчу,  
ну а зачем, и сам не знаю.  
Во многословии мое отмщенье  
как идол высящемся неверу.  
Застенчивые люди от смущенья  
бывают разговорчивы не в меру.

От философских воробьиных писков,  
от мелкого дождя по стеклам я оглох.  
А тут еще мне поперек епископ,  
которого послал мне назло Бог.  
Ты, Боже, милосердный мой каратель  
за то, что непокорствует мой дух.  
А что епископ? Просто надзиратель,  
баранам всей Зеландии пастух.  
И ходят и лежат в кладбищенской ограде  
стада всеторгашей и всеблядей.  
Страдаю самого себя лишь ради –  
избави Бог страданья за людей!

Но из избы не вымету я сора,  
хоть я среди мусора уже давно голик.  
И у меня с собой по полной кривде ссора  
за то, что я по правде многолик.  
Меня, горбатый век, попробуй-ка исправь!  
Без проку будем мы с тобой пеняться.  
Я – глаз такой, который вставлен в Явь,  
а таковому должно изменяться.

На что я годен, право, не пойму.  
Мои дары – Сизифовы камня.  
Способен я на всё, не гожа я ни к чему,  
а это – редкое уменье.

И как же я боюсь помолодеть,  
как страшно мне хоть чем-нибудь владеть,  
хотя без робости со всем борюсь  
и всё ввергать в сумненье не боюсь,  
хотя сумненье – самоистязанье  
ничуть не меньшее, чем знание.

Ум – лавка бакалейного пошиба,  
горчично-леденцовый рай.  
(А в общем-то ни мясо и ни рыба.)  
Торгуй чем хочешь, вешай, привирай  
по-своему, то так, то этак, ибо  
на вывеске судьба висит окрай,  
как старая мифическая глыба...  
И вечный выбор в лавке: либо – либо,  
и вся-то жизнь – ложись да выбирай!

*17 мая – 17 июня 1975*



## В ТРОИЦЫН ДЕНЬ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ

Живые приходят к мертвым  
посмертно их почесть.  
Живых-то как бы и нету,  
а мертвые как бы есть.

Живые мертвым приносят  
живые же цветы,  
а мертвые их не просят,  
над ними немые кресты.

Но в день Пресвятыя Троицы  
живые к мертвым идут,  
приглаженные пропойцы  
на кладбище чинно пьют.

Орехи, яйца, конфеты  
уже на могилах лежат,  
и кажется, было это  
и десять веков назад.

На кладбище здесь всё то же,  
забыто сидеть и пить.  
Прости же им глупость, Боже,  
но не мешай глупить!

*22 июня 1975*

## ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА НА ПОЛЕ

Старушка Божья! Не дрожишь  
от лиха мерзостной природы  
и в каменном веку колоды  
как схимница полулежишь.

А век могилы? Или с твоей  
он будет? В землю ты зарылась,  
холщовым небом и листвою,  
сурово глядя, принакрылась.

Играя, плещется листва  
над куполком твоим потертым.  
Клянц остаткн естества,  
ты ждешь во гробе Рождества,  
еще жива на поле мертвом.

*22 июня 1975*

## ЭЛЕГИЯ

Тебя знавал я, милая варварка,  
когда была ты в Риме рабынею,  
но даже самых звонких модниц  
ты затмевала своей походкой.

Шел слух широкий: ты-де Юпитера  
сманила с неба ночью прожженною,  
и на тебя он опустился,  
как вертолет, трепеща крылами.

Сманить сманила, гипнотизируя,  
не хуже бойкой дамы в Лютеции,  
но не далась, и бог взорвался  
гневом, как громом пироксилина.

Стоял Юпитер, бог ошарашенный,  
стоял отбрнтый и как ошпаренный,  
а ты смеялась горделиво,  
что у тебя-де свои есть боги.

Что ты не хочешь тучегонителю  
быть вроде хобби или мочалкою,  
что ты жила в свободном мире,  
где уважают нежадных женщин.

Тебя знавал я, милая варварка,  
со мной была ты очень ласкательна,  
а пред Юпитером белела,  
словно новехонький холодильник.

25 июня 1975

## НЕЛЬЗЯ фуга

... ужаснулись бы, что настоящая поэзия  
с человеком делает.

*Лесков*

### 1

Я не могу сбежать от собственных громад –  
всесилия, сомнения, тоски.  
И каждый шаг – как шах, и каждый миг – как мат,  
а силы нет еще сойти с доски.  
И силы нет пожертвовать ферзя  
за пешку, за пространство, за атаку.  
Живу я, самому себе дерзя,  
себя таская сбоку, как собаку.  
И всей судьбой стою: «Тубо! Нельзя!»

А правда ли, что сей трагический запрет  
стоит законом позади и пред?

Уже нельзя гоняться за трамваем,  
нельзя отмахивать по полусотне верст,

а ходишь, ветерком чуть-чуть качаем,  
и так живешь, что сам собой не чаем  
и даже иногда не замечаем,  
как будто и не сам сидишь за чаем.  
Нельзя хватать, как прежде, с неба звезд.  
А ежели и схватишь, так на грудь,  
и грусть одна – такой звездой блеснуть:  
она пуста поэту, как ракушка,  
а старику и вовсе побрякушка.

Нельзя, как прежде, предаваться бредням  
о жизни, об удаче и добре,  
нельзя по грудь в воде рыбачить бреднем,  
ни плавать вместе с листьем в октябре.  
Нельзя мне приголубить и пол-литра!

Лицо размазано, как сохлая палитра  
(хотя живу еще, на месте егозя),  
и даже в Питере мне жить нельзя.  
Нельзя раскатывать по белу свету,  
нельзя кричать: «Карету мне, карету!»  
На мир, ей-богу, мне досугу нету.

А если ездить – только в колымаге,  
от пункта А себя до пункта Б возя.  
Я всё могу, да только на бумаге,  
а в яви ничего почти нельзя.

Кончилось мое кавалерство: я – старик.

*Лесков*

Нельзя держать за пазухой надежду,  
а можно только жить в каком-то Между.  
Нельзя ни волочиться, ни влюбляться,  
и уж тем более – нельзя любить,  
недолго ведь любовь – увы, какое блядство –  
единым взмахом чувства погубить.

Однако с жизнью всё еще друзья мы,  
встречаемся, пожалуй, каждый день,  
глядим – она с небес, а я из ямы,  
дарим друг другу ржавые изьяны,  
и наша дружба – как большая лень.

2

Увы, возможно всё! А это значит: где-то,  
лукавым пальчиком кивая и грозя,  
раздета жизнью и судьбой задета,  
как острым локтем, есть и Лъзя.  
Какая же? Как Эльза, белокура?  
Или похожая на попадью?  
Иль стерва добрая, которая в ладью  
посадит Лоэнгрин-бедокура,  
как в лужу, и махнет ему: «Гуд-бай!  
Отчаливай-ка, разъебай!»  
И, не сердчая, этакая Лъзя  
железные опустит жалюзя.

Судьбой я одарен (и по башке ударен).  
Судьба, морзянкою мне музыку мерзя,  
стучит, а я – по естеству татарин,  
и Лъзя мне, может быть, ясырочка-марзя.  
Иль, может быть, она таится близко  
и осеняет все мои гроба,  
в миру тоскливом Лизка иль Лариска,  
а около меня такая черноризка  
глазастая и плоская, как фреска,  
стоит и смотрит преданно и резко,  
Господня умница и нежная раба.

3

Жди себе орден бешеной собаки!

*Лесков*

Но где ты, Лъзя? И я живу донельзя,  
о пользе мелкотравчатой ревнуя,  
подобен одноокому бревну я.  
И Лъзя в Ларисе, в Ользе, в Лизе, в Эльзе  
живет, глаза послушные слезя.  
Но в далях от нее и я возник,  
и не бревно, не идол, а слезник  
глазам ее. И, смехунам грозя  
стихом кулачным, я кричу: «Что, взяли?»  
Увы, возможно всё. (Да только лъзя ли?)  
И Лъзя, рыдая, говорит: «Нельзя!»

*7–18 июля 1975*

\* \* \*

Преподобный отче Сергие!  
Жили монахи наго,  
да ели и пили благо,  
и по краю лесной зари,  
как грибы, росли монастыри.  
И в любой деревянной обители  
ютились свои святители,  
манажейку носили серую  
и говорили: «Верую!  
Верую без конца  
во единого Бога-Отца».  
Эта вера была проста,  
не боялись они креста.  
Эта вера была проста,  
а веков этак на полста

доходила до бесконечного,  
а уму было делать нечего.  
То-то благо, ежели в келье  
и приволье уму, и безделье.

18 июля 1975

## НАДГРОБНОЕ САМОСЛОВИЕ фуга

Я о себе скажу словечушко, но вчуже,  
как будто сам уже давно лежу в земле.  
Так больше правды, тут уж не словчу же,  
как первое лицо в единственном числе.  
Уж тут словечко, словно правда, голо  
и в голом виде пустится в трепак,  
и память будет выглядеть бесполо,  
а поминанье по записке – как  
спряжение безличного глагола.

Рифмуя «поп» и «гроб», кто будет поминать –  
под рифму рюмку, чтобы православно, –  
а имя в кулаке с бумажкой сжимать?  
Не буду даже им. Вот, право, славно!  
А поминаемый – как будто он не он,  
а память светлая – молитесь, иереи! –  
мигая, дрыгается, как неон,  
в раскрашенной портретной галерее.

Ах, речь безличная! Смотри, пока  
она откалывает трепака,  
с торжественно-ехидной  
улыбкой панихидной!

Так носи свой крест,  
как лихой бунчук,

разливной Модест,  
расписной пьянчук!

На одре пустом  
ни аза в глаза.  
Борода хвостом,  
а из глаз слеза.  
По шеям потом  
даст гроза раза.

И под белую горячку  
гопачится враскорячку:

И вот так, и вот так  
ты попал под колпак,  
под больничный колпак,  
да и гопником в гопак,  
околпаченный,  
раскоряченный!

Не я, не ты, не он, а просто Было,  
как вдоль судьбы шагающее быдло.  
Хоть бы брылы развесившее рыло!  
Нет, просто Было, и оно обрыдло.  
Давно уже ушли до ветру жданки,  
все данные собрали да и в печь!  
И Было вонькое хоронят по гражданке,  
И Былу не дадут подонки в землю лечь.

И поют подонки,  
голосочки тонки,  
Семки, Тоньки, Фомки,  
милые потомки:  
«Ходи изба, ходи печь!  
Былу нету места лечь».  
(А следовательно, требуется сжечь,  
и вместе с рукописями!)

В гробу везут чудовищное Было,  
помнившееся над единым и одним.  
И чья-то речь стучит-бубнит над ним,  
как будто сей звонарь колотит в било.  
И пальцем в рот он тычет наконец,  
как будто совершая подвиг ратный,  
что я-де в яви был чернец,  
но самочинный и развратный.

А я Господних язв до дьявола приях,  
и остаюсь я не во сне загробном,  
а – как в беспмятстве многоутробном –  
и в Божьих, и не в Божьих бытиях.

*1–7 августа 1975*

## ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР В СТАРОЙ РУССЕ

Пластом на земле он, как белый змей, –  
прибрежного сна тревожить не смей!

На шеях тучных девять голов  
сидят, как девять слепых куполов.

По жухлой траве распластал бока,  
крестом осеняючись от кабака.

Ибо вокруг от реки до реки  
молятся труженики на кабаки.

Ибо и с вечера, и с утра  
Старая Русса еще стара.

А колокольня стоит с копьем:  
спи знай, а мы неусыпно пьем.

*17 августа 1975*

## ТРОИЦКИЙ СОБОР В СТАРОЙ РУССЕ

Как застольный лебедь изукрашен,  
подан на поминный пир собор.  
Сколько этих древних русских брашен  
накушал от века зодчий взор!

Как из бани, вышел храм распарен,  
знойной поднимаясь белизной.  
Над застольем встал он, как боярин,  
в неподвижной ферязи резной.

*17 августа 1975*

## ЦЕРКОВЬ МИНЫ В СТАРОЙ РУССЕ (XV в.)

Вот кирпичный сарай вековой, а скорее подобье лабаза,  
и забыл его Бог Саваоф, в пух и прах разоренный купчина.  
Храм одним воробьям, голубям да воронам торговая база.  
Под замком тишина, пустота, полумрак и сырая кручина.

За сараем в грязи извалялась, как спьяна, чумичка Малашка,  
та, что в речках Порусьей звалась и осталась у старцев в помине.  
А лабазу Господню бывает и вольно, и мрачно, и тяжело,  
и старушки уже не приходят служить панихиду по Мине.

*22 августа 1975*

\* \* \*

В полях уже давно орудуют не жнеи,  
а сам Комбайн трещит костями, как Кощей.  
Под осень я люблю тебя еще нежнее –  
Ириду призраков и Суламифь вещей.

И как прозрачна жизнь последняя под осень!  
А мы с тобой храним болезнь дурную в нас,  
и вот друг другу в нос мы всяк свое гундосим,  
последней памяти выкалывая глаз.

*22 августа 1975*

\* \* \*

Дед умирал, как пес, и лаял на бывшее,  
где шевелилась тень полупрохладной Хлои.

Как спелая парша, спадала с деда спесь,  
и Хлоя кланялась, как дура, приседая.  
Полузабвенная, полуседая  
младую Хлою поразила Песь.

Не быть былому! Длинный звон в ушах  
болтался, словно медные сережки.  
Фигуры двигались все по одной дорожке,  
и каждый вздох был точно вскрытый шах.

Был догола последний ум раздет,  
а будущее – то ли дело!  
И внучка-любопытница глядела,  
как дико умирает добрый дед.

*1 сентября 1975*

\* \* \*

На небе день по тюлю вышит,  
и губернаторствую я.  
Дела идут, контора пишет  
счета и сводки жития.

Но время иль бюро погоды  
тебя давно уже внесло  
в графу «Душевные расходы»  
как семизначное число.

*12 сентября 1975*

\* \* \*

Не рыцарь я бесчувственный, не латы  
холодные на мне. Быть может, и пенять  
ты мне не стала бы, когда бы поняла ты,  
что дела моего не можешь ты понять.

Да, наша жизнь прошла и врозь и в общем,  
и годы, как пуды, покиданы в подвал.  
Но всё равно мы на природу ропщем:  
зачем-де рок нас жизнью покарал.

Природа, рок иль Бог равно жестоки,  
богине горя тысячи имен,  
у времени одни и те же стоки,  
как воды сточные, впадающие в сон.

*Ночь с 17 на 18 сентября 1975*

\* \* \*

Я на долю исстари сирую  
вот ни столечко ни клеплю.  
Говорят, что я прогрессирую,  
ну а я в ответ програссирую,  
что горбатого впрок леплю.

А горбатуму – что богатому:  
ум, как сунутый нос, сопат.

Ходит ум по пути покатому,  
ничего себе, но пока тому  
уму-разумину, как атому,  
не грозит по частям распад.

И пока люди добрые спят,  
остается мне в квадрате и в кубе  
прогрессировать на распад  
с человечеством старым вкупе.

*1 октября 1975*

\* \* \*

Я прислонюсь к сырому октябрю  
и без помехи время повторю  
так, чтобы стало вовсе небывалым.  
Я в памяти дремучей проторю  
ту тропку, по которой протурю  
себя же по ухабам и увалам,  
и полуголым глазом обозрю  
весь вечер в комнате, как уйму леса.  
На елке, как игрушечный повеса,  
болтаюсь я на нитке из пеньки,  
и молча исполняют пляску беса  
обугленные иноки-пеньки.  
От ржавчины охрипшее железо  
привычно, без надрыва, без надреза  
распиливает на дрова деньки.  
И в комнате стоит лесное время,  
и осень пахнет кислою зимой.  
Сучкастых долговязых дней беремя  
в который раз я принесу домой  
и повторю, как встарь: хоть день, да мой!

*7 октября 1975*

\* \* \*

Как прежде ходили к вечерне,  
так нынче ходят в кино:  
для побеленной черни  
это ведь всё равно.

Без оплошки живут киношки,  
как киновии от гроша.  
В них спасаются босоножки  
из квартир, пустых как душа.

Расселенные по жилищам,  
при достаточно плотном дне,  
что за платное благо ищем  
словно ощупью мы в кине?

*12 октября 1975*

## ПЛАЧ О РЕКАХ

Мы беду по карманам прячем,  
а седа уже борода.  
Реки мутным великим плачем  
разливаются о города,  
и ни плавно нельзя, ни вскачь им,  
обезглаженным и незрячим.  
Затопила реки беда!

Надрываются реки великие,  
благодетельницы людей:  
– Были некогда мы разноликие,  
а теперь мы набор блядей.

Раздирают нас по буеракам,  
отбирают каждую пядь,

вверх ногами ставят и раком,  
наворачивают и в зад, и вспять.

Господи, с крестной силой  
спаси нас и помилуй!

Погляди, что от нас, от великих рек,  
оставил себе большой человек.

Волга-носильщица, Волга-кормилица, Волга-поилица,  
Волга-красавица, любушка, труженица Божия,  
по великости ты за века не сумела заилиться,  
но зато за полвека ты стала место отхожее.

И полвека не прошли,  
от затей пылая!  
Жигули вы, Жигули!  
Где краса былая?

Где курчавая краса?  
Голь уже с утра вы.  
Лишь по-прежнему роса  
валится на травы.

Стеньки Разина утес  
тоже горе перенес,  
стал он, как побитый пес,  
хром и безобразен.  
Так наломаны бока,  
что такого вахлака  
не признал бы Разин.

Издалека – голос выпи,  
надрываясь от обид.  
Это речка Миссисипи  
выпьим голосом вопит:

– Ух! Ух! Ух! Ух!  
От меня смердящий дух.  
Ух! Ух! Ух! Ух!  
Аж костяк во мне протух.

Жалобу древнего батюшки Рейна  
Бог огласил в комиссии рек:  
– Тек по-вечернему я тиховейно,  
а ныне я поставщик дреквейна.  
Видите сами, что дело – дрек.

За ним и толстобрюхий Нил  
слезу, как глыбу, уронил:  
– Оно, конечно, я не выпит,  
от жажды я не пересох,  
но мучит так меня Египет,  
как не карал евреев Бог.

Я чтил указы с Палатина,  
и бегемот сосал мне грудь.  
Теперь прижала так плотина,  
что мне ни охнуть ни вздохнуть.

Благочестивые феллахи  
не забывают об Аллахе,  
но правый путь во всех делах  
являет Ра, а не Аллах.

И только Амазонка  
веселилась звонко:

– Ваши речи неспуста,  
ну а я еще чиста.  
Я живу без крова  
и вполне здорова.



Оттого, что я дикарка,  
мне ни холодно ни жарко.  
Вольно в море я теку  
по любому пустяку.

А жиденькие речки  
в тоскливые колечки,  
как ужики, свивались  
и плачем заливались:

– Сказать нам «ах» ли,  
сказать нам «ох» ли?  
Мы то зачали,  
то пересохла.

Мы всех поили,  
дожди мы пили,  
а ныне в иле  
нас утопили.

Как в полой яме,  
воды в колодце,  
да мы и сами  
лежим в болотце.

Если речки сохнут  
по больной науке,  
то лягушки дохнут  
молча, как и щуки.

Ох, ох, ох, ох!  
Помилуй Бог,  
чтобы сам человек  
не издох.

Потому что без воды  
ни туды и ни сюды,

потому что без воды  
дохнут птицы и сады,  
потому что без воды  
не сготовить и бурды,  
потому что повелитель  
и больших и малых рек,  
и насильник, и губитель –  
человек.

*17 октября 1975*

## **ЦЕРКОВЬ АНДРЕЯ В ДЕТИНЦЕ**

В сторонке, снег размазав талый,  
стоишь ты нищенкою кроткой –  
не просто крохотной уродкой,  
а малость умственно отсталой.

И если верить отголоскам,  
то вправду изгалялись гридни  
над собранным по камню в три дни  
шестисотлетним недоноском.

*20 октября 1975*

## **НИКОЛЬСКИЙ СОБОР**

Около нашего века, как на паперти, стал Никола.  
Мыкался долго мужик, да помиловал грешного Бог.  
Тело ратное стало теперь ни одето, ни голо,  
и на морозе застыл его белокаменный вздох.

Просит он подаянья у стен, у звонниц, у башен,  
пуст, как великий амбар, а каким ведь добром володел!  
То кулаком, а то батогом быв многократно дубашен,  
встал широко, крепкогруд, тугоплеч, белотел.

Лень стопудовая! Не повернуться ни вправо ни влево,  
и неохотища даже заехать по роже врагу.  
Ползают буками люди, а одаль стоит Параскева:  
с ней перемигивался – был такой грех на торгу.

Господи Боже! И как же в душе его пусто и просто.  
Кажется, крепко он жил и натужно и пасмурно рос.  
Память – как бирка, где были отметины темного роста.  
Нешто глянуть на них? Да выбелил память мороз.

22 октября 1975

## УМНАЯ ОРГАННАЯ ФУГА С ПРЕЛЮДИЕЙ

.....  
.....

### *Прелюдия*

Я вижу в старости, как ум глядит лукавей  
и судит вкось, но не во сне же немо я  
толкую с ним о том, которая из явей  
поистинней других, понеже не моя.  
Но разве от ума добьешься толку?  
(Ведь он боится выйти из себя.)  
Кладу искусственные зубы я на полку  
(авось другому пригодятся волку!)  
и существую втихомолку,  
по жизни, как по воздуху, гребя  
руками и налево и направо.  
(Дощатый, сна качается причал.)  
Да из себя ли я блажного накричал?  
Не помогла ли мне моя орава?

## *Фуга*

Орган сияет, как воздушный лес.  
А старый ум, заштатный органист,  
на лавку, червием источенную, взлез,  
по ней елозит. Ну-ка, погонись  
руками борзыми по бору Баха!  
Грубит труба. И высь несется вниз.  
В поту душа, и брюхо, и рубаха.

И что сыграю я своей ораве?  
Вся уйма музыки – как разливная тьма.  
Лукавый ум переключает яви,  
и тема тьмы рождается сама.

Брось, музыкант, дедок невеликатный!  
Судьба – как баба банная, груба  
и подмывает пол. Брось, органист заштатный,  
давить на клавиши! Ведь всё равно труба.  
Играй руками или же ногами,  
играй на хорах или же в гробу.  
А музыка всей уймою на гамме  
семитоновой вылетит в трубу,  
как ведьма, к очень неприятной яви,  
и, в неприметном времени пляша,  
она Любаве скажет, как забаве:  
«Намаялись! Пойдем-ка спать, душа!»

1–7 ноября 1975

\* \* \*

Люди видели тебя, и на сказано  
так, что вся твоя парсуна дегтем мазана.

Или это от забот дня рабочего  
набрехали, что тебя скособочило?

Кем же, дескать, были вы очарованный?  
Ведь у глаз-де цвет воды дистиллированной.

А затылок-де трясет крысыим хвостиком,  
на гимнастике душа стала мостиком.

Может быть, и так, да вот жаль, что по мосту  
запрещается проезд даже помыслу.

Но возможно, что народ завирается  
и гурьбою через мост перебирается.

Пусть хоть этак, хоть растак – мост да улица.  
Не гулять бы на мосту, а пригулиться!

Пусть и улица пойдет, малость пьяная, –  
не Разъезжая она, не Расстанная!

Пусть тебя и бесом в бок, пусть, счастливица!  
Только дал бы бедный Бог нам увидеться!

*12 ноября 1975*

\* \* \*

Я не сам, а просто грустный ворох,  
на пороге грузный чебурах.  
Проживаю только в разговорах,  
как в дешевых разных номерах.

Стал я самого себя наследник  
и в наследство кое-что припас,  
ну а самого пора на ледник,  
чтобы не прокис последний квас.

Не к чему мне больше кликать бурю,  
чтобы что-то где-то колебать,  
но я пригожусь еще на тюрю  
ту, которую не расхлебать.

Или на хорошую окрошку  
с человечинкою ледяной.  
Посошок я дерну на дорожку –  
и спасибо, куме Водяной!

Пропади они, твои русалки,  
с ними мне совсем не по пути.  
Сам играй с русалочками в салки  
или воду в омуте мути!

Ворох я и только разговором  
тело лупоглазое уйму.  
Самому себе бывал я вором  
и заначил в душу кутерьму.

Я уже не сам, а просто ворох  
всяких всячин из житья-бытья.  
Сам к себе приду, как вор и ворог.  
Ворошите же меня, друзья!

Ворох я холодного былого.  
И идет на годы молотба,  
и летит бесполоя полова,  
как в глаза колючая судьба.

*20 ноября 1975*

## ЕГИПЕТСКИЙ МОСТ

Старая Фонтанка,  
Египетский мост,  
девка-долгоштанка,  
подросток-прохвост.

И фонарной рябью  
черная вода  
манит долю бабью  
нежно, как всегда.

Как в задачке иксы,  
мучая девчат,  
маленькие сфинксы  
знай себе молчат.

На краю Фонтанки,  
слышь-ка, не балуй!..  
От девки-долгожданки  
скорый поцелуй.

*21 ноября 1975*

\* \* \*

В пустоте жилья  
я привык к давну,  
и не те же ль я  
дни за хвост тяну?

Средь собачьих дней  
есть осенний день,  
где мы мне бледней  
и живей, чем тень.

Он в одном белье  
на ветру стоит,  
а в моем жилье  
просто пуст Аид.

За авосем я  
как Орфей шагал.  
У кого – семья,  
у кого – кагал.

Ты ж в аду шалишь  
и голей сусанн.  
У меня же лишь  
друг мой Самсусам.

*21 ноября 1975*

\* \* \*

Мы с тобой друг другу груз,  
дорогое бремя.  
Надрываюсь я, но прусь  
с тенью через время.

И который пот прошиб?  
Может быть, десятый?  
От души бы, от души б  
мне явилась вся ты!

Ну а ты через порог:  
«Слушай, мой хороший!  
Надрываться что за прок  
нам под нашей ношей?»

—

Через силу быть со мной  
запросто желая,  
оттого что я сумной,  
тяжесть пожилая,

рот не можешь освежить  
северною жамкой  
и, как прежде, хочешь жить  
жалкой, но южанкой.

*25 ноября 1975*

## ДОРОГА фуга

Иду ли, еду ли – передо мной дорога.  
Иду ли, еду ли – дорога за спиной.

Она же робко трется у порога,  
как будто просится у Бога  
погреться в суматохе избяной.

Она ведет удачу иль оплошку,  
ей мера – шаг, а не вершок.

Сидит в запечьи черный царь Горшок,  
державную к челу приставя ложку.

Весна с краями наливает плошку –  
хлебать солено-снежную окрошку.

Ну-ка, на дорожку  
хватим посошок!

Дорожка под ноги кидается, как сдуру  
растрепанная девка на заре.

Пространство превращается в фигуру  
сухую, нищую и об одном ребре.  
«Пади!» – кричит возница балагуру,  
и белой скатертью дорожка в декабре.

Иду ли, еду ли – всё драная дорога,  
ухаб воздушный, чья-то колея.  
Не Бог я, чтобы знать, доколе я  
пристрастно буду двигаться и строго.

Тропку посолили,  
еду ли, иду ли.  
То ли посулили,  
то ли надули?  
А ну как надули  
да при народе?  
Эх, во саду ли!  
Эх, в огороде!

Белье молотят бабы на плоту.  
А я – в охапку шапку человечью  
и выхожу на улицу всей печью,  
оставя дома лень и теплоту.

Лето приласкает,  
понежнеет шаг.  
Пыль в глаза пускает  
шалый большак.

Самолет по лету  
синему кружится,  
бабочке к балету  
хочется прижиться.

И без запинки  
среди слепой жары

без тренера тропинки  
прыгают с горы.

А кухне чад, и гам, и суетня,  
и скалкой по лбу щелкнут недотрогу...

Владимирка! Полцарства за коня!  
Я на своих двоих. – Дорогу мне, дорогу!  
Я, право, не боюсь раздора раздорожий.  
Украв себя, продам хоть Божий раз дороже,  
и с озлобленья растакого:  
«Добраться дай до рожи мне, до рожи!  
(до собственной)» – ору, как Простакова.

Но и в своем дворе есть некая стезя  
и гласом форменным мне говорит: «Нельзя».  
Стезя закона кантом по мундиру  
введет по-кантовски во нравственность задиру.

А нраву смертно хочется на волю,  
а нрав лукав, смекалист и подвижен,  
а нрав свою разыгрывает ролю  
в сердцах дворцов и в душах хижин.

Я брошу грошик в шапку Богу,  
чтобы ручьем тропинка потекла,

да и понемногу  
грогу на дорогу –  
три глотка тепла.

Когда один (большой) глоток тепла испит,  
то нрав, войдя в закон, как бы в кабак, вопит.

Настежь ворота,  
на сердце скрепя,

широкорото  
вопит он, скрипя:

«Быть хочется тебе, так будь!  
Лети каким-нибудь Персеем на Сторога!  
(Но надо ноги в крылышки обуть.)»  
И ломится сквозь жизнь косматая дорога,  
а не дремучий кособокий путь.

*7–12 декабря 1975*

\* \* \*

Я вокруг тебя да около.  
(И этак ведь бывает!)  
А сердце вдруг затокало,  
как будто нарывает.

С тобой уже давно я –  
два разных двойника.  
Ты выжмешь каплю гноя  
из сердца-гнояника.

И то, что было ясно,  
ладонями прикрыв, –  
иль то зияет язва,  
иль то набух нарыв?

Но только вот затокало!  
Ты льдинка, но живая,  
а я вокруг да около,  
как рана ножевая.

*17 декабря 1975*

\* \* \*

Хорошо я нынче выпил –  
ай да ну!  
И теперь доставлю вымпел  
на луну.

Миру я походкой шаткой  
повинюсь,  
в лужу мягкою посадкой  
прилунюсь.

От людей меня прикроет  
снег земной.  
Парень носом землю роет  
под луной.

*17 декабря 1975*

\* \* \*

Буду вирши писать,  
и любовь обернется запиской.  
Буду локоть кусать,  
оттого что он – близкий.

А усталый предмет –  
сердце будет и плакать, и токать.  
Но костляво, как «нет!»,  
лишь толкается локоть.

*20 декабря 1975*

## ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

Пустынный вечер. Светит Петроград  
с окраины, как огненная елка.  
Теплеет снег. И небо, словно щелка,  
прищурилось, как будто на разврат  
замызганная смотрит богомолка.  
А вечер вечен. Экий ретроград!

Огромный город тих, как Вифлеем,  
как сонный хлев, и жалостней, чем ясли.  
Я сух еще, как пост, не пью, не ем  
и не раскатываюсь в масле,  
как толстопузый и державный сыр.

Пространство состоит из поперечин.  
Младенец умный, как и старец, сир,  
никем еще не встречен, не привечен.  
Он – как в гробу зародыш. Вечер сыр,  
один, без звезд да и зачем-то вечен.

Рождество Твое, Христе Боже наш!  
(Ох, и тружено ж! Ох, и хожено ж!)  
Сколько выпито! Сколько съедено!  
Сколько сладких ног обесштанено!  
(Ах, квартирочка дяди Федина!  
Ах ты, комнатка тети Танина!)  
Ах ты, комнатка, пол с суконочкой,  
раскладной диван под иконочкой!

Мерцают елки в девять этажей,  
и повисают, как игрушки, стекла,  
и с «Огоньком» в руках уселась Фекла,  
а перед ней, как ломтик сердца, свекла.  
И Дед Мороз при помощи тяжей  
стал на углу. Под ним чуть-чуть намокло.

Он, сахарный, подтаял и слезину  
показывает спяну магазину.

Тебе кланяются, солнце правды,  
вверх тормашками космонавты.  
Под землею судьба космонавтова  
доезжает даже до Автова  
и, напялив улыбочатый шлем,  
выходит с запасом жратвы  
для клюковок и братвы  
на станции Вифлеем.

Ты послушай, Муся!  
Оплетем мы гуся.  
А потом я, Муся,  
за тебя примуся.

Снег под ногами липок, как халва.  
В хлеву готова трапеза густая.  
Идут по Вифлеему три волхва,  
звезды единой с неба не хватая.  
И в человецех трудоемких  
благоволенье естества.  
И в каменных огромных елках  
блуждает призрак Рождества.

*25 декабря 1975*

\* \* \*

*V. L.*

Цветок прощаний и разлук,  
не прячься, но и не казотьясь,  
глядит на разливанный луг  
голубоглазый миозотис.

Он вечно свежий, как роса,  
готов пробраться и песками,  
и крохотные небеса  
придерживает лепестками.

И путешествует меж трав  
с откоса и до водной глади,  
цветок без долга и без прав  
с единой крапинкой во взгляде.

В оконце памяти моей  
еще звенит он, как побудка.  
Вот так и ты, forgetmigei,  
моя большая незабудка.

*1975*



1976

## НОВОГОДНЯЯ ФУГА

Все люди бегатели суть.

*Г. Державин*

Я нынче в Новый год спускаюсь, как в метро,  
где люди ездят адские, как тени.  
Я вижу времени ползучие ступени.  
И жить – как ехать – вовсе не хитро.  
И под землей три разных измерения:  
вверх, вниз и с грохотом куда-то по прямой...

Везя за пазухою теплоту смиренья,  
домыкиваюсь я домой.

А дома время сшито из прорех,  
и вижу, как буфет, жену,  
ее резную рыжину,  
разделанную под орех.

И как воспоминанье из Платона –  
подземный грохот и молчанье лиц  
мурашье, как цифирь таблиц.

Я стану дома выше на полтона,  
и позабуду я про поезд-блиц,  
про озаренные вагоны цугом,  
где каждый – барин (и себе же тень!).

От ада я отделался испугом,  
и дома снова по кругам и фугам  
меня прокручивают сон и лень,

как будто я старинная пластинка,  
а дом – как древний граммофон с трубой  
(лицо висит, как смертная холстинка,  
над музыкою хрипло-гробовой).

Иду я вдоль себя, как пересуды  
о том, которого по сути дела нет.  
Идет жена навстречу, как буфет.  
В нем, как в органе, звон и бой посуды.  
И Новый год мне – словно марафет.  
И я, чтобы хоть как-то доживать,  
сажусь за стол губами пожевать.  
И выговариваю по складам:  
«Я – глина на кирпич, а не Адам.  
Своим судом я пребываю в доме.  
Послушай, душенька! Умора так умора!  
Ну что хорошего ты наживешь в Содоме,  
моя не очень грешная Гоморра?  
Я – просто сон, залегший на печи,  
откуда скачут кирпичи».

А Новый год в ответ на это  
распахивает существо буфета,  
и, скуке приведенной потакая,  
вытаскивает он бутылочку токаая,  
как будто он бегун, а я султан.  
Чем заплачу ему я за прогоны?

А Дед Мороз закутался в туман,  
и под землей опять гремят вагоны.  
И кровь последняя пускается в бега,  
и бог частичный тоже правит бег.  
Бежит по комнате одна моя нога,  
и только книжный шкаф стоит, как человек.

*1 – ночь с 7 на 8 января 1976*

## НА ИЛЬМЕНЕ

По линиялому небу от чаек следы,  
как тяжелые темные пятна.  
По пустынному блюду из серой воды  
мы плывем, а куда – непонятно.

Словно гусли, под ветром стоят камыши,  
только сам он – великая нехоть.  
Мы уплыли от шума и от тамашаи,  
только веслами здесь мы маши не маши –  
всё равно никуда не доехать.

*12 января 1976*

\* \* \*

Дала же нынче осень крюку!  
Была моя и не моя.  
Природа плакала мне в руку  
о том, что нету ей житья.

Ее-де просто полосуют,  
не проводя нигде межи,  
а малыши с нее рисуют  
восторженные чертежи.

Ох, жалко мне тебя, беднягу,  
но что я, прах тебя возьми,  
поделаю, когда я лягу,  
как ты же, попусту костьми?

*12 января 1976*

## ПОКОЙ

### фуга

Уже не трогаю руками ничего я,  
а тесто времени – вот на! – еще мое.  
Из ночи в ночь на месте кочевое,  
поеживаясь, движется житье.  
И я стою как вверх ногами воин.  
Глухая память – как орава лет,  
колода карт. Как хлоп или вает,  
я хлоп на стол, по-своему удвоен.  
С досадливым спокойствием лежу,  
и двуголово и безного,  
и лежа вдоль поверхности гляжу,  
какой-то карточный слуга у Бога.

В покой тюремный или теремной  
попал я, что каплун горластый во щи.  
Что может быть естественней и проще?  
Но не оплаканы потери мной.  
Они лежат, как маленькие мощи.  
Я не молюсь им, а они пищат,  
и жалок писк младенческих мощат.

Спокоен я, но ущемлен вещами,  
а их телосложение, род и пол  
не различить. И вымощен мощами  
в огромной камере нетленный пол.

Довольно я воды во ступе потолок –  
не бочки, а моря и океаны,  
и знаю я теперь, где пол, где потолок,  
где покаянный стих, где окаянный.  
Но что поделаешь? И без протеста  
мешу я время, пресное как тесто.

А карты? Быть в державном кулаке им.  
И в свои козыри играет Бог с лакеем  
на пустяки. Но из-за пустяков  
тревожится чертяка Смердяков.  
А я – я никогда не брал нахрапом.  
Бог мною ходит, как винновым хлапом.  
Пустые хлопоты! Играя в три листа,  
без фали всё равно не получить хлиста.

И годы старости с вещами ровни.  
Идет еще игра, а где – и не пойму!  
В тюрьме, в квартире, в терему,  
в лакейской или же в часовне?  
В руках у Господа мертвецкая природа  
лежит, как сальная с накладкою колода,  
а карты краплены, вон те, по коим  
я узнаю, что Божий гнев излит.

Я одержим кочующим покоем,  
который придавил меня и злит.

*13 января 1976*

## СМОЛЬНЫЙ

Ходит ветер вольный  
в гости тут,  
ходит ветер в Смольный  
институт.

И стоит от веку  
среди двора,  
двор ему – что греку  
агора.

Он как эллин волен,  
помнит юг.  
Острых колоколен  
нет вокруг.

Ветер ездит в Питер  
с серых туч.  
Сквозь него юпитер  
мечет луч.

Ходит колоннада  
маршем нимф.  
Что ему тут надо,  
что же с ним?

Ждет он, лих осанкой,  
наяву  
с призрачной смолянкой  
рандеву.

*21 января 1976*

\* \* \*

Через Неву увидит всякий,  
кто лишь захочет посмотреть:  
из зелени валит Исакий,  
как позолоченный медведь.

И хватит силищи у мишки,  
чтобы орлинокрылый Рим  
подмять. А о его умишке  
давай потом поговорим!

*21 января 1976*

## СРАМ

Я родич был по крови нищим,  
чей дух трепещет на ветру,  
и промывал нутро винищем,  
как моют zenки поутру.

Мои угодыя и распутья  
все перешли на рысь и прыть.  
Ума лохмотья и лоскутья  
вотще старались срам прикрыть.

Моя вакхическая драма  
бежала словно на пожар,  
и в разуме я уйму срама  
возил, как яйца на базар.

И приходили прицениться  
герои робкого труда.  
Бряцала им в ответ цевница:  
поди-ка знаешь ты куда!

И зарились глаза богатства  
базарные на срамоту.  
Свобода, равенство и братство  
за грудки брали нищету.

Не помышлял я мстить хазарам,  
ни животрепетным ослам.  
Возил в грязи я по базарам  
не на продажу голый срам.

Когда же я от жизни тощей  
сдох снова в раз сороковой,  
мой срам в музее, словно мощи,  
лег на подкладке роковой

(на полушелковой подкладке,  
когда с поэта взятки гладки).

27 февраля 1976

## АЗАЛИЯ

<Окно с мечтой смятенною> азалий.

Б. Пастернак

Тебя видал в вокзальном зале я,  
который был просторно-пуст,  
и тела твоего, азалия,  
топорщился корявый куст.

Казалось, ты еще гуляла,  
остатки воздуха пила,  
как платьем, плотью щеголяла,  
и что ты, сколько ни цвела,  
души нигде не оголяла  
и поправляла на груди  
малиновые бигуди.

Клубилось утро по перрону,  
по воздуху несло ворону,  
и зал уборщица мела,  
сама как толстая метла.

Как к дрессированным собакам,  
ты к пассажирам прижилась.  
Покрыты были слабым лаком  
все сто твоих зеленых глаз.

Зачем жила ты на вокзале?  
Служила или чай пила?  
Ты красоты не навела.

Не в том ли был твой смысл, азания,  
что ты отчаянно цвела?

29 февраля 1976

## ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР Четверть баллады

Бог весть из каких-то далеких и сказочных стран,  
презрев и леса, и поля, и неверное море,  
летит к Петербургу лихим репортером Руслан,  
вися, как балласт, на запущенном в ход Черноморе.

Опять скоморошничают на ветру острова,  
и снова, как будто нечаянно, пролиты реки,  
и так же под царственным шлемом стоит голова  
и, мнится, вот-вот приподнимет гранитные веки.

2 марта 1976

## ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ

Energie ist das oberste Gesetz der Dichtkunst,  
sie malet also nie wertmdЯig.

*J. G. Herder\**

Собой не может быть никто.

*Г. Р. Державин*

Я без воззваний жил во Званке,  
где звонки соловьи поют.  
Приблудной Музе-оборванке  
во флигеле я дал приют.

\* Энергия – высший закон поэтического искусства, однако она не выражает его в полной мере. *И. Г. Гердер (нем.)*.

Она на пяльцах вышивала  
апостолов, орлов и львов,  
и Дашенька не выживала  
из флигеля мою любовь.  
Ни в чем пииту не переча,  
они ложились на кровать.  
Любил обеих он, так неча  
обеим было ревновать.  
И он не чаял в них измены,  
ниже волнения молвы.  
Сколь верны Росские Камены!  
И жены тоже таковы.

Да что пиит! (Будь он неладен!)  
Висит промежду перекладин!  
Но невозможно жить без жертв.  
Воистину тот жив, кто гладен,  
кто сыт да гладок – полумертв.  
Покой мой дряхлый мне отраден,  
и нет на мне чертовских черт.  
И если всё еще я жаден,  
так вот уж не до райских гадин.

Ужели жил я долго вскую  
на животрепетном краю,  
очами глядя волховскую  
всегда переменную струю?  
А дура Муза говорила  
на перепутии стихий:  
«Люблю тебя! Крути, Гаврила,  
и перемалывай стихи!»

Но так ли глупы те чинуши,  
которым вечность суждена,  
что прозакладывают души  
под милости и ордена?

А что им крикнуть (не «тубо» же!),  
сим комнатным и гончим псам?  
На них управы нету, Боже!  
О том Ты ведаешь и Сам.

Но Званка, Званка, крепостная  
моя красавица, со мной!  
И доживаю допоздна я  
хозяйски жизнью запасной.  
Ломаю понемногу время,  
в отставку выгнав целый век.  
Сижу во Званке, как в гареме,  
я, православный человек.

По осени брожу по ржавой,  
когда дожди меня поят,  
и я Российской державой,  
как бабой доброю, объят.  
Шагаю по стерне шершавой,  
хлебаю живописны щи...  
А что там слышно за Варшавой?  
Европа ропщет? Ну, ропщи!

Живу во Званке я под старость.  
Приди, отец архимандрит,  
и зри, как она мудрит,  
ввергаясь и в покой и в ярость!  
Займи очей моих ревнивых,  
иди по строгой борозде  
и зри, как блещут зори в нивах  
и стелят шелком по воде!  
Внемли же стук колес и гумен  
и песнь, что бьет ключом из дев!  
И за меня молись, игумен,  
молебен, яко длань, воздев!

Я в иноческий чин не лезу,  
и всё мое еще при мне.  
Да уподоблюсь я железу  
и звездному огню в кремне!

Устрою нынче я смотрины  
для полнотелой осетрины.  
Приди же, отче, а на нас  
умильно взглянет ананас.  
На должно тут же сядет место  
и белорыбица-невеста,  
преображенная в балык.  
Резвятся крохотны пороки,  
когда, еще слагая строки,  
пиит уже не вяжет лык.

Да будешь, Боже, Ты преславлен  
во всех житейских чудесах!  
Я, росс и Гавриил Державин,  
о сем писах еже писах.

*7–17 марта 1976*

\* \* \*

Зима стояла еле-еле,  
как очень дряхлая пора.  
Ее держали в черном теле  
и выгоняли со двора

когда метлой, когда лопатой,  
и, словно пьяный человек,  
лежал в канавах конопатый  
и разомлевший грязный снег.

Зима ждала еще мороза.  
Ее шатало на ветру.  
Не русская была то проза  
и ввечеру и поутру.

А кое-где с рассвету пили,  
и были дни как чугуны,  
и лыжи острые тупили,  
засевши дома, бегуны.

*10 марта 1976*

### ФУТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА

Я с одною полюбился  
на тридцатом этаже,  
ну, и кой-чего добился  
на последнем рубеже.

А потом нашел другую  
на тридцатой глубине –  
и не очень дорогую,  
и как раз по мерке мне.

Не видал ее лица-то:  
помешала темнота.  
Знаю лишь, что Фелицата  
эта так же, как и та.

Мы с ней многого достигли,  
ибо принимали мы,  
как пилюли фигли-мигли,  
гогель-могель полутьмы.

С той и с этой Фелицатой  
фигли эти, мигли те

то на глубине тридцатой,  
то на той же высоте.

*24 марта 1976*

### MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье,  
когда благовестили  
воробьи  
про распутицу  
и чирикали,  
мне-де не будет пути.  
Вздор воробьиный!  
Лишь у безногих  
пути не бывает.  
А я по своей дорожке  
Бог весть к какому Богу  
и на руках доползу,  
ибо я родился в Благовещенье.

*7 апреля 1976*

\* \* \*

Стучится время. Двери на запор вы  
от времени, как будто от меня.  
А я стою у пропасти, у прорвы,  
не отменив из прошлого ни дня.

Я день держу. Мычит, как стадо, вечность,  
за ним бегут разини-пастухи.  
И всё как в прорву – грусть и человечность,  
любовь и верность, письма и стихи.

*17 апреля 1976*

## ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА

Я прохожу, как некий самый главный,  
и детство (где-то!) за собой веду.  
Живу я у себя не на виду,  
а просто с тайной ночью православной.

И скуку смертную и тихую беду  
разводит бабья – бедная! – забота,  
и стряпает – веселую! – еду  
Страстная (черная) Суббота.  
И к полночи немой не вывелось галчат.

Колокола безухие молчат,  
как висельники, и стоят в музее,  
одетые в чехлы из бумазеи.  
И всяк не гол, не гол и не сокол,  
и каждый человек одет в чехол,  
будь хоть нахал, хоть хахаль, хоть хохол,  
ослоп, дубина или просто кол.

...Горело время. Сто лихих голов  
кололи что попало в сто колов  
и черту прозакладывали души,  
а после у своих колоколов,  
как дети, рвали языки и уши.

И память прет себе, как время, вспять.

И думал медный лоб: «Эх, взяли!  
Людей не трожь! Я медный, так нельзя ли  
хоть медный колокол распять?»  
И сыпались, как пьяный снег, бумажки  
за подписями Грозного Ивашки.

И бабушка Беда шептала у ворот:  
«Их имена Ты, Боже, веси!»

А по весне бежал народ  
и во сто ног погряз в прогрессе.

По марту побегу, апрелю и по маю  
и за слово, как за ворот, поймаю,  
поймаю, уличу так уличу!  
А уличив, подсяду к куличу.  
Послушаюсь старинного советца:  
«И грешник может в Пасху разговеться,  
не соблюдя Великого Поста,  
зане он прожил целый год спуста».

Страстной Субботы нет. Окроме очень черной.  
А светлый праздник, плохо пропеченный,  
стоит в ребячем далеке  
с весенней грустью належке.

Ох, Господи! И в церковь выйти не в чем!  
И нищая душа – на паперти. Ей-пра!  
И остается рявкнуть песнь добра  
по радиопрограмме людям певчим,  
погрязшим до пупа в прогрессе:  
«Христос – как-никак – воскресе  
и жизнью жизнь попра!»

*25 апреля – 2 мая 1976*

## ГРУСТНАЯ ЛЮБОВЬ романс

Ах, эта грустная любовь,  
когда, как тесто, мы густые!  
Она приходит вновь и вновь  
в часы пустые.



Стоят, как рюмочки, часы.  
Ты в них сердечного накапай!  
И снова слышен звон росы,  
как бы из шкапа.

Не спят, а время прочь и вспять  
бросается к Великопустью.  
Тогда и надо вышибать  
грусть только грустью.

Вдвоем сподручнее грустить,  
и толку мало лезть в бутылку.  
Друг к другу можно приходиться  
как на могилку.

Сердечных капель – как росы  
или бессолнечной капли.  
И я грущу не для красы,  
а в самом деле.

Нет, не любить, не жить, не ждать,  
а друг у друга быть на службе.  
Грусть грустью надо вышибать  
по старой дружбе!

Нельзя назад! Всё где-то за,  
как запах сургуча и серы.  
А эти серые глаза  
всё так же серы.

Ах, эта грустная любовь  
так не похожа на мороку!  
Она приходит вновь и вновь  
к любому сроку.

*Ночь с 30 апреля на 1 мая 1976*

\* \* \*

Жил-был поэт  
с фартовой фамилией Фет,  
с бородищею муравьиной  
и с ночью соловьиной.  
Жил он себе тихонько,  
Афонькин сын Афонька.  
И дожил этот самый Фет  
до семидесяти двух лет,  
и тогда – о прелестные сплетни! –  
помер он – такова селяви! –  
от слишком большой любви  
к восемнадцатилетней.  
И улегся в земле сырой  
павший смертью храбрых герой.

*7 мая 1976*

### **БИРЖА (Тома де Томон)**

Ходят вокруг налегке петербургские долгие ветры,  
осень без листьев стоит впусе на остром мысу.  
Белая биржа лежит, как груженная временем баржа,  
и на пустом берегу торга купцы не ведут.  
Видно, веленьем богов, возлюбивших чудо торговли,  
с юга на север доплыл сей благородный амбар.

*24 мая 1976*

## АДМИРАЛТЕЙСТВО

Так вот оно! Не выискать порока,  
и, зодчего за древность не коря,  
морское по земле плывет барокко,  
подняв в беленый воздух якоря.

Отсель меня поэты выживают,  
и ухожу я нынче злой-презлой:  
они по воздуху два века вышивают  
адмиралтейскую иглой.

*Ночь с 1 на 2 июня 1976*

## ДОМ ДЕРЖАВИНА

Ни трамвайный гром, ни грохот танка  
в этом доме не были слышны,  
рядом с ним весь век лежит Фонтанка  
на текучем ложе тишины.

По Фонтанке не летают санки.  
Год проходит чинным чередом.  
И дворцовой вековой осанки  
не утратил этот теплый дом.

Сколько в нем домашне-векового!  
Ветром по морозцу на заре  
зябкий дух Державина и Львова  
ходит тихо на пустом дворе.

*13 июня 1976*

## НИКОЛА МОРСКОЙ

Помнишь (что ж тут такого?)  
этот день роковой?  
У Николы Морского  
нас венчали с тобой.

Жадно лошади ржали  
и тряслись бубенцы,  
и над нами держали  
золотые венцы.

Церковь в белой глазури.  
Август к ней подошел.  
Был смертелен в лазури  
колокольни укол.

Как бездомная птица,  
под зеленой тоской  
всё еще золотится  
наш Никола Морской.

Вот уж больше столетья  
мы плетем кружева.  
Не успел околеть я,  
да и ты всё жива.

Жизнь стоит на дороге  
с заржавелым ведром,  
провожаючи дроги  
с одиноким одром.

Зимний сумрак клубится,  
и не видно ни зги.  
Но «гряди, голубица!»  
слышно мне из пурги.

И помолятся где-то,  
и поклон до земли.  
Эти «многая лета»  
незаметно прошли.

Ни следа от укола,  
не звонят бубенцы.  
Но всё держит Никола  
золотые венцы.

*27 июня 1976*

## ЕКАТЕРИНА II

Отпраздновав Екатеринин век,  
стоит себе величественной бабой,  
местами грузной, а местами слабой:  
императрица – тоже человек.

Под громы од, реляций, модных маршей  
монархиня огромна, как музей,  
и, как метель, метет подол монарший  
по лицам полководцев и князей.

Она одна, одна на всю Россию,  
и при ее щедротах можно жить –  
глаза разинув и сгибаая выю,  
торжественно и барственно служить.

И, зная августейшие пристрастья  
и как бы хоронясь от разных зол,  
стараятся ловцы чинов и счастья  
залезть под государственный подол.

*30 июня 1976*

## ЛИТЕЙНЫЙ МОСТ

С берега на берег перескакнул  
Литейный мост, как чугунный кот,  
и над водою спину согнул,  
стоит и не может ни взад ни вперед.

Как очи кошачьи, горят фонари,  
и лапы кошачьи и здесь и там –  
перекинуты, ах, от зари до зари,  
и время движется по мостам.

Двумя лапами в будущем, а двумя  
Литейный мост в былом торчит  
и, всеми машинами глумя,  
про самого себя молчит.

Кошачьи глаза горят в воде,  
а кот стоит и не мочит лап,  
а кот не может ходить по воде,  
а только там, где цап-царап.

Воробья подстерег железный кот,  
пригнулся счастье схватить за хвост,  
а воробей, как жар-птица, ждет,  
и наша любовь – как Литейный мост.

*12 июля 1976*

## ПОЦЕЛУИ

Поцелуй меня, поцелуй!  
Разбалуй же нас, разбалуй,  
чтобы вырвались из оков  
двое ласковых языков,

два чувствительных существа,  
шевелиющиеся слова.  
И они, словно скользкий взгляд,  
самым кончиком нам велят  
и на свет, и на образа  
закрывать, как во сне, глаза,  
чтобы знать без ушей и глаз,  
что любовь уже началась.

Приоткрылись губы от боли  
вполовину грота – не боле,  
а язык, такой озорник,  
к языку сквозь зубы приник,  
и сошлись в зубастой пещере  
языки, как нежные звери.  
Так и борются, щекоча,  
и их речь без слов – горяча.  
Погружаются по макушку,  
проникают они друг в дружку  
и вонзаются вновь и вновь,  
ибо это тоже любовь.

Ни чернилом, да и ни мелом  
не запишешь речи такой.  
В теле стон стоит в онемелом,  
правит судорога рукой.  
А язык щекочет, щекочет,  
словно радуется, дразня,  
и по каплям высосать хочет,  
как младенец, всего меня.  
И вытягивается наслажденье,  
и не знаешь – хоть горлом кровь! –  
поцелуй те – наважденье  
или выжатая любовь.

*13 июля 1976*

## КАЗАНСКИЙ СОБОР

Такой полукругло-длинный  
и сохнет с коих пор,  
как торт из серой глины,  
римско-казанский собор.

В цветах на площадь подан,  
кой-где позолочен,  
макушкою и подом  
черстветь он обречен.

Но все созидолубы –  
какой их дернул черт? –  
обламывают зубы  
восторженно о торт.

*20 июля 1976*

## ГЛАВНЫЙ ШТАБ

Как желтым неводом всю площадь загребая,  
громадина идет на каменный простор.  
А осень под боком, уже чуть-чуть рябая,  
разводит золотой из зелени костер.

А в воздухе гремят чугунным скоком кони,  
а окна на заре как ячеи сквозят,  
и сети тяжело от этой вечной тони,  
когда такой улов ее захватом взят.

*31 июля 1976*

## СУВОРОВ

На просторах на крылатых,  
не понявши, что почем,  
встал героем карла в латах,  
размахавшийся мечом.

Поиграть в войну из детской  
выскочил Персей без крыл.  
Шлемом, как скорлупкой грецкой,  
темя легкое прикрыл.

Поднимается, немея,  
ручка бойко, а пока  
навалились на пигмея  
и простор и облака.

*31 июля 1976*

## ПОД СТРАХОМ СЧАСТЬЯ фуга

Какое счастье на меня свалилось!  
Какое счастье грянуло, как гром!  
Ты раскошелилась и похвалилась  
своим огромным (догола!) добром.  
Дианы грудь, которую любовник  
бесхитростно и по-мужичьи мял!  
Ланиты Флоры, где шиповник  
был бел снаружи, а под кожей ал!

Да перестану ли во все глаза смотреть я,  
и скоро ли я размышлять возьмусь,  
что ты – мой дар, по счету Муза третья,  
что ты последняя из Муз?

Сверкает ум. А чувства что нашли в нем?  
Ответнее любви твои глаза.  
Какое счастье хлещет, как гроза,  
и окатило дом наш ливнем!

Но вдруг – на миг (как призрак) обнаружась  
и сразу – бац! – по роже – шелк и трах! –  
как пьяный хулиган, озорничает ужас,  
и, как разбойник, стиснул глотку страх.  
И жизнь бежит, как уличная драка,  
с собачьим лаем под кошачий визг.  
И сколько битого добра от брака,  
не перечислит и судебный иск.

А что теперь мне делать с Музой, с первой?  
Ведь не прикажешь памяти: «Уйди  
и прошлого не бери!»  
А что мне делать с некогда Минервой,  
которая, по слухам, стала стервой  
и завила растрепанные нервы  
в жидеющие бигуди,  
забыв про девственно-простые пряди  
(быть может, даже к собственной досаде)?  
И оттого, что счастье ходит сзади,  
мне боязно от счастья впереди.  
Да справлюсь ли я с ним? Да я ли одолею  
такую тяжесть, или околею?  
Оно – измученная наша ноша.  
И силы хватит ли нести блаженный груз?  
Ведь счастье – тяжкий дар от Муз.  
И скоро скажешь ты: «Как хороша пороша,  
когда заметены последние следы  
и нет уже ни счастья, ни беды».  
Друг друга будем есть, как будничное брашно,  
и слава Богу, если только так!  
И всё же мне на миг бывает страшно  
от счастья на стершийся пятак.

Подыгрывай, гитара!  
Да так, что душу вон!  
Ведь счастье – стеклотара,  
разбитый сон и звон.

Со счастьем стой в затылок  
среди тихой суеты!  
Как звон пустых бутылок,  
мне станешь все ты.

Пусть хоть бы так! Лишь бы со мною рядом.  
А то, как в сказке с древнею Ягой,  
избушка счастья повернется задом  
ко мне на курьих ножках, а фасадом  
(открытым!) zalюбуется другой.

Ну а пока стою я в очереди с тарой  
из дымчатого хрусталя,  
и повседневненький и старый,  
кого всё носит добрая земля,  
как третья Муза. Что же делать с первой?  
(И страх от счастья за душу берет.)  
Иль музыкою исходить, как спермой,  
в синкопах судорог врываясь в жаркий рот,  
от будущего трепеща? Избушка  
на курьих ножках – это тоже дом,  
где счастье светится, как бедная полушка,  
добытая любовью и трудом.

Авоськи (две!) – блаженная обуза.  
Стоим мы с очередью века врозь.  
Ты мне – последняя, отчаянная Муза,  
а я тебе – и свой и твой Авось.

*1–7 августа 1976*

## ХРАМ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА КРОВИ

Убийство по старинке возвеличь,  
до пиршеств как до пряников охочий,  
и на поминки выстави ты, зодчий,  
глазурями пестреющий кулич.

А рядом благородно-строгий сад,  
где ходит в липах вечная Расея.  
А рядом бесконечного музея  
повернут задом, как лицом, фасад.

А рядом потемненное стекло  
в решетку заключенного канала,  
куда заря, как чайка, окунала –  
в чернильницу – поблекшее крыло.

Ты думаешь, что ты надгробный склеп.  
Но ты стоишь, как пьяный пир на тризне,  
в позолоченной ризе-укоризне,  
своею русской лепотой нелеп.

Я зодчего-пьянчугу уличу  
в обжорстве, но, бродя мимо поминок,  
я одинок здесь, как заблудший инок,  
и помолюсь святому куличу.

*12 августа 1976*

## БОГ фуга

Я – Бог. Ибо я был до самого себя,  
младенчески седобородый,  
по волосинкам время теребя  
(и, стало быть, божественной природы).

Я вечно был и прежде, нежли до,  
а это может лишь всесильный Бог.

Я был снесен во звездное гнездо,  
в котором чей-то мир, как пес, издох.  
В гнездо мы с ним попали как попало,  
ибо изгрыз он до костей закон.  
А сверхпространство ям понакопало,  
холмов нагромоздило из времен.

Никто допрежь себя не может стать!

Окроме Бога!

(Это Божий признак.)

Ибо Он может всё, разумник и капризник,  
и даже самого Себя, как призрак,  
кнутом науки отхвостать.

(Невесть зачем восхощет,  
невесть зачем отхвощет!)

И аз есмь Бог и пасынок столетью,  
исхлестанный и поперек и вдоль  
отечески тысячехвостой плетью.  
Я Бог и, как портфель, таскаю сбоку боль.

С наукой-мачехой Господь живет, как с Федрой,  
мясами тощей, но на похоть щедрой.

И может Он ее раздолжить  
(при случае как должно разложить),  
и тело станет что кровать Прокруста  
из стонов до костей, из шепота и хруста,  
но этот своенравный Ипполит  
Федрушу-матушку впустую распалит,  
Он радуется, если ей заправит,  
но только страсть ее научную растравит.

Я – Бог. И все мы понемногу боги,  
и всяк есть Бог по малости своей,  
по милости великой, и, ей-ей,  
мы прибожаемся, зане есмы убоги.  
И всяк в своей нутробе, как в берлоге  
(иль как развязка тайная в прологе),  
лежит и мается, медвежий лицедей!

Откуда в нас взялась такая сила?

В пространстве драном время моросило,  
и пустота была, как бытие, густа,  
а явь земная – кончиком моста.  
И пустота была не просто та  
Акимом мыслимая простота,  
а Божья плоть густая, от которой  
просторы вечные вертелись, как моторы.  
Как Богородица и Приснодева,  
рожала пустота направо и налево  
то явь, то инобытие, то яв,  
который, в руку власть, как яблоко, прияв,  
сидел в себе, как некий Магадева,  
подсунув под себя буддические ноги.  
И он есть Бог (а заодно и я!)  
в переживаниях Всебытия.

Исподтишка и все мы – боги.

Подумать – ум вскружится от богов,  
такая пропасть их и сила.  
И в жертву им наука приносила  
своих детей, неверов и врагов.  
На то она Медея-чаровница,  
которая задумала сравниться  
с Ананкой, Мойрой или Тихой,  
бабенкой неречистою и тихой.

Но ведьме уготована гробница,  
где черви времени ее сожрут.

Как Бог, не почитаю я за труд  
заглядывать вперед и видеть кучи срама,  
хотя от них и ворочу я нос,  
от навороченных тобою, Логодрама,  
пред тем как сдохнешь, словно пес.  
За ревность древнюю, за дружескую драку  
тебя в гробницу бросят, как собаку,  
воздвигнут мавзолее твоих прекрасных зол,  
как будто приказал быть по сему Мавзол,  
и станут складывать вселенские баллады  
про жизнь беспутную такой Паллады  
хозяйственной, бездевушной, безмужней,  
а стало быть, и никому не нужной.

А впрочем, Бог с тобой! Какой-нибудь божишко?  
Эротик крохотный, на ровном месте шишка?  
И пусть я лишь дворовый кабысдох,  
я усумняю всё, а стало быть, я – Бог.  
Ибо одно Сумнение всеильно,  
которому Варшава да и Вильна  
прислать не забывают свой привет.  
Оно качается, вращая мрак и свет,  
расписывая красками экраны,  
и руки поднимая, словно краны,  
и враки грозные вбивая, как тараны,  
и говорит: «Возрадуйтесь, бараны,  
погрязшие во стаде и в говне  
всечеловеческом, зане  
спасение живым во мне,  
а не внутри и не вовне».

Аз есмь Ничто, та Сила мировая,  
которая, от яви отрывая

галактики, как малые частицы,  
до бытия всевластна участиться.  
И возникает всё за мной.  
Любое быть – не быть, и суть любая – несуть,  
любая нехоть – хоть, и сыть любая – несуть,  
ибо я Бог бессмертный и чудной.  
Но, слава Богу, не земной,  
ибо земные боги даже  
гадюк и змей-горынычей погаже,  
а если бог земной – всего лишь скорпион,  
то, жаля, причиняет скорбь и он.  
И я в земные боги не прошусь.  
Уж лучше я землей припорошусь,  
чем искажу свою природу  
в угоду разливному сброду,  
который налил так бесстыжие глаза,  
что принимает хлопа за туза.

Я – Бог, раскиданный налево и направо,  
я – Бог, качающийся взад-вперед,  
я – Бог, которого никто не разберет,  
ибо я Бог без правды и без права,  
пусть и остер и крепок мой глагол,  
как в гузно бытия забитый кол.  
Нет у меня ни нравности, ни нрава  
(и нравственности тоже фиг!).  
Символ мой – вал и суть моя – орава,  
а мой притин есть просто мой притык.

Как рыбы, ангелы всплеснутся  
вослед отверстому лучу,  
но даже пальцем прикоснуться  
я к Божьей тайне не хочу.  
Она страшнее тайны смерти  
и тайны каждого конца,  
когда и ангелы и черти  
на части тащат мертвеца.



Я – самого себя сплошное опозданье,  
несуществующее забытье,  
и в крохотных хоробах мирозданья  
мне, попросту признаться, не житье.  
Вокруг меня течет, совсем проста, река,  
великой бородой шевелится, как невод.  
Вода в сетях темна, как Гераклит. А мне вот  
всё вспоминается про старика  
с лицом рыбацким, всем ветрам открытым,  
и про старуху с треснувшим корытом.

Все люди суетны, как боги и герои,  
а также смертны, как и все миры,  
живущи от дыры и до дыры  
пустотами во бранном строе.  
Но повергает в прах своих врагов  
какой-то всепостижный Бог Богов,  
врагов, казалось бы, неотразимых  
дубинкой бьет Петрушка-скоморох,  
врагов отъявленных в пристрашных образах,  
в арапах, и в китайцах, и в грузинах,  
и топчет в прах такой, что не собрать и крох  
от сих универсальных магазинов,  
семь глав, как семь пастей прожорливых, разинув,  
чудовище мое, Богов всебалаганный Бог!

*30 августа 1976 – 7 ноября 1977*

### **ТОТ ЖЕ ПОТОК-БОГАТЫРЬ**

Зачинается песня от старых речей,  
от веселого русского слова,  
от старинных медов, от былых калачей  
и от графа Алешки Толстого,  
от Алешки, да только, знать, не от того,  
кто за век свой, ей-ей, не жалел никого,

а трубил (если выгодно) марши, –  
от Алешки, который постарше.

Гой ты, графе-материце, иже еси  
во гробу на потеху потомкам!  
Ведь водились тогда на Руси караси,  
красовались монахи еломком.  
Но каков поворотец в истории сей!  
Позабыли гусей, не едят карасей,  
лебедей за столами не рушат.  
Только брюхо историки сушат.

Расстиляется прежняя русская ширь,  
только жизнь в ней иного фасонца...  
Жил веселый Михайло Поток-богатырь  
при Владимире Красное Солнце,  
спал по веку и больше – и всяких чудес  
навидался во сне. Но всеилен прогресс,  
и детина, веками молчащий,  
просыпаться стал несколько чаще.

Перспектива казалась не очень ясна.  
Засыпал богатырь в огорченье,  
просыпался опять, но из каждого сна  
выходило ему поученье.  
Он ударился в сон от лихого суда,  
от витий, говорящих туда и сюда,  
патриотов, и девок бескосых,  
и аптекарей гнусоголосых.

И решил веселейший из русских сынов,  
что ему просыпаться не надо,  
ибо каждый из снов удивительно нов,  
а на деле всё та же баллада.  
Так не лучше ль в дремучей печали лежать?  
Но уж как ни хотелось детинушке спать,

спать полвека ему не годится,  
и пришлось ему пробудиться.

Пробудился и видит: кругом всё красно!  
Полыхает! Ох, батюшки-светы!  
Пламя красное жрет вся и всех под одно,  
Русь огромным пожаром согрета.  
Обрядились теперь мужики в пиджаки,  
расплодились повсюду, как в мае жуки,  
на коней повскакали матросы,  
а за ними и бабы бескосы.

Усмехнулся Поток: «То бывало допрежь –  
режь родимую с краю до краю!  
Называлось это великий мятеж.  
Что из оного выйдет, не знаю».  
И он видит: на фоне кумачной зари  
в шлемах войлочных добрые богатыри  
по Руси совершают наезды,  
а на шлемах багряные звезды.

И промолвил Поток про себя: «Ничего!  
Дело правое многих обидит.  
Да опять же, ей-ей, невтерпеж без него.  
Погляжу, что из этого выйдет».  
Выходило, что Русь всё живет да живет,  
подтянув пуще прежнего тощий живот,  
а по ней скачут с рожей уродской  
всё какие-то Врангель да Троцкий.

Выходило, что Русь всё живет да живет  
поневоле бедно да убого,  
но дивится Поток, что строчит пулемет  
со всей мочи по Господу Богу.  
А на место порубленных в щепы икон  
понавешали рож. И чурается он

и пугается: «Батюшки-светы!»  
Называется это портреты.

Покачал головою Поток: «Ну и ну!  
Вот какая великая драка!  
Разорили, что борти медведи, страну  
и над ней изгаляются всяко.  
И при мне у князей тоже драка была,  
да не дрались тогда, как теперь, догола.  
Сами ходят и босы и наги,  
а орут об общественном благе».

И дивится Поток и от страха дрожит,  
аж рубаха от пота промокла.  
Вон какой-то сердитый с бородкою жид  
на Потока глядит через стекла.  
Почесал в голове богатырь: «Ну и ну!  
Я, пожалуй, со страху на годик сосну.  
Пусть опомнятся малость покуда,  
ан не явят ли некое чудо?»

Пробудился Поток через год-полтора  
и дивится, что дело неплохо –  
суетится, как прежде, мужик у двора,  
гладит ласково матушку-соху.  
И взирает Поток и туды и сюды:  
у народа прикрыты срамные уды,  
стали снова старик и старуха  
по-боярски отращивать брюхо.

«Превратил же Господь карася в поросю, –  
озирает Поток магазины,  
предовольно младыми усами тряся, –  
вывез Русь из кровавой грязины!  
Этак в яблоки Он принарядит сосну!  
Лягу я да опять лет полсотни сосну!

А Господь на Руси всё наладит,  
если бес или пес не подгадит».

Пробудился Поток, видит – что-то не так!  
Волокут всё кого-то солдаты,  
как тьма тем умножается призрачный враг  
и растут на Руси казематы.  
И усатый какой-то бесчинствует хан:  
он от крови народной и весел и пьян,  
как отец он трудящихся любит  
и отечески головы рубит.

В ожиданьи застыл обалделый народ,  
на коленях стоит он во прахе,  
слыша, как повелителю славу орет  
голова, покотившись с плахи.  
Как увидел такое отважный Поток,  
так с испугу он даже и пискнуть не смог,  
и в носу он тоскливо копает  
и от горя опять засыпает.

Но недолго детинушка нежился тут,  
и представилась взору картина,  
как друг дружке ручищи кровавые жмут  
два отъявленных сукиных сына.  
И, навытяжку встав, простодушный народ  
по команде «ура!» от восторга орет.  
И полезли названные братцы  
смертным боем безжалостно драться.

«Потрудиться и мне, знать, придется мечом,  
коль война запылала на свете! –  
молвил храбрый Поток-богатырь. – Но при чем,  
не пойму, эти сукины дети?»  
Ранен был и контужен Михайло Поток  
и, сконфужен, во вражеский госпиталь лег.

А за раны воителю дали  
десять лет и четыре медали.

Расстиляется прежняя русская ширь,  
и давно уже зажили раны,  
но сидит или дремлет Поток-богатырь,  
иль уехал в заморские страны –  
никаких ни вестей, ни известий о том,  
даже справки не даст соответственный том  
Уложений Великого Рока  
о кончине Михайлы Потока.

*28 октября – 1 ноября 1977  
Комарово*

## **Я ВЧУЖЕ фуга**

...ja jestem sobie czasem taki daleki.

*St. Lem*

Я сам себе порой бываю кем-то  
и в непогодье на себя смотрю,  
как Лир на скомороха иль на Кента  
сквозь бурю, ливень, ветер и зарю.  
А в колбе зренья – блошки, мошки, мушки  
распрыгались, как мертвецы.  
А в колоколе слуха – погремушки  
и времени трясутся бубенцы...

Верлен валяется на госпитальной койке,  
шут едет на метре один за трех,  
а Лир, скача на буре, как на тройке,  
орет, и пустосвят и пустобрех,  
промеж Диан, Корделий и Матрех.

И вот, подсунув мне в подруги сучку  
ученую, Марфутку или блядь,  
ведет меня чужая жизнь за ручку  
по разным чувствам гулять.

А я смотрю, какой я малый добрый,  
тощая тенью мавра на стене,  
и робко пересчитываю ребра  
из ревности судьбе, как молодой жене.  
А тень дрожит, как женщина чужая,  
и я по-за углом даю ей прикурить  
и, даже сигареткой одолая,  
ей говорю, беспутной: «Брось дурить!»  
Но, жиденьким актеркам подражая,  
виденья своего она не может скрыть.

И жметесь тень в наемном уголочке,  
жуеет со скуки черствую молву,  
а я, как водится, без проволоочки  
как в сказке андерсеновской живу,  
подобно всякому культурному растению.

Под солнцем место у забора с тенью  
я занимаю в тощем огороде  
среди готовых во щи овощей  
и знать не знаю о природе  
философических вещей.

На корень свой и ствол, сучок или росток  
(как юг и север, запад и восток)  
смотрю и вижу то, что неприглядно,  
смотрю как на Тезея Ариадна,  
а на нее гляжу как бог наксосский  
и как младенец с трехвершковой соской.

Всё это так! Растак!! Разэдак!!!  
(Я за собой подглядывать мастак.)

Но взор, как древний бор, повырублен и редок,  
и на себя взираю я, как предок:  
«Вот так тебя! Разэдак!! И растак!!!»

Меж особой моих шагает серый Гамлет,  
и вслух и втихомолку их кляня,  
и видит, как он сам умишком храмлет,  
ничуть не меньше самого меня.

Я у себя, как у татар в полоне,  
в заложниках живу (а на кой ляд?),  
и попадаюсь, как седой Полоний,  
я королевичу на острый взгляд.  
Спаси мя, Боже, от литературы!  
От разноглазья! От своих людей!  
Я на трагедию взираю с верхотуры,  
как очи проглядевший лицедей.

*7–17 ноября 1976*

## **ПОЗДНО! фуга**

Поздно! Вечер переходит в ночь  
беспросветнейшую мирозданья,  
и мой Бог под страхом опозданья  
будет, словно бестолочь, толочь  
звезды мелкие в огромной ступке  
(как и я свои поступки).

Поздно! Поздно! Проворонил сроки!  
(В трещины пролезть запрещено!)  
И трещат удачницы-сороки,  
и бывшее всё защищено  
временной стеной бесповоротной –  
нету в ней ни щелочек, ни дыр,

и хохочет надо мною ротный  
крохотный сорочий командир:

«У меня-то, погляди,  
на груди-то звездно!  
У тебя же впереди,  
как и сзади, поздно.  
Дожил даже до седых  
пор, а где отрада?  
Ох, да вздох, да передых –  
вот и вся награда!»

Не хочу за временем бежать,  
словно колокольчик дребезжать,  
не хочу ни жаться, ни визжать  
от восторга, уймой всяких всячин  
льготных (по-собачьи) околпачен.  
И, пожалуй, лучше опоздать,  
нежели себя на откуп сдать.  
Может быть, и легче будет житься,  
если с жизнью не совсем сдружиться?

Выступило время в роли тела,  
провалилось да и пролетело,  
и у ноября с морозу грозно  
совралось, что поздно, слишком поздно.

Кто, какой чудак или пророк  
жил всегда и всюду в срок?  
Всякий знает, втайне ноет рана  
у мальчишки и у ветерана,  
у смиренника и у тирана:  
либо поздно, либо еще рано!

Так не сетуй и не пустословь,  
что живешь ты-де великопостно!

Вот пришла и обняла любовь!  
Только поздно, поздно, слишком поздно.

Время торопилось постареть  
хоть наполовину, хоть на треть  
и бывшее запасало впредь,  
словно впрок, весьма серьезно.  
И на куче, где весьма навозно,  
кажется, забыл я умереть,  
а теперь уж поздно, поздно, поздно!

*7–17 ноября 1976*

## ПЯТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

Was an mir stirbt, bin ich nicht selbst!

Herder

Как память черная, несется в полночь елка  
в лесу, усыпанном сусальной бахромой.  
В слезах хрустальных стонет богомолка,  
русалка ли? И на нее умолка  
нет и не будет. Дым идет от волка  
(а волк кровавый, хрупкий и хромой).

И в дебрях разветвленного пространства,  
игрушечного Рождества,  
в мерцаньях времени такое окаянство,  
такое празднество и пьянство,  
такое детски-нежное буянство,  
что, как фонарики, горят слова  
и убегают свечечной цепочкой,  
и я нелопнувшей (от горя) почкой  
на веточке сижу и глуп, как пуп.  
А темный поп (медвежий ли уступ?)

быть может, даже и в берлогу?),  
как подступ к Прулогу (или к пролугу),  
возвысился и хриплым дымом,  
как Чернодум на месте нелюдимом,  
гласит из будущего в старь  
чудовищный рождественский тропарь.

Пируют: кошки, мышки, и старушки,  
и мишки, превращенные в игрушки,  
и оттирает пьяный Дед Мороз  
от зимней правды ало-сизый нос.

И бытие, как елка, разветвилось  
и в ночь сочельничью по-своему явилось.  
На каждой веточке болтаются Петрушки,  
которые всё тот же самый я.  
Творожная метель с лицом ватрушки  
звенит, как грошики в церковной кружке,  
как бесконечно-малые полушки –  
кружочков медных бедная семья.

А ночь сочельничья – чужая и ничья.

Русалка плачет. Стон идет из ели,  
согнувшей старческий, но трижды стройный стан  
в погибель легкую, и бытие изъели  
вневременные черви, и канкан  
отплясывают в юбочках конфеты,  
а лисы спинами выводят менуэты.

И я рожден и в ясли сдан.

А новорожденные детки  
посыпались покупками из сетки,  
из богоданной маминой авоськи –  
сосульки, шарики, слоны и моськи,  
обличья лебеда, павлина и осла.

В лесу родилась елочка,  
в лесу она росла.

И плачет богомолочка  
(а может, комсомолочка?),  
как дата без числа.

И в нитях времени мне будущее снится,  
как в серебристой канители.  
(А ниточки живой на теле  
и не было, и нет.) А красный волк дымится.  
И в лапчатом пространстве мощь такая,  
что прет она на тыны пустоты,  
на частоколы боли и макая  
коническую ель мохнатой красоты  
в огромный ум, который тоже тут,  
где малые младенчики поют,  
скача, как зайчики, вокруг околочка,  
и по-мышинному пищат со зла:

«В лесу родилась елочка,  
в лесу она росла».

И я – бесчисленный, как все Петрушки,  
все с длинным носом, ибо это мы  
и существуем только как игрушки  
среди вселенско-детской кутерьмы.  
И суть Петрушкина неисчислима.  
Всяк сук навис как суд, и в каждой сути я.  
Всё может быть. И есть! – когда проходит мимо.  
И я рождаюсь так неутомимо,  
что елка, как пожар, горит без дыма  
Всерождением Всебытия.

*24 декабря 1976 – 7 января 1977*

1977

**Я ЗАДУМЧИВЫЙ, В ВОПРОСАХ БЕЗ ОТВЕТОВ**  
**фуга**

Я – я ли есмь? И что я сам смогу?  
Шагнуть и тронуть? Или что поболе?  
Из связей в сером головном мозгу,  
как вспышка магния, блеснуло чувство боли.  
А связи эти – как пучки кудели,  
бездарной голове подобье парика.  
И неужели это в самом деле –  
мои же многократные модели,  
которые ученые надели  
на бедного смешного старика,  
как на парадный модный манекен,  
который так, в обнимочку с никем,  
стоит в витрине страшно объективно  
(но, между прочим, и весьма противно),  
а стало быть, смекает, бедолага,  
что истина не означает блага,  
что истина лишь то и означает,  
чего он сам не чует и не чаёт,  
и всё ж зачем-то благом величает?

По истине такой я сам себе противен,  
и жизнь свою – и с телом и с душой! –  
продам я по цене никак уж не большой:  
купите перл природы за семь гривен!  
Прямее на товар мыслительный смотри!  
Такие вот дела, monsieur de la Mettrie!  
А говоря точнее – безделушки,  
и с вами мы не стоим и полушки,  
хотя и движутся на рычагах науки  
печенка, мозг, глаза, и ум, и руки.

И ваша книжка, в сущности, не ваша,  
и, уж коли на то пошло,  
вы ей не автор, даже не папаша, –  
а пошное от песьей правды зло,  
от желчи черное, ту книгу сочинило,  
в придачу взяв перо, бумагу да чернила.

И я пишу не сам, а мой невольный робот  
скрежещет за меня, и весь мой опыт,  
по песьей правде, вовсе и не мой.  
Я хоть предмет и сложный, да немой.  
Я грязен, но меня наукою не мой!  
Ведь черна кобеля наука не отмоет,  
когда он ест не что иное, как коллоид,  
погрязший и в говне, и в философской нуди.  
Не я люблю, любить велят мне муди,  
а я смиренный раб любви и без прикрас  
избранницу раз-раз и на матрас!

Не веруя богам и чудесам,  
не сам не верую, и слово «сам»  
давно пора изгнать из лексикона,  
ибо оно торчит в нем незаконно,  
такое же как Бог, а по науке  
не сами суем даже руки в брюки,  
и за меня, паршивого субъекта,  
всё сотворяет нечто (или некто?),  
как вечный двигатель, нечистая причина,  
крутящаяся как машина  
(иль будто белка в Божьем колесе).  
А я воссел во всей измышленной красе!

И всё трудней становится дневаться  
среди этих скудных истин бытия.  
Вития! Сколь скудна по мертвом лития.  
Природа широка, и рано мне сдаваться.

Когда могу еще я сомневаться,  
авось хоть как-то боком есть и я!

*1 января – 7 февраля 1977*

\* \* \*

В бар, походкою охотный,  
входит парень молодой,  
беззаботный, безработный,  
вместе с девочкой – бедой.

А беда в последней моде  
(только глаза без всего!),  
а сама-то ради-вроде  
и девчонка ничего.

Дуй, Ванюха, «Повалиху»!  
Дуйди-диду-дидудой!  
И отплясывает лихо  
парень с маленькой бедой.

*2 января 1977*

\* \* \*

Повисает – посмотри! –  
вечер, как игрушка, хрупкий!  
Снег летит на фонари,  
сыплет серебристой крупкой.

Стынет в белой ворожке  
свадебный узор чугунный.  
Дома зеркало лагуной  
застывает на тебе.

Город, снег и мир. Но чей?  
Неужели будем вправе  
от игрушечных ночей  
обратиться к старой яви?

*10 января 1977*

\* \* \*

Отчего они так красивы,  
эти белые с охрой бури,  
Петербургская Россия  
в морозной архитектуре?

А взгрустнется, так вспомните  
Марсов плац с чугунной дубровкой,  
иней стынувший на граните,  
как седой воротник бобровый!

И из дедовских и из отчих  
рук глядит красота былая,  
в крепостничестве вольных зодчих  
на глазах опять оживая.

*17 января 1977*

## **ЛЕБЯЖЬЯ КАНАВКА**

Словно шмутки-монатки,  
растащили года.  
А в Лебяжьей Канавке  
сиротеет вода.

И прямая такая,  
и до донца видна,



по теням протекая,  
всё-то лето одна.

Лоэнгрины уплыли...  
(Да и были ль когда?)  
И лежит как в могиле  
та девичья вода.

И вокруг девки нет давки,  
не бывает смотрин,  
по Лебяжьей Канавке  
не плывет Лоэнгрин.

*28 января 1977*

\* \* \*

Под старость только сушь да сырость:  
погода тела такова.  
Но эта жизненная сытость –  
пока еще одни слова,

и можно месяцы и годы  
и жить, и тратить, и терять,  
но предсказаниям погоды  
нельзя чрезмерно доверять.

Зимой зимы не замечаю,  
хожу я сам, и крив и хром,  
вокруг природы – и не чаю,  
когда меня пристукнет гром.

*7 февраля – 2 марта 1977*

\* \* \*

Как ластится (начну я)  
тепла и пуха власть  
(ласкать в глазах ночную  
серебряную сласть),

взасос. Как сон бессанный,  
несется снег в мехах.  
Сусанной иль осанной  
впотьмах явилось: «Ах!»

Сквозь дебри, как сквозь патлы  
(иль то в маразме я?),  
и жемчуг Клеопатры,  
и как мара – змея.

И всё (что нажил телом)  
ушло на темный фон  
(на свете пожелтелом),  
как черный антифон.

*12 февраля 1977*

## МОЙКА

Нынче день какой-то полоротый,  
мой, чужой и все-таки ничей.  
Вижу я на Мойке повороты  
разогретых каменных плечей,

чаек над водой лениво-скользкой  
и колонны княжеских хором,  
где на лестнице мужик тобольский  
пал от пуль, как бык под топором.

Воздух грязен – как белье для стирки,  
и в корыте каменном река.  
И кирпично-красный призрак Кирки  
из бывшего смотрит свысока.

*20 февраля 1977*

### **НУЖНИК**

Ветроудй-шаромыжник  
так и шарит настырно,  
а общественный нужник  
прозябает ампирно.

Он относится к зною  
и к зиме балдахинной  
охряной желтизною,  
белизной своей хинной.

То надменно застынет,  
то ленив, словно съеста.  
Иль в тебе красоты нет,  
ты, захожее место?

*28 февраля 1977*

### **ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ**

Галок шугая  
направо-налево,  
в пестром шугае  
стоит Параскева,

всё хорошея  
в столетиях грузно –

белая шея,  
ядренное гузно.

*2 марта 1977*

### **ШАРМАНКА**

Ручища на ручке.  
От этой игры  
грошовой – получки,  
глазасты – дворы.

Былая приманка  
тоскливых чудес!  
Сломалась шарманка,  
шарманщик исчез.

Ах, кинокартинки!  
Но ладно и так!  
Никто сиротинке  
не кинет пятак.

*7 марта 1977*

### **ВЕСЕЛЫЙ ПОСЕЛОК**

Ей-богу, вид убогий за окном,  
и около коробки иль колоды  
идет с портфелем ежедневный гном,  
пустосердечный и густобородый,  
весьма разумный выкидыш природы.  
И вот, как при Бианте, всё при нем:  
желудок, мозг, получка, и покупки,  
и поступь человечья, и поступки.  
Хотя в нутре он малость и поломан,  
но отдавать себя в починку лень,

и, может статься, вовсе и не гном он,  
а сам себе полузабытый гномон,  
и на несуществующий плетень  
наводит он невидимую тень.  
А хмурый городской бездомный день  
стоит вокруг, как ультразвучный гомон,  
и к беззаботным гномовым ногам  
не пристают ни грязь, ни шум, ни гам.

С людьми связавшись, время веселилось,  
и вот история проистекла:  
деревня из бетона и стекла  
во град Петров переселилась.

Настаивает тупо зодчий черт  
на тошной точности и праве линий  
прямыми быть, и красоте аборт  
он делает, а воздух так же сперт  
и заперт, как в великом равелине.  
Да и не черт, а так себе – бесенок,  
под стать ветришке В-Ус-Не-Дую,  
который вертит хвостиком спросонок  
и в кубики играет врассыпную.

И вижу я поселок невеселый,  
где не гнездятся даже воробьи,  
где чахнет зелень и в кругу семьи  
чирикают безбедно новоселы,  
глядят по телевизору кино,  
пьют водку, пиво, иногда вино,  
мурлычут и играют в домино,  
козла, как Азазела, забывая,  
«Шумел камыш» квартетом запевая,  
и беды и обиды запивая  
и про себя легонько забывая.

Ох, мужики и наломали дров!  
И всё еще летят швырки косые,  
кривоколенные. Красуйся, град Петров,  
и стой в истории упрямо, как Россия!

*17 марта 1977*

## РУССКИЙ МУЗЕЙ

Простор ли закипел столь яростно в матросе?  
Но вот, с богиней балуясь, как Пелей,  
здесь всероссийскую громаду сдвинул Росси  
и в плаванье пустил со стапелей.

И не уходит век громадина со сцены,  
как с неба синего полдневная краса,  
и медленно белеют стены,  
как облачные паруса.

Ты, зодчая рука, немало нахитрила, –  
и, мне напомнив поступью харит  
и белокаменные распротря ветрила,  
в пустынном воздухе корабль парит.

*21 марта 1977*

## ИЗ ОКНА

Утро. Улица. И никакой аптеки.  
Нет на длинной ножке фонаря.  
В окнах просыпается заря,  
и, зевки огромные творя,  
как молитву, ходят человеки  
медленно в своем двадцатом веке,  
как непокоренные аптеки.

На углу приниженная фря  
добивается – и, верно, зря –  
поцелуя от богатыря,  
опуская, словно шторы, веки.  
Утро. Улица. И никакой аптеки.

*31 марта 1977*

### 1-е АПРЕЛЯ

Невесел он, весенний день обманный.  
Уже с утра такая муть и нудь!  
И небо присыпает крупной манной  
несуществующие раны.  
У времени нет ни Поздна, ни Рана,  
и некого для смеху обмануть.

Как будто все от важных дел взопрели  
(иль, может быть, соскучились всерьез?)  
и позабыли, что обман в апреле  
(будь то взаправду, в горе ли, во пре ли)  
не стоит ни обид, ни слез.

И пасовать последний мяч судьбе  
устала старческая возмужалость,  
играющая нынче в классе «б».  
Обман раскрыт. И как ужасна жалость –  
безжалостная – к самому себе.

*1 апреля 1977*

### MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.  
Что было до меня –  
не помню.  
Вероятно, всякие истории,  
а я не Митрофан  
и сызмала до них  
не охотник.  
Что будет после меня –  
не знаю.  
Возможно, что не будет  
никаких историй,  
кроме одной-единственной,  
самой последней,  
когда бациллы-микроцефалы,  
если уцелеют,  
попробуют читать мои стихи,  
а может быть, и не станут.  
Пока же мне исполнилось 66,  
и шла затяжная игра,  
в которой я брал взятки  
и отдавал их,  
а завтра козырну  
червонным марьяжем.

*7 апреля 1977*

\* \* \*

Висят на людях резвые грехи,  
как на деревьях зрелые орехи.  
А у поэтов сыплются стихи  
в журналы, на пол и в прорехи.  
И человек стоит, как дуб греховный,  
и, с места не сходя, он так грешит,

что сам Всевышний властью всей верховной  
его грехов не разрешит.

Но это так, риторика всего лишь,  
метафора, и только! И грехам  
Ты, Боже праведный, легко мирволишь,  
и верю, что Твой сын любимый – Хам!

Но вправду есть грешок бездумный, простодушный,  
бессмысленный и даже как бы скучный,  
и этот незаметный грех,  
ей-богу, мерзостнее всех.

Когда работой тысячи судеб  
рожден на счастье многотрудный хлеб,  
дитя природы, пота и тоски,  
а мы его кромсаем и куски,  
как бы чудовищную неустойку,  
выбрасываем к черту на помойку,  
тогда и я ору, как Бог, во гневе:  
«Довлеет эта мерзость дневи!»

И грех ползет змеино-подколотный.  
Не разумеет сытого голодный.

Поэтому, поэты и поэтки,  
лишь вам бросать пристойно как попало  
в корзину, в нужник иль на дно журнала  
все стихотворные опивки и объедки.  
Ведь их не примет ни одно нутро  
и ни одно помойное ведро.

*12 апреля 1977*

## РАЧЬЯ ФУГА

Я сам еще, самец, а также тварь живая.  
И, Боже, как отважно я живу,  
зияя, словно рана ножевая,  
как рот, разодранный во всю молву,  
на весь базар пестровосточный,  
который южно обнажен,  
ленив, тяжел и нежен, точно  
султан иль евнух, смотрящий на жен,  
который странной страстью окружен,  
как вервием любви, заботы и недуга,  
и препоясан с севера и с юга.

Живая тварь – как мир, от Бога сотворенный,  
прекрасно-красный, словно рак вареный.

Я очи выпучил во зрении босом,  
но сам, ей-ей, не шевельну усом.  
И продаюсь по сотням и десяткам,  
подвержен скользким, гладким взяткам.

Одно меня на свете беспокоит:  
не знаю я до нынешнего дня,  
чего сегодня на базаре стоит  
Господня сотня самого меня.

(Не знаю и того, хоть плачь я,  
Господня сотня, рачья иль казачья.)

Ни многоженства, ни безбрачья  
судьба не отрицает рачья.  
И плотью я, как прежде, беззаботен.  
А Бог продаст меня, как сотни прочих сотен.

Я всею сотней шевелюсь в корзине.

И мной торгует Он из подворотен  
или в гурманском магазине,  
а я и жальче и смешней  
всё разеваю тысячи клешней.

Как радиоприбор, я выставлю антенны  
и сквозь непроницаемые стены  
послушаю последние известья,  
которые нашепчут мне созвездья.

И бытие мое чернеет многогого,  
и пересохшим телом я на йога –  
окаменелым – несколько похож  
(в трескучей оболочке). Ну так что ж!

Я существую, как живые твари,  
членистоногий задопят.  
И как смертельны зори на базаре,  
когда, как тонкоусые татаре,  
в плетенках и корзинках раки спят.

А может быть, еще перезимую  
я, пучеглазый усонос,  
и за полтину Бог продаст в пивную  
мою всю сотню баловную,  
которой будет вся Вселенная не в нос.

*17 июня – 1 июля 1977*

\* \* \*

Утро выглянуло из-за тына.  
Закруглившаяся, чиста,  
каплей ртути лежит росина  
на сырой ладони листа.

А потом нежданно-непременно  
прилетает малец-песнодув  
и берет водяную горошину  
осторожно в ребяческий клюв.

С веток сыплется уйма светлого,  
отряхается птичий сад  
и, по слову Завета Ветхого,  
мыслит тысячи лет назад.

*30 июня 1977*

### **ВЕЛЕМУДРИЕ фугетта**

Я велемудрствую. Неужто это худо?  
Иль впрямь избыток мудрости вредит?  
Всего себя, как чушь, и дрянь, и чудо,  
со всей наличностью беру в кредит.  
Паучьим почерком из липового лыка  
стихи плету, карябаю коряво.  
Ужели худо? И сбиваюсь с панталыка –  
худое время как-никак дыряво:  
ни пауз не заткнет, ни пучеглазых дыр  
на стройке вечности родимый бригадир.  
(Пусть даже у него работает, у гада,  
гробокопателей стоглавая бригада!)

Я велемудрствую. Хватил чрез край ума.  
Налей-ка мне смирительной, кума!  
Ее когда-то звали русской горькой,  
ее с Бугаевым пивал я с Борькой,  
и уж признаюсь я тебе, лахудра:  
вот тоже был кусочек любомудра!  
И не плодил сей любомудр Бугаев  
ни какаду, ни прочих попугаев,

и был он, будто Арг стоглазый, зорок,  
и пил он горечь градусов на сорок...

Я велемудрствую. Ужели это плохо?  
Ну а зачем во мне копается эпоха,  
как будто ищет клад среди чертополоха?  
Что нужно ей от старого репья,  
колючего, как ямбы Архилоха,  
и серого, как ворохи тряпья?  
И если в трепотне есмь только отрепья,  
то ты, голубушка, блудливая Солоха.

Я велемудрствую и перл создання  
не в самом деле есмь, а поневоле.  
Чужого мне нельзя занять сознанья,  
зато свое держу в великой холе.

Я еле мудрствую. Меня накрыла йога –  
гиматий киника иль царственная тога,  
а ум спускается от брахманов до шудр.  
И в виде неподбитого итога  
я вынужден стать чем-то вроде Бога,  
в котором всячины для самохвала много,  
но мало для того, кто велемудр.

*1–15 июля 1977*

### **ГАТЧИНСКИЙ ПАРК**

Я видел, как перебулгачены  
бывают годы и века,  
но воды и деревья Гатчины  
всё те же, как и облака.

Здесь даже тучи не закончены,  
и, повернувшись вполубок,

у стен наследниковой вотчины  
стоит чугунный дурачок.

*14 июля 1977*

### **ИГРА И ЕДА**

Не ведаю, хоть в чем-то прав ли я.  
С какой из вечностей я однолеток?  
Но жизнь моя – большая тавлея  
с просторами полей иль просто клеток.  
И что ни ход – вишу на волоске,  
как над самим собой казачья шашка.  
И что я за фигура на доске?  
А может быть, и просто шашка?

Из дерева, из кости, из пластмассы,  
из воздуха ли сделаны тела,  
которые прекрасно толстомясы,  
а то пронзительны, как вертела?

Иду я, словно Божия игорка,  
и сам игрок, и сам же – каждый ход.  
Встречаются и яма мне, и горка.  
Я пешка и движение пехот.  
А говорят, что я-де плут Егорка  
и на полях квадратных Дон Кихот.  
И сам не разберу, где мне икорка,  
а где великий пост, квасок и корка.

*17 июля 1977*

## ПАВИЛЬОН ВЕНЕРЫ

Сидели кавалеры  
и дамы визави  
в часовенке Венеры  
на острове Любви.

В пресветлом сем амбаре,  
не ведаючи бед,  
разряженные баре  
любились или нет?

От блеска водна жарко –  
о зодческая пруть! –  
Амбар стоит, как барка,  
готовая отплыть.

*21 июля 1977*

\* \* \*

Живу в чужих умах, как в собственных домах,  
от странных и гостей дверей не запираю,  
а всех их потчую, как истый логомах,  
но на последнем слове замираю.

А гости говорят: на слове на последнем  
споткнулся-де. И то, какого же рожна  
вам надо? Истины? Не верите вы бредням?  
А истина – на что она нужна?

*7 августа 1977*

## ОГОРОДНАЯ ФУГА

Я с солнцем встал на страже у ворот,  
и с легким летом близится разлука,  
но еще жив великий Огород,  
как добрый зверь, топорща перья лука.  
Полуприкрылся он извне ботвой.  
А утро прозвонило, как побудка,  
и крохотный кусочек, небо, твой  
присвоила украдкой незабудка.  
Черно-зеленый друг работы и свободы,  
огромный Огород лежит среди природы.

Воззрился бисеринкой глаз скворца  
на туловище огурца  
и, может быть, назвать его готов  
безглавым представителем китов  
(сиречь считать сие зеленое полено  
за экземпляр растительной *balaena*).  
А хитрый жук бежит дорожкой окольной  
в сыром лесу ботвы свекольной,  
и, может быть, в ученой речи жгучей  
доложит про такой необычайный случай  
на конференции научной, иль, как тати,  
чужую мысль протащит он в трактате  
о жизнеописаниях земных,  
вводя немало поучений в них.

И я стою, как зритель благородный,  
весь преисполнен жизни огородной.

Воробушкам-обжорушкам неплохо  
назобить семечек чертополоха,  
который встал вокруг почти как стенка  
мшасто-мышастого оттенка.  
А после знай себе всей воробьиной кликой  
сиди на вешках да чирикай!



В малиновых манишках снегири,  
в жилетках белых – франты в черных фраках  
порхают на пиру с зари и до зари,  
во браках пребывая и во драках.

А в Огороде уйма овощей  
(вещей в себе иль ради свежих шей?)  
в нутре земном шевелится незримо.  
(А я стою, как будто бы из Рима  
из древнего приехал старый Плиний  
взирать на лепоту живую линий.)

Пахучий друг прожорливых утроб,  
в прозрачных зонтиках кокетливый укроп  
стоит на цыпочках, как девочка у кассы,  
раскрывши хрупких веточек каркасы.

Всем известно, что Европа  
жить не может без укропа  
и готова даже в гроб  
положить с собой укроп.

Петрушка мне прекрасна в роли внука  
в балетной школе. У меня любовь  
ко всяким корешкам. А ну, рвану-ка  
за сказочные волосы морковь!  
Пусть эта перезрелая девица  
на Божий свет глазаеет и дивится,  
и радуется, что из-под земли  
ее, как из темницы, извлекли.

И как вкусно, тонко, ловко –  
прямо хоть рукоплещи! –  
и петрушка и морковка  
исполняют танец Щи.

И вот уже я целый час знаком  
с ядреным белотелым Чесноком,  
чей нрав издалека мне сразу виден:  
зубаст он, злоязычен и ехиден.

Он частушки распевает,  
добрый молодец Чеснок.  
Кулаками вонь сбивает  
даже и прохожих с ног.

Но, разумеется, мой закадычный друг –  
монголоподобный желторожий лук,  
который в прорастаньи неустанном  
зеленым шевелит султаном,  
превосходящим сочную траву,  
и теперь я  
эти перья  
оборву.

Жив Огород! И с самого утра  
жизнь овощей прекрасна и хитра.

А на травке три часа  
повисает стынь-роса.  
Для дам – зеленый гарус  
и жиденький стеклярус;  
для девочек – леденчики,  
стеклянные бубенчики.

О радиовещание вещей!  
О метафизика священных овощей  
(в себе, для нас)! И голосом Софокла,  
как вещь в себе, которая намокла  
багровым потом, словно сваха Фекла:  
«Сотворена я Богом для борщей.  
Крошите в мою душу!» – стонет Свекла.

На утренней заре мой огородный край  
прекрасен, как Адамов рай.  
Предусмотрела всё широкая природа,  
чтобы Адам до овощей дорос  
под градом бомб, гранат и прочих гроз,  
не отвечая, впрочем, на вопрос,  
чем будет человек без Огорода.

*17 августа 1977 – 1 апреля 1978*

### **КРЫЛОВ В ЛЕТНЕМ САДУ**

Послушай, как у баснослова  
стихи литейные гремят!  
И подле дедушки Крылова  
рассыпан хоровод ребят.

Они смеются, ибо, твердо  
и строго вдавленные в медь,  
им презабавно строят морды  
лиса, косой и сам медведь.

Как прежде, гнут медведи дуги,  
ребячьи сверстники! И вот  
сии чугунные зверюги  
хотят вписаться в хоровод.

А дед сидит совсем невесел,  
устав от бремени трудов,  
седую голову повесил,  
в которой, верно, сто пудов.

На листьях ржавь и позолота,  
а дед сидит, как жизнь тяжел.  
А сзади дух барона Клодта  
с ним поздороваться пришел.

Сто лет сидит он, не вставая.  
Его согбеная спина  
ведет, как в гору мостовая,  
бульжным горем мощена.

*22 сентября – 14 октября 1977*

\* \* \*

*Саше*

Полугодие как лавина  
навалилось (но пламеня!).  
Стала ты моя половина  
(то есть попросту полменя).

Погребла. Но в брачной могиле  
мы испытываем судьбу.  
(Дай Бог дальше такой же гили!)  
Нам не тесно вдвоем в гробу.

Без угодливости, без угодий  
проживаем мы сами в себе.  
Лишь бы не было жаль полугодий  
этой жадной старой судьбе.

*7–11 октября 1977*

\* \* \*

Пришли отдать последний долг покойному,  
да вот долгов не принимает он!  
И то сказать, теперь долги на кой ему?  
Как нам червонцев отдаленный звон.

И все-таки долги приносим в сроки,  
творя обряды, как на Фоминой,  
и на поминках пусть вороны да сороки  
склюют, что прежде называлось мной.

*21 октября 1977*

## НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В неравном браке падши –  
вот он, неравный брак! –  
была ты вдвое младше.  
Теперь уже не так.

Брадато-патриарший  
мой возраст был мне враг:  
я был в два раза старше.  
Теперь уже не так.

Поймешь ли ты идею,  
о дева красоты,  
что я всё молодею,  
когда стареешь ты!

*1 ноября 1977*

\* \* \*

Под страхом счастья я теперь живу  
и не в широком сне, а наяву,  
боясь, что брэнное нутро,  
как заржавелое ведро,  
нежданно может опростаться  
и я с собой, таким твоим,  
как бы с трубой печальный дым,  
вдруг буду вынужден расстаться.

Авось и нет! И, словно бардадым,  
напрягши ум во всю сухую седину,  
я поживу еще какие-то века,  
с тобой играя нежно в дурака,  
покуда ног не протяну  
и не сыграю в долгий ящик,  
как существо из бывших настоящих.

*Ночь с 17 на 18 ноября 1977*

## НЕДОСУГ

Медленно двигались сутки, как сани или телега,  
только на свадьбу спешили с букетом гостей поезда.  
Путнику было всегда далеко до избы и ночлега,  
нищая с ним по сугробам тихонько тащилась звезда.

Медленно двигалось лето ленивое в жирную осень,  
и с неохотой зима пробавлялась веселой весной...  
Всё отмерялось неспешной рукою раз семь или восемь,  
и по окошком стоял дождь на часах навесной.

Нынче же час на весу и сутки уменьшились втрое.  
Мчатся звезды с зимой, и лето летит словно дым.  
Слышно: коня снарядили проворно в Трое.  
Слышно, что времени нет мужику становиться седым.

Как каруселька, вращается глобус быстрее и быстрее,  
стало острее пространство и даже время само.  
По эмпиреям катается с блеском и треском Астрея,  
на бездыханном лету глядясь в ледяное трюмо.

Всё недосуг мне под старость! Ведь так укротили пространство  
и непоседу-жизнь сумели так ублажить,  
так разложили на части и кости мое постоянство,  
что мне теперь просто-напросто некогда жить.

*26 ноября 1977*

\* \* \*

Боюсь смотреть на таянье свечи,  
на то, как буду оплывать в ночи,  
бессильный, бывший, сонный, сальный –  
огарок почести сусальной.  
А сало, стеарин или желтый воск  
течет слезами, словно жидкий мозг.

Но мне уже ни холодно ни жарко.  
Сижу, строку с трудом рожая  
и даже не соображая,  
что я – как тень от гадкого огарка.  
А тень глядит, как серый мозг плывет,  
и не надеется, что кто-то позовет:  
пойдем-де! Ждет еще бездонный день.

И разве что придет другая тень?  
Но даже ей, пожалуй, будет лень  
сказать «прости» такому запустению  
безмозглому, без времени... Иль год  
не посулит мне ни тягот, ни льгот.  
И будет пень гулять на всю Европу с тенью,  
с чужой, пока свеча мозги по каплям льет.

*6 декабря 1977*

\* \* \*

Ох, лень-позевота!  
На улице муть.  
Одна лишь забота –  
эх, как бы уснуть.

Уложены строки,  
как бревна, в ряды.

Уснуть от мороки,  
уснуть от беды!

А с темного юга,  
как с черного хода,  
кидается вьюга  
и вьется природа.

А в темном окошке  
у длинной родни,  
как жребы в лукошке,  
метаются дни.

*15 декабря 1977*

## РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

Я проснулся, думая, что умер  
и что нет рассвета моего.  
Огляделся – ничего!  
Осознал, что я не обезумел  
(только в левом ухе зудом зуммер).  
Звон будильный – только и всего.

Вспомнилось, что нынче Рождество  
(то бишь нет еще – Сочельник!).  
Как в трубу, в морозное окно  
поглядел на зимний звездный пчельник,  
где, как в гузне Божиим, темно  
и вращает скучно и умно  
астрономия веретено.

Хорошо католикам  
за кофейным столиком  
наматывать на ус  
Те, Deum, laudamus,

говорить нечаянно  
пиву и сосискам,  
Рождество встречая:  
«Мир вам! Pax vobiscum!» –

и лирическую чушь пороть,  
ибо думает за них Господь.

Православным хуже:  
изверились дюже.  
И к чему колядовать,  
если можно блядовать?  
Православный Христос  
проигрался в стос!

И однако в самом главном  
помогает православным,  
ставя им тарелку щец,  
бородатый Бог-Отец.

И я сижу, тощая, как Кощей,  
над черной плоской тех же постных щей,  
закусываю думой звездочета,  
а думать что-то неохота,  
когда бессчетное число вещей  
всё так же не перестает трепаться  
и свищет в тысячу своих свищей,  
как жулики на улице в три пальца.  
По улице бежит всё тот же жулик,  
как праздник из сосуллек и свистуллек.

О природы совершенство!  
Было дело – до утра  
воз добра, вагон блаженства  
выдавала на-гора  
детородная дыра.

Кощей Бессмертный посещает  
по малой и большой нужде  
и при луне и при звезде  
пустой пространства огород,  
где всё растёт наоборот,  
и жизнь ему он посвящает.  
Но он волшебник и урод,  
он только разевает рот,  
однако никаких щедрот  
по радио не обещает.

А вот рождественское детство, где  
у яслей жизни ангелов – что нянек  
и где висит, как младший брат звезде,  
первопечатный непочатый пряник.  
Сочельник теплится, как Божий мрак, во всем.  
Слепой мороз ведет снегурочью беду.  
Девичий тает воск, а мы сосем  
смерть, приготовленную на меду.

Мир на земле! Но балуют войной  
галактики, отплясывая фарс.

Политики двойной  
давно кровавый Марс,  
пускаясь в страшный марш,  
готовит звездный фарш.

Мир на земле! Но в Божьем страхе солнце  
глядит средь бела дня на звездную метель,  
и астрономия на веретенце  
вьет времени кудлатую кудель.

*24 декабря 1977 – 7 января 1978*

1978

### БУШЕ

Он преданно служил душе,  
и розовой и прелестной  
в воздушной нежности телесной,  
мясник по имени Буше.

Он населял небесный замок  
молочной плотью благ земных,  
роскошной пеной куртизанок,  
авророй их телес сквозных.

В лазури стройного овала,  
в тяжелых розах, хороша,  
неомраченная душа  
от плотской зыби ликовала.

На небесах, как на постели,  
она играла на туза,  
и влажной сладостью блестяли  
лениво-глупые глаза:

«Себя как карту я открою, –  
она любила повторять, –  
и этой розовой зарею  
я буду вечно козырять».

*16 января 1978*

### К МОЕМУ ПОРТРЕТУ

Не сестра мне жизнь, а племянница,  
билетерша из балагана.

Но, как яблочко, старость румянится  
сквозь зеленый сумрак органа.

Смотрит этак молодо-зелено,  
как актер, сам с собой, без грима,  
и расселась эта расселина  
всей душой, открыто и зримо.

А из туловища песчаного  
и небрежно-домашнего цвета  
руки выросли, словно заново  
два стиха ползут из поэта.

И до чертиков стало весело,  
ибо весь я тут нараспашку,  
и в бессмертии равновесия  
я держу себя, словно чашку.

Содержимое вроде кофея,  
и племянница – что карга нам.  
И представлены здесь любовь и я  
(к той, которая за органом).

*7 февраля 1978*

### КУСТОДИЕВ

Вечерний звон, как Волга, тихо  
течет по небу невзначай.  
А Русь, атласная купчиха,  
всё дует на горячий чай.

В просторе будто в сарафане  
или как хлеб в печи сидит,  
а то раздольной бабой в бане,  
прикрывшись веником, стоит.

А расписные сани кони  
на масляной под горку мчат.  
На розоватом небосклоне  
чернеют птицы и кричат.

Огромной зеленью пустынной  
спит, подпоясан, монастырь,  
а голос вывесок алтынный  
гудит с базара, как псалтырь.

Старопечатное преданье  
о мясе, рыбе, колбасе.  
И белокаменные зданья  
уснули в девственной красе.

Сидят извозчики в трактире,  
как боги в синих армяках.  
На стороны на все четыре  
душа открыта в мужиках:

всё тише, жарче и печальней,  
забрав под гузно целый мир,  
качая Русь в опочивальне,  
лежит и нежит милый жир.

*26 февраля 1978*

### **MIR ZUR FEIER**

Я родился в Благовещенье  
шестьдесят семь лет тому назад.  
Но у меня другое время,  
нежели у Бога и прочих людей.  
А вообще-то  
времени нету.  
Или оно  
такое тело,

что проникает мне в тело  
вопреки закону непроницаемости?  
Я это знаю,  
ибо я был  
около себя,  
вокруг да около.  
Беру свои шестьдесят семь лет  
в руку  
легко,  
как чемоданчик  
или дамскую сумочку,  
и несую, не зная, что это  
сумочка Святогора.  
Шуточка в деле!  
Шестьдесят семь лет  
прожить просто,  
как стихотворные строки,  
где ничему нет конца,  
не было и не будет,  
и я уже сам  
стою, потеряв  
время.  
Стою, как свой портрет,  
а веселый бесенок  
мочится в чашку с кофеем.  
Но я не сержусь и не плачусь:  
«Да минет меня чаша сия!»,  
ибо это есть испускание времени.  
И пускай!  
Стою как портрет  
у себя в головах,  
портрет, на который мне стало  
лень любоваться,  
ибо я не кончаюсь  
и времени  
вне меня  
нет.

И не знаю,  
страшно это или не страшно.  
Так и живу  
вокруг да около  
жены и комнаты,  
набитой чужими умами,  
как сумасшедший дом.  
Нет у меня времени,  
нет судьбы,  
а на нет и суда нет.  
И в теплых жениных  
ежовых рукавицах  
сизжу, как блаженный зародыш  
или подкидыш.  
И достаю сам себя,  
как шелковую кошелку,  
набитую тряпьем годов,  
лоскутками драных событий,  
и авось кто-нибудь изготовит  
мне из них коврик под ноги,  
подстелет, как орлец владыке,  
ибо я родился в Благовещенье.

*7 апреля – 20 октября 1978*

## ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА

### I

Колокольный грохот, сотрясенье  
духа, воздуха и сна!  
Светлое Христово воскресенье  
набегает, как весна,  
как прозрачно-звонкая волна.

Отпущу на волю эту ночь я.  
Пусть где хочет, там и ждет.  
Словно грязной плащаницы клочья,  
снег на солнышке поет.

Как медведи, человеки  
покидают свой закут.  
И разломанные реки,  
перерезанные реки,  
будто Божья кровь текут.

Погружен по горло в кресло,  
тру измученные чресла.  
Чрез меня исторглось Слово,  
из меня теперь воскресло  
тело тощее былого.

Думалось, что очень просто  
это тело схоронить  
и большим крестом с погоста  
от чертей оборонить.

Ан не тут-то было! Черти,  
словно Божьи колдуны,  
тело тянут из-под смерти  
под веселый звон весны.

### II

А Божья мать наша – это память  
и голым телом на кресте висит.  
Бес времени успел простор годов захламить:  
там серый пыльный дождик моросит.  
А Божья мать и сквозь эту заметь  
себя и всех нас воскресит.



Кто же лед расколошматил?  
Чье расторглось естество?  
Божья мать, Божья мать –  
прежде Бога самого.

Выходим мы, повапленные гробы,  
могильная спадает пелена,  
и вылетает из своей утробы,  
из каменной, как ласточка – Она,  
и эта птичка-невеличка,  
как откровенная певичка,  
набелена и чуть насурмлена.

Расслабленный, из гроба иль из кресла  
гляжу на обиход житья-бытья.  
И вот в страстях живых воскресла  
ты, Богородица моя!

И не скажу я больше: «Шито-крыто!»,  
и распухаю, как весенний флюс.  
С ожесточеньем праиезуита  
тебе, Угодница, молюсь.

Как тихий деготь, темный год повытек  
из бочки, у которой нету дна.  
Рассвет сидит, как дохлый паралитик,  
бледнея на пороге дня.

И столько раз ты воскресала,  
что стало вечным царствие твое,  
когда мой колокол, как медное кресало,  
бил о пустое бытие.

А в дни, когда я возлежал с Изменой,  
о ней, притворщице, уже не помня сам,  
ты пенной Анадиоменой  
неслась, как песня, к небесам.

И, потихоньку сам себе мерзая,  
стоял я вроде Русского музея,  
столетнюю триремой на причале,  
а на полотнах облака кричали.

И ласточка-певичка пролетала  
легко, как тень по полутону,  
и что-то радостное щебетала  
Державину и старому Платону.

*30 апреля – 24 октября 1978*

## ЧЕРЕПАХА

Какие думы в зной степной ночуют  
в широких негритянских черепах,  
когда, как смерти мирные, кочуют,  
ползя на пальцах, стаи черепах?

И полдень пуст. И знахари врачуют  
того, кто смертью чуточку припах,  
а псы лежат и ничего не чуют,  
носы уткнув в блошастый потный пах.

Жара дрожит в глазах. Мигают черти,  
расхристаны как идолы, и зной  
цианистой валит голубизной.  
И в медленной и сонной круговерти  
ползут лениво черепашьи смерти  
танкетками над треснувшей землей.

*1 июня 1978*

## ИМЕНИНЫ

Именинником сижу на даче.  
Попритихли птичьи голоса.  
Ведь июль весь в тучах и тем паче  
сыплет с крыши и травы роса.  
Сыплет сырость словно ниоткуда,  
это бодрости убогий дар  
поднесен, как праздничное блюдо,  
имениннику, который крепко стар.  
Но от по-сентябрьски свежих рос  
и состарясь я как бы возрос.  
Заиграли дудочки-свирели,  
пусть они и вправду отсырели.  
И в день ангела, играя в кросс,  
голос ходит в травах, гол и бос.  
А когда-то среди голи нищей  
он сверкал, как нож из голенища.  
Ходит голос по траве, не плача,  
нагишом выходит на межу.  
И ей-ей, нимало не тужу,  
что безлюдно так с женой на даче  
в тучах именинником сижу.

*18 июля – 22 ноября 1978*

## ПАН полуфуга

Я барин, древний Пан (а по-простому леший).  
Вся в дебрях голова, но без малейшей плеша.  
Сам на себе я, как на старом пне, сижу,  
и под дуду себя я по лесу вожу  
и ставлю, как печать, лохматое копыто  
на то, что сделалось и тихо и забыто.

Синкопами поет мою беду дуда,  
моргает в тростниках зеленая вода.  
Былое мне дано как грамота болота,  
где плачется, с вершин слезая, позолота.

.....

Мохнатый барин я. Аукаются нимфы,  
бледно-малиновой исполненные лимфы.  
Далеко за полдень зашли мои года,  
а возле ног бежит русалочья вода.  
И в заполуденном лесу мне просто славно,  
дудя в свирель, сидеть в блаженной роли фавна  
и, перебрав персты вечерние зари,  
на пень переложить эклогу Валери.  
Заржавленный мой лес всей жизни будет равен,  
когда сидит в кустах кузен-медведь Державин  
и пиитический поит его родник,  
когда поет, струясь в дремучий воротник.

.....

Я весь свой век в лесу единый стих кропал.  
Он убегал, как волк. Я пан или пропал.  
Из речки вылезли и разлеглись на травке  
в нагих купальниках заплаканные мавки  
с полуприметами забытыми людей,  
лобасты длинные, как бедра без грудей.  
Средь своры сволочи русалочьей, как в сказке,  
плутаю по лесу, где нитки тропок вязки.  
А по кустам бежит уже закатный пал,  
и эхо мечется: «Эх, пан или пропал!»  
Я стал как бурелом, и ничего не надо.  
И эхо мечется, как дурочка-менада,  
и бьет ногами в дебрь, как в бешеный тимпан,  
и издевается: «Издых великий Пан!»

*1–7 августа 1978*

\* \* \*

О, как отчаянно трещит  
отсутствующая лучина,  
и ущемленная кричит  
из каждого угла причина.

Все наступают ей на хвост,  
а вечер, вечный человечек  
и, стало быть, большой прохвост,  
идет меж двух погасших свечек.

И сбились бревнышки избы,  
которая стоит, как в сказке,  
подобием моей судьбы,  
а у двора пожарный в каске.

И в этом призрачном жильё  
в подполье мышь сухарик гложет,  
а прошлое небытие  
орет, да ничего не может.

*15 сентября 1978*

## ПОКРОВ фуга

Вокруг себя хожу я всесторонне  
и радуюсь: ей-право, я хорош.  
Господь послал мне сыру, как вороне,  
а сыру-то цена под старость – грош.  
Я был одним из думающих тел  
и стал собою, как того хотел.  
Но кажется теперь: я на бумаге жил  
и в департаменте поэзии служил.

И вижу, что в седеющие годы  
полушку стоят ордена и оды.  
Провижу я в своем же доме даль  
и выговариваю Богу с легкой грустью:  
на что же вечному жиду медаль,  
когда причастен он к великопустью?  
Ну а оно – как тот Великий пост,  
когда пустеют чин, и сан, и пост.  
Три века был себе я сторож ражий,  
который не прельщался самокражей,  
с кого за горести и неполадки  
бывали взятки, словно кожа, гладки.  
И я бывал тогда как сам себе прохожий,  
как трехрублевками, расплачиваясь кожей.  
А Бог меня, больного дурачину,  
зачем-то жаловал, пожалуй, не по чину.  
Стоял как Лютер я, в себя забитый кол,  
стоял столбом и жил себе упрямо,  
и вел легко стихами протокол,  
и не боялся я ни рва, ни ямы.  
Но вот я вижу нынче: ближе ров.  
Куда бы мне от бездны схорониться?  
И как от пасти мне оборониться?  
Тихонечко посторониться?  
Залезть под Богородицын покров?  
Иль матерно начать браниться?  
Но видит Бог, что после Покрова  
желтеют озими и всякая трава.  
Да велика ли им бывает нега  
от белизны архангельского снега?  
Но и под ним незримо сохранится  
меж нами та треклятая граница,  
которая, закон не отменя,  
по-прежнему, как на смех, отделяет  
меня чиновного от ветхого меня,  
кто черноту свою маленько обеляет.

На государственной границе я останусь  
стоять, как бог-самохранитель Янус,  
и, кутаясь в покров двойной,  
сам гряну на себя торжественной войной.  
Но Божью или идольскую долю  
залить слезами людям не позволю.

*1–7 октября 1978*

**1979**

### **ЧЕРНОВЫЕ СТРОКИ**

Не стало бытие богоугодней,  
а сизым птицам холодно зимой,  
и суматоха ночи новогодней  
то из дому метет, а то домой.  
Подземный мир суровым дышит паром,  
и вниз ползет железная река.  
Парома нет. Но должно смертным парам  
жить в эту ночь, как память старика.  
Домов сияют каменные елки;  
как волки тощие, тихонько ходят толки,  
и вот, не ожидая черных льгот,  
покорно едут люди в новый год.  
И жалко на снегу чернеют их фигурки,  
как нищие сиротки и придурки.  
И кажется мне нынче весь народ  
скоплением ребяческих сирот,  
зане у них в пустыне мира тело  
давно уже осиротело,  
а под рукой у добра молодца  
нет Бога, старого отца,  
и молодец, под веко вставя око,  
глядит туманненько и одиноко,  
и чувство зимнее, как половодье,  
разбушевало в новогодье.

*1 января 1979*

## ЛЖИВЫЕ СТРОКИ

Расхристанной, но бравой сединою  
и возрастом я под версту и Ною.  
Не хвастаюсь я старостью иною,  
а оттого по малости и ною.

Но я библейских праотцев моложе,  
и с юной ложью нежусь я на ложе,  
когда она, атласная от ласки,  
сестрицу-истинку ругает мне, а глазки  
закроет на меня, чтоб не предать огласке  
мои седины и любовь свою.  
А я за то частушку ей спою,  
и станем с нею мы без спросу сами  
жить-поживать с закрытыми глазами  
в извечно замкнутом сезаме  
бесстрашно, как покойники.

Ну что ж!

На что мне истина, когда добрее ложь?  
Ведь то-то и оно, что ложь меня голубит  
и, лживая насквозь, меня по правде любит,  
и ластится ко мне такой пролазой,  
такую преданной и на весь мир безглазой,  
что с ней, не мучаясь судьбой земною,  
по малости, не унывая ною  
и, не желая ничего себе,  
брэнчу на балалаечной судьбе.

5 января – 10 февраля 1979

## РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

My soul is dark.

*Byron\**

Метель в окно ко мне стучится, как сосна.  
Сочельник отгудел. Душа моя мрачна.  
Как арфа мокрая, на крыше – вон! – ворона,  
и иудейские мелодии Байрона  
она поет без слов, кивая головой;  
и в вальсе из «Цыганского барона»  
вертится снег, как шустрый половой  
в трактире. И душа моя мрачна,  
как серый снег, не отряхнувший сна.

Но право же, прекрасна старина,  
когда была ребячески светла  
душа, глядящая на елку из угла,  
и попросту Христа умела славить  
(ребеночка!). Но можно и осла ведь,  
на коем въехал он в Ерусалим  
с босыми пыльными ногами.  
Чуть не всю жизнь потом я не встречался с ним.  
Душа моя мрачна становится с годами,  
и ниоткуда утешенья нет.  
Я у окна сижу, как бедный зритель в драме,  
и вижу лишь метель воронью в раме.  
Приносят в уши мне депеши, слухи, сводки.  
И обгорелой елкой белый свет  
торчит, как барышня, завернут в папильотки.

И нынче праздники доходничают с водки.  
Благоволенья в человецех нет.  
Сияет токмо водкою застолье

\* Душа моя мрачна. Байрон. (Перевод М. Лермонтова.)

да снимками мертвецкими планет,  
посыпанных не сахаром, а солью.  
А за столом сидят без гуся, без индейки  
одни птицеобразные идейки,  
прикладываясь к водке-лиходейке.  
Мир славно вымер: лень без просветленья,  
и в человецех несть благоволенья.

Эх, простодушная ребячья старина,  
под корень срубленное детство!  
И не звенит рождественский тропарь  
в ребячьи голосеночки, как встарь,  
и мне он точно дальнее соседство.  
На свалку увезен Небесный Царь.  
Рубили в октябре, что головы, капусту,  
но как огонь слова: «Быть сему граду пусту!»  
И к празднику осталась мне в наследство  
лишь кочерыга от кочна.  
Вот отчего душа моя мрачна.

*7 января – 12 февраля 1979*

\* \* \*

В мире подземном жизнь бывает не наша, не ваша.  
В мире грохочущем всплеть невозможно понять ни черта.  
Бешено прет на меня из людей муравьиная каша –  
ножки торчат и глаза из раскрытого наискось рта.  
Мчатся на лицах глаза, и белки ослепляют, как фары.  
Силится грохот людской своды адовы поколебать.  
В каше столпились вдвоем одиноко-любовные пары.  
Шляются шумно вокруг кошмарно прекрасные шмары.  
И всё не в силах себя целый век кое-как расхлебать.  
По уши в каше погрязли какие-то мертвые души  
и мимоходом торопятся жить в скоротечном аду.

В мире подземном не слышен растрепанный голос петуший,  
и без аврорина клича куда я, чудака, попаду!  
– К вы-хо-ду.

*11 января 1979*

## В СРУБЕ

Быть может, я столетья три как умер,  
со птицею-судьбой не покумьясь.  
Быть может, я свое отаввакумил,  
в себе, как в срубе под землей, томясь.

В моем нутре давно темно и сыро,  
со стен стекают черные ручьи,  
и не дает Господь мне с миром мира,  
ни с вами, соколодники мои.

Но Божьего сумненья аз не предал,  
не бил челом румяной сыти я  
и, ей-же, никому не заповедал  
столбцов полупоследних жития.

Быть может, самому себе я ворог  
и буду черным светочем в аду,  
зато Господь пожаловал мне морок,  
куда я душу грешную веду  
не мене, нежели лет сорок.

Авось же я уж века три как умер!  
Меня напалм наземный не спалит.  
Авось же я свое отаввакумил  
и стал раскольничий митрополит!

Разбойничьей не утолил я мести,  
крепясь в пустынных северных лесах,

и, сидя с сокологниками вместе,  
себя, как Божий образ, написал.

*24 января 1979*

## НЕДЕЛЯ В МОСКВЕ

Ох, и противно в Москве проживать!  
Лучше в избенке сидеть с лучинкой,  
нежли полжизни с утра жевать  
улицы с человеческой начинкой.

Ей-право! Это не старость брюзжит.  
Кто ж утоляется черной болью?  
К мохнатой Москве новый век прижит –  
починили лоскутьями шубу соболью.

Иду, увязая в тысячный раз,  
в сугробах ищу новомодные броды,  
в которых блаженный прогресс погряз,  
жующий бетонные бутерброды.

И как Аввакум по Москве волокусь,  
по Москве, что лубок, расцвеченной,  
в каждой лавке толплюсь и глотаю кус  
свежевыпеченной человечины.

Ты живешь, государыня Москва,  
с каждым годом всё разливаннее,  
и число москвичей твоих – ква-ква-ква! –  
доросло до точки блевания.

*9 февраля 1979*

\* \* \*

Я проживаю жизнь мою:  
всё так же ем, всё так же пью  
и, преданный житью-бытью,  
по-прежнему баклуши бью.

Не зная, в жизни что за толк,  
как человек, живу я в долг,  
и нас таких великий полк,  
у коих бороды – как шелк.

И я разнорабоче жил –  
мечтал, ругался и служил,  
трудился из последних жил.  
Но что же я наворожил?

Я был конструктор, инженер  
по фабрикации Венер  
на тот или иной манер,  
а вот теперь – пенсионер.

Всё так же мыслю и пишу,  
дышу и в голове чешу.  
Но к нашенскому шалашу  
какого хмыря приглашу?

Придет и хмыкнет этот хмырь,  
отдаст приказ: «Бровей не хмурь!»  
Прогресс прогонит эту хмарь.  
А новизна – всё та же старь.

*13 февраля 1979*

## ШОПЕН

Шопен был глуп, как полный патриот.  
Рыдания свои он превращал в триоли.  
От зависти в саду желтели лакфиоли,  
и нищая судьба металась у ворот.

Шопен был глуп, недужный серафим,  
а музыка текла, что кровь из бледных пальцев,  
и жил он на земле среди прочих постояльцев,  
как Господу должник, неуловим.

Он вспыхивал и гас, как ввечеру заря,  
страдая от небесного простора,  
когда раскидисто надвинулась Аврора,  
избороздившая любовные моря.

А взор его, как резвый мальчик с горки,  
сбегал в морскую пенистую ширь,  
оставя за собою на Мальорке  
замшелостенный монастырь.

И разразился музыкой железной,  
когда явился, как парчовый лес,  
и чинно продвигался по трапезной  
в громах Господних полонез.

О пляска раскаленного железа!  
Поляки шли сквозь трехсотлетний зал.  
И, вспенясь пестрым штормом полонеза,  
Шопен взметнулся и на плиты пал.

Так между незабудок и мазурок  
под гогот ласковый белеющих гусынь  
Шопен бежал, божественный придурок,  
в лебяжью пену и морскую синь.

Аминь! А как прожить ему подольше?  
Закутаться в кунтуш, жупан или тулуп?  
И сочинять о неделимой Польше?  
Родимые! Шопен был просто глуп.

*7 марта – 12 апреля 1979*

## РУКА

Я чувствую, что ты – моя рука,  
держая свое добро десница.  
Она – как стихотворная строка  
и мне при всем честном народе снится,  
а при народе – словно на параде,  
а стало быть, и сон мой наяву.  
И, может, одного нахрапа ради  
в волнах молвы я исподволь живу.

Рука моя – такая мастерица!  
И ткет, и вяжет, и баклуши бьет,  
а в виде кулака так даже матерится,  
и от нее рояль поет,  
когда великим громом кулака  
взрывается суровая рука,  
а пальцы, будто щупальцы иль сяжки,  
воспринимают целый мир, бедняжки!  
И, может быть, они – те самые костяшки,  
которыми играет старость в зернь?

Вселенная вокруг бунтует, будто чернь,  
в руке, владычице всеремесла.  
Рука – жена моя. При помощи весла  
меня в реке времен течение несло.  
Знать, жить и плыть – такое ремесло,  
что барыне не сладить с временами.  
Рука течет рекой, и между нами



стоит, как шест, надводный знак числа.  
Всё есть число и знак времен, однако  
моя рука не различает знака.  
Она – хозяйка заячьих хором,  
ладонью машет, будто топором.  
Лучину щеплет, колет ли дрова –  
она моя, и так и сяк права.  
Она с устатку иногда немеет,  
но одного не смеет позабыть,  
что всё она и может, и умеет –  
и оседлать коня, и в строку гвоздь забить.  
Она сама, божественная, пишет  
огрызочком карандаша,  
она, пожалуй, Псиша, ибо дышит.  
Моя рука – моя душа.

*7 марта – 28 апреля 1979*

\* \* \*

Здорово, парень Толечка,  
холера тебе в бок!  
А как девчонка Олечка,  
как ейный передок?

А, вот как? Значит, кончено?  
Оно и лучше так:  
и сердце не всклокочено,  
и муки на пятак.

У девочкина ротика,  
замечу вам, топ cher,  
актерская эротика  
из сексуальных сфер.

Присядьте, парень Толечка,  
чай, здесь вам не станок.

Раздавим вот по столечко,  
чтоб не валило с ног,

чтоб не попасть в милицию,  
в товарищеский суд.  
С девицею Милицею  
вас всё еще пасут,

с такую ненадежную,  
старинной, как романс,  
и с силой молодежною,  
как ЗИЛ или как МАЗ?

Здорово, тезка Карпова!  
Но вы не чемпион.  
Лупетка ваша катова  
махровой, чем пион.

Годами с вами, Толечка,  
не сходимся никак.  
Так выпьем хоть полстолечка  
и скажем всем всех благ.

А то еще во здравие,  
а то еще корявее –  
за псевдобожество,  
за наше равноправие,  
за бабье торжество.

За ваше равновесие,  
за ваш рабочий сплин,  
за ваше мелкобесие,  
законный гражданин!

*17 марта 1979*

## НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Грустно и ветрено стало теперь,  
палой листвой позасыпало тропки,  
и, оцетинясь штыками, как зверь,  
холодом дышат маньчжурские сопки.

Доли своей не узнаешь заранее,  
русский герой, беспортошный солдат.  
Скорбно, как вальс в офицерском собрании,  
время свивается, губы горят.

Вздыбились злобно маньчжурские сопки,  
стала судьба как сплошной карантин.  
Крутятся-вертятся дамские жопки,  
плечи опутал цветной серпантин.

На сопках Маньчжурии смуглое солнце,  
круглое, смотрит наискосок,  
желтое, словно лицо японца, –  
ножик в зубах и чтоб штык тебе в бок!

На сопках Маньчжурии головы сложим.  
Эй вы, орлы! Не скучать, не дремать!  
Царскую милость до косточки сгложем.  
Мы без царя и без Бога не можем.  
За мать, за Россию – эх, мать-перемать!

Бог, борони нас огромною бранию!  
Корпию щиплет родная сестра.  
Кружится вальс в офицерском собрании,  
боль ножевая под грудью остра.  
Ластится лапа к сестре невозбраннее,  
страх как охота тепла у костра!

И долетает до Порт-Артура  
шепот под музыку из Москвы:

«Вся вы – поэзия, литература,  
в вальсокружении, Ниночка, вы!»

Нас охмурили, как малых, обтулили.  
Нечего было зевать да дремать.  
Шепот доходит до сопки Маньчжурии:  
«Ниночка, милая! Мать-перемать!»

Мы не дремали, в окопах дежурили,  
а за морями вставала заря.  
Под музыку маршей на сопках Маньчжурии  
мы отдавали жизнь за царя.

Таты-баты, шли солдаты,  
таты-баты, на японца,  
таты-баты, увидали  
в сером дыме черное солнце.

Круглы и круты маньчжурские сопки,  
и хоть ты матушку-репку пой!  
Щиплют, что корпию, женские жопки.  
Вальс проплывает медной толпой.

*28 марта 1979*

## ГОРОДОК

Я лишь разок чихнул – и дивный городок  
из лубяной тавлилки вылез.  
Хожу в нем вчуже (я плохой ходок),  
сизжу сутулясь, как бы старожилась.

Благословляю, яко Иоанн,  
жизнь, как последнюю мою былинку,  
и сам сую в монашеский карман  
опустошенную тавлинку.

И к старости меня не умудрил Господь  
Россию лапать, как с нахрапа Нюшку,  
когда так просто взять себя в щепоть,  
как бы последнюю с утра понюшку.

Я не простужен. К ночи холодок  
прокрался мне в память с краю.  
Расставлен на столе мой дальний городок  
тавляями, а я на всё чихаю.

*1–7 апреля 1979*

### MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.  
То во городе было во Казани.  
И моя азиатская рожа  
в черно-бурой весне зияет.  
Ты, весна моя, чернобурка, –  
вроде лисьего малахая  
надела на меня, петербуржца,  
с женственной доброюю.  
А годов мне шестьдесят и восемь.  
Бог подает мне года с наценкой,  
словно я сажу в ресторане.  
Или это жена приносит  
оживительную водицу  
и такие румяные блюда,  
что наценки на них не жалко?  
Но по общему летосчислению  
мне пора бы якшаться с деревьями  
и, покинув лес человеческий,  
грибничить в своем бору.  
И стоит погибель лесная  
вкруг годов моих хромоногих  
и мне жениным шепотом в уши

(то ли жениным, то ли птичьим):  
«Ты, глухмень, родился в Благовещенье».

*7 апреля 1979*

\* \* \*

Тиховейный шепот с Рейна:  
«От любви спаси нас, Боже!»  
Это бледный Генрих Гейне  
корчит праведные рожи.

А замасленные воды  
всё мусолят, не жалея,  
на брылах тот вальс свободы,  
где топилась Лорелея.

«Как умны на Рейне жопы!  
Как у дам они обильны!» –  
повторяют губошлепы  
прямо с Кёльна и до Вильны.

*12 апреля 1979*

\* \* \*

Уже открыт весенний сад,  
где звуки солнца ладно-гулки  
и по аллеям вдаль бурлят  
полувлюбленные прогулки.

И ввечеру чарует нас  
на небе розовая пена,  
и светлый, как иконостас,  
оркестр вскипает постепенно.

И старый вальс, и старый Штраус,  
и дальняя в фиалках Вена,  
и марш, гремящий «grade aus!»,  
воспоминаются мгновенно.

И городок весь на виду,  
где сердце каждого венгерца  
пронзает в городском саду  
вальс, полька, чардаш или скерцо.

И снова видишь въяве тут,  
как за последние форинты  
фиоритурами цветут  
и музыка, и гиацинты.

*13 апреля 1979*

\* \* \*

Нет, непостижна красота уму,  
да и рассудку не подвластна,  
и, как жену, ее я не пойму,  
зато сама, ей-богу, судит страстно.

Она – как басня. С нею я знаком,  
с ее судьбиной сказочно-плачевной.  
Сидит она под фиговым листком  
зеленою лягушкою-царевной.

Очами с золоченым ободком  
она поводит, лупоглазка,  
и пробегает скользким холодком  
ее атласно-лапчатая ласка.

А эллин скажет грустно: «Это миф»,  
а рыцарь назовет ее «легенда»,

и, менуэтом лютню истомив,  
она есть вечное *diminuendo*,  
тот самый струнный перебор-предел,  
который от восторга поредел.

*17–18 апреля 1979*

\* \* \*

На полосы земного кумача  
накапывает горняя моча,  
и ведь ничуть не лучше год от года  
бывает первомайская погода.  
И в зелени кустов и паркового леса  
малейшего не вижу я прогресса.  
Господь же с ним, с прогрессом этим самым,  
быть может, он к лицу лишь выкрашенным дамам.  
А в зелени, чтоб не было противно,  
предпочитаю жить не прогрессивно,  
а ровно и при всем честном народе, –  
не выношу прогресса в огороде.

*1 мая 1979*

\* \* \*

Я видел в Суздале, что к старости века мне  
показывают, как здесь умирают камни,  
как старичок-собор, уже плохой ходок,  
ломает руку или даже бок.  
И видите, привстав у дряхлого моста, вы,  
что переломаны у всех церквей суставы.

Всё умирает. Даже камни мрут.  
Железо ржавеет, а медь как свечка тает.

Зачем же дочерей Данайских труд  
я славлю, если всё из смерти прорастает?

И, вековые дочери труда,  
в чахотке или мучась от одышки,  
почти беззвучно плачут города,  
и крепости, и городишки.

Всё умирает. Даже валуны,  
да и сам свет, присвоенный Селеной.  
И ясно видно мне в явлениях луны  
всеумиранье вселенной.

*7 мая 1979*

\* \* \*

Сад за окном – как головная боль,  
как лень чужая и как позовота.  
Хлопочет близ меня моя забота,  
и я свою проигрываю роль.  
Валом валят и духотой сирени,  
как жирные лиловые мигрени.  
Пятеркой каждый Божий цветик-гном  
всю жизнь на карту ставит за окном.  
Куда под старость мне бежать от блага?  
Стеклярусом блестит на солнце влага,  
и льется невпопад лиловый водопад  
ко мне в окно. И как же ломит сад!

*9 июня 1979*

\* \* \*

Я просто слизь, материя живая  
и дождик, хлещущий из ржавого ведра,  
и вживе я – как рана ножевая  
иль микровирус без ядра.  
Я сырный с перцем суп, козырный с сердцем туз  
и в семь валов глухая оборона.  
Я самоедствую и от себя лечусь.  
Ни мига современья не хочу-с –  
Бог с ним! И кандибобером качусь,  
изображая с треском фон-барона –  
беспаспортного, без портков, со «Дна»  
и с речью бородатой, как мочало.  
Фу-фу! Сказала дамочка одна,  
что я барон, однако не Качалов.  
А к этой даме у меня влечение –  
такой у ней прелестный поворот,  
и вся она цветет, как огород,  
растет, как пышная, роскошная нужда.  
И от себя лечусь я. Но в леченьи  
даю я маху иногда.  
Хожу с туза. Тужу всем черным сердцем,  
широк, как море или сырный суп.  
Я вам не Лев Толстой с дебрястой бородишей,  
чтоб стать по полной правде лицемерцем,  
не так безвкусен я и глуп.  
Я просто русское бывшее городище  
и не жил отродясь на ложе нег,  
не вышел из меня ни конь, ни печенег,  
и мне приправа – лук, да соль, да снег.  
Не вышел из меня А. Н. Радищев,  
и в общем смысле я есмь недочеловек.

*1–7 июля 1979*

\* \* \*

Не теряй себя! Матерей,  
темный сын двухсот матерей,  
о себе много сути мня,  
ну а самую суть темня.  
Вкруг меня галдит городок,  
полон чувства и добрых дел.  
На своем я суде видок,  
и от дебрей я поредел.  
Отчего-то я стал вот рыж,  
и несут мой рабочий крыж  
за меня лишьмышь, вошь да ложь.  
От меня кусок отчекрыжь  
и на суд, как на стол, положи!

*7–8 июля 1979*

\* \* \*

Там, где ели развесили патлы  
и зовут под кудлатый уют  
и где в ритмах джаз-бандовых дятлы  
деревянную песню куют.

Там, где в розовом шуме заката  
окунается бор в вышину  
и где птичьего стука стаккато  
опускается на тишину.

Ох, природа! Свое естество ей  
приукрасить не проще ль всего?  
И все ветки увешаны хвоей,  
словно в лето пришло Рождество.

Но не смыслит коровий желудок  
в хороводе цветов ни аза  
и глотает лесных незабудок  
голубые девичьи глаза.

*9–11 августа 1979*

\* \* \*

На улице такое ведро,  
а мы с тобою чередой  
веселые таскаем ведра  
(с бедой иль с тяжкою водой?).

Я не боюсь беды прозрачной,  
когда ты мне глядишь в нутро,  
и пру, как вол, в тревоге брачной  
благословенное ведро.

*19 августа 1979*

\* \* \*

Обожает мой дружок  
драматический кружок.  
В роль он входит как в забой –  
он не хочет быть собой.

Хочет быть чуть-чуть вульгарен,  
ибо что же тут такого?  
Быть как Мейерхольд иль Гарин  
в исполнении Хлестакова.

Мой дружок – детина ражий,  
но изящен, словно Кторов,

заставляя персонажей  
делать роли за актеров.

Он играет и поет,  
быть собой перестает,  
ибо ходит мой дружок  
в драматический кружок.

21 августа 1979

### САМОГРАД

Я сам себе сверхсобственное зло,  
и в малой жизни мне от пуза повезло.  
В итоге сам себе я смертная досада –  
я город, а вокруг легла осада.  
По мне шагают тени сверхсумненья.  
Я – город в час дневного затемненья.  
Обочь меня не бездна ли судьбы?  
Иль самозванная морока рока?  
А бронзовых кумиров бычьей лбы  
у городских ворот стоят широко.  
Бессмыслица тугой развертывает день  
и старческую похоть всякой плоти,  
и мне о мире и помыслить лень,  
как о Господней ледяной блевоте.  
Толкуют в уши мне: везде и *да*, и *нет* –  
и утверждение, и отрицанье,  
и что стоит на этой двойке свет,  
что скачет по-лягушечьи познание.  
То жаба древняя по грязи плюх да плюх –  
червятина нужна прожорливому брюху.  
Ох, закатить бы ей с десяток плюх,  
а заодно и сотням мудрых шлюх,  
да в морду дать и Мировому Духу!

А я, в осаде видя города,  
не разумею ничего, но чую:  
всему не говорю ни *нет*, ни *да*,  
с бессмыслицею днюю и ночью.  
Живи со мной, бессмыслица моя!  
Ты бездночка меня, которая телесна.  
В осаде тела словно дома я,  
и жить с тобой, беспутницей, мне лестно.  
Я – город по прозванью Самоград,  
и всё же я себе не свой же брат.  
Я – город в час дневного затемненья,  
и спяна изbleвал меня Господь,  
и доживаю я в благой сени сумненья  
свою скрипучую сверхплоть.

7–17 сентября 1979

\* \* \*

Фонтанка – глиняного цвета,  
а на Неве в воде покатою  
плывут горбатые рассветы  
и островерхие закаты.

Ползет Фонтанка под мостами,  
ей воду гнусный дождик мочит.  
Она постылыми устами  
о чем-то мокреньком бормочет.

На Летнем блекнет позолота.  
Дворцы широки, что аккорды.  
И жеребцы барона Клодта  
на Петербург задрали морды.

А Клодт по Невскому ночному  
бредет, как гоголевский призрак,

и к моему подводит дому  
времен архитектурных признаков.

28 сентября 1979

## О МОЙКЕ

Пьянист гремел. Ему ползала  
похлопывало очень бойко.  
И старой гадиною Мойка  
вдоль набережной проползала.

Шумели кирки *a capella*  
и возносили шпиди Богу.  
У тумбочки собака пела,  
задрал, как балерина, ногу.

Артистки плакали в подростках.  
Жил Петербург всё театральной.  
И Пушкин был как на подмостках  
меж добрых книг в предсмертной спальне.

А время мчалось лиховертью,  
минутки людям не давало.  
От петербургского бессмертья  
на снежной Мойке продувало.

Брел Гоголь, от поноса жились;  
майоры подправляли бачки,  
и в белых юбочках кружились,  
как дамочки, одни собачки.

Ночь с 1 на 2 октября 1979

\* \* \*

Вновь узнаю я время года:  
оно – как мокрое бревно,  
и вновь чухонская природа  
в меня глядится, как в окно.

И снова тучи, сосны, враки,  
тяжелый взлет ворон, сорок,  
и снова тени Келломаки  
и прежний комаровский срок.

И вновь отжитое хранится  
в трех соснах памяти моей,  
как русско-финская граница  
небывших жизней и смертей.

23 октября 1979

\* \* \*

*В день рождения С.*

Осенняя бушует ярость.  
Погода движется ползком.  
Уже стучится в сердце старость  
почти костлявым кулаком.

Прощайте, други-однолетки!  
Куда вас к черту бес унес?  
А я в грудной и тесной клетке  
сизу, нахохленный, как пес.

И серой музыки колена  
есть в преломлении стихий.  
А я перевожу из Ленау  
его осенние стихи.



И в эту бешеную пору,  
пред тем как рухнуть в тишину,  
жду, как последнюю опору,  
мою последнюю жену.

И скажут где-то и когда-то:  
жить было, знать, непросто им.  
Но мы помечены, как даты,  
и в два ума мы простоим.

*1 ноября 1979*

## ОБ АРХИТЕКТУРЕ

Нет, зодчим блажь не есть натура.  
Искусственна архитектура  
театров и монастырей  
и тем надежней, чем старей.

Встал град Петров в опеке отчей.  
Сам царь был неумный зодчий,  
и, как Господь, рукой рабочей  
он граду крылья расправлял.  
И в свод небесный серо-синий  
златого ангела Трезиний,  
как звук на палочке, подъял.

В тот век, когда темнело рано,  
сапог гвардейского тирана,  
как вихрь, на плаце с ног валил,  
когда из сумрака белил  
медведь гранитный Монферрана  
на невский берег повалил.

Потом, как желтый бог из ада,  
явился в камне Росси нам,

и театральная громада  
восстала, как прекрасный храм,  
для исполненья мелодрам  
иль в наше время – маскарада  
среди святого Ленинграда,  
где, как в театре верхотура,  
старинная архитектура.

И ей по-марсиански рад  
с вокзала город Ленинград.  
Как это надо понимать?  
– Она ему – родная мать.

*5 ноября 1979*

## ТРАВА

Простоволосая бежит трава.  
*О. Мандельштам*

Трава простоволосая лежит,  
еще зеленая под сахаристым снегом  
в весеннем ноябре, а вовсе не бежит,  
не увлекается спортивным бегом.  
Бураны же, подобны печенегам,  
кочуют где-то – Бог весть – за Онегом.  
Без радости я видеть не могу  
мочалистую мураву в снегу.  
А в мутном дне искрится снег, как сахар,  
по-над зелено-желтой муравой.  
И я бы лапками, как муравей, заахал  
иль замахал бы, как городской,  
на сей природный беспорядок,  
когда на лоне позабытых грядок,  
как чудо, – сахара и травки сочетанье.  
С осин последние слетают причитанья,

и, как за гробом, шлепая по грязи, мы  
ждем не дождемся сахарной зимы.

*17 ноября 1979 – 26 января 1980*

### **ХАН ВОРЫБЕК ГОВОРИТ**

Ты – влажный плод моей полупустыни,  
блаженная в часы жары жена,  
чьи грудь и бедра цвета спелой дыни,  
глаза сгорают в ядовитой сини,  
в кобыльем теле страсть покорная рабыни,  
а крашенных волос густеет рыжина,  
и страсть моя тобой поражена.  
И влажный светится из глуби зной,  
дразня бесовскою голубизной.  
Но Ворыбек я стреляный,  
пищу своей ясырке  
au Fraulein Lene Strehlenau,  
как баядерке в цирке.  
Сошлись под зноем снова хан и хна,  
но ей – карьера, а ему – хана.

*Ночь с 7 на 8 декабря 1979*

### **СОЛОМОН ГОВОРИТ**

Любовь моя могуча. В стольном граде,  
моих наложниц скользких посрамив,  
ты предаешься страсти и отраде  
в тринадцать спелых лет, о Суламифь!

Подпав, как голубому мраку, зною,  
ты вьешься вокруг меня прозрачно, точно миф,  
простершись тела трепетной казною,  
раба моей любви, о Суламифь!

Блаженна ты в женах, – и неужели  
под голубым шатром распахнутого дня  
божественные волосы рыжели  
лишь для того, чтоб щекотать меня?

Не для того ль, весь длинный день палима,  
ты в вертограде лилией росла  
в глуби долины близ Ерусалима,  
чтоб страсть восстала наготой мосла?

Шел вечер грозовой, и на заре той,  
всё тело, как лозу, переломив,  
возликовал я аж до Назарета  
и разодрал тебя, о Суламифь.

А твой живот был туг и спел, как дыня,  
глаза текли, как синь морской воды.  
В моем чертоге ты была рабыня,  
а он застыл, как черная пустыня,  
где ты взрастила плотские плоды.

Дивились ночью идола и боги  
тому, как мы плели свою любовь.  
Рабыней ты была в моем чертоге,  
могучим зноем вспаханная новь!

С одной тобой, девица-водяница,  
при всех кумирах и при всех богах  
я мог бы на всю жизнь уединиться  
и встать желаньем у тебя в ногах.

Любовь моя зияет, словно яма  
могучая, и я на всё горазд.  
Мне всё подвластно, только смерть упряма.  
Но чую, что меня ты любишь прямо:  
я – царь, любовник и Екклесиаст.

Под жаркой сенью синего намета  
легла самой Иштари ты смелей,  
и свежий дух ослиного помета  
мне был милее, нежели елей.

Ручьем текла ты, лилия долины,  
в Генисарет ко скопищу воды  
и нежила из обожженной глины  
на солнце напряженные уды.

Каленым языком восстав, как идол черен,  
твой рот, как плод граната, разломив,  
я добирался до кровавых зерен  
и заседал тебя, о Суламифь.

А ты текла, как дева водяная,  
неприкровенная до мелочей,  
рыжела ты и нежилась, стеная  
и чуть дыша в полдневной тьме лучей.

Каленому я стал подобен клину.  
Молился я: «Помилуй, Боже, мя!»  
Как влажную рыжеющую глину,  
я, царь-ваятель, мят тебя и мят.

И, каждый уд ребячий сопрягая  
блаженно и божественно с моим,  
лежала ты, торжественно-нагая,  
бесстыдно пред тобой, о Элоим!

Я мят тебя, как глину неживую,  
дабы воскресла всей любовью ты.  
И ты прияла рану ножевую  
среди ночной усталой наготы.

*11–12 декабря 1979*

\* \* \*

Растреллий! Храм, где поет барокко  
осанну браку добра и порока,  
где, как соловьиные переливы гобоя,  
мелькают белое и голубое.  
Вылеплен волнами храм и включен  
и для приличия позолочен.  
Шпиль испуская в небо свободный,  
храмик барочный пришел на Обводный.  
На морозных задворках лежат у Фонтанки  
Львовские зодческие останки.  
Хаживал в доме, держась за перила,  
приятель барокку, мохнатый Гаврила.  
Маливался робко Танату на ночь  
медведеобразный Гаврила Романыч.  
И слово вельможное перло грубо,  
словно кривая медвежья шуба.  
И, как токкату играя, хоромы  
эхом впускали к себе тихогромы.

*25 декабря 1979*

1980

**ВЛ. СОЛОВЬЕВ КРАМСКОГО**

Волосы его – как дымный пламень,  
взор его – как воспаленный круг,  
а на тело, как на тощий камень  
иль на пустоту, надет сюртук.

Жить ему, отшельнику, не ново,  
и немного можно взять греха,  
оттого-то посреди земного  
плоть его святительски-тиха.

Кажется, что он, как город, вымер  
и к душевной вечности готов,  
чтобы на могиле жил Владимир  
да еще какой-то Соловьев.

*2 марта 1980*

\* \* \*

Нынче день блаженно-женский,  
и с Кавказа вихрь нанес  
желтый, жалкий дождь мимоз  
при погоде деревенской.

Кавалеры влюблены,  
покупают их за трешки.  
Зазывают на блины  
краснорожие матрешки.

День огромен, как базар,  
быть готов он завтра даже.

Каждый покупает дар  
на великой распродаже.

А под вечер, поглядев  
на вагон и стройных дев,  
что от водки покосели  
и на место еле сели,

думает иной Валера:  
«Побери меня холера,  
растакую благодать,  
если ты не хочешь дать!»

*8 марта 1980*

**СОРОК МУЧЕНИКОВ**

Сорок мучеников в этот день поспели –  
значит, подопрелый март пришел.  
Жареные жаворонки сели  
стаею на предпасхальный стол.  
И того, кто духом нищ и гол,  
теплые последние метели  
в ризы белоснежные одели,  
и ему кондак весенний спели,  
и на лбу воздвигли ореол.  
Каждый мученик, как заунывный вол,  
головой помахивая, вел  
борозду свою в былом апреле.  
И Тебе молюсь я еле-еле:  
«Господи, услыши мой глагол!»  
На стихиры душу положив,  
я на сорок мучеников жив.

*9 марта 1980*

\* \* \*

Мою судьбу придумывают люди,  
а я хитрить с ней пробую один  
и еду на осле иль на верблюде  
по выжженным степям, как древле Насреддин.  
Не всякого судьба доводит до седин,  
не всем же погрязать в Коране иль в Талмуде,  
не всем почесывать затылок или муди.  
И самому себе бывал я господин  
всего-то лишь на несколько годин,  
когда я возопил моление о чуде.

*17 марта 1980*

### ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА

А где-то в детстве на Страстной неделе  
сквозь вечера колокола гудели,  
как медные громадные жуки.  
И православные крестились мужики,  
пребородатые Филаты и Федоты,  
широкоплечие и крепкие, как доты,  
чью веру кряжистую и сам черт не сверг:  
как всенощная во Страстной четверг,  
она долга, – и поп журчит речистый,  
и хоть ты плачь, а все двенадцать выстой  
и слушай, как средь царствия бесшумного  
вдруг басом грянет мрак, что львиный рык:  
«Разбойника благо-разумно-го», –  
и слух-молельщик мой с копытец брык.

А где-то в детстве на Страстной неделе  
сквозь вечера колокола гудели.  
Заутреня воздвиглась, словно крест,  
и ледоход и крестный ход окрест

во тьме, Господня воскресенья ради,  
весь в огонечках двигался в ограде.  
Палили в воздух ржавые пищали,  
а вдалеке на Волге льды трещали.

На неделе на Страстной  
встретились зима с весной.  
Шли по улицам ручьи,  
и трещали воробьи,  
как рассыпанный горох.  
Сторожил их старый Бог  
в городе и в огороде.  
Воробьиный дождь в природе  
по родной весне летел,  
дождик из комочков тел.  
Морось грязи серо-бурой  
представала мне натурой.  
Дождь со снегом шел весной  
на неделе на Страстной.

И к светлому Христову воскресенью  
стояли под святой домашней сенью  
(да так, что от восторга хоть кричи) –  
как девы – пасхи, с ними куличи,  
и украшали белых дев цукаты,  
а куличи стояли как солдаты,  
глядя на окна, полные лазури,  
стояли в сладких розах из лазури.

И вся людская дрянь и дребедень  
христосовалась в сей прощенный день,  
и забывали все свои кобыльи спеси  
и подставляли губы и лицо,  
дарили расписное яйцо  
и говорили: «Ну, Христос воскрес!»  
А я и нынче справить был бы рад  
сей православный сладостный обряд,

зане мне где-то на Страстной неделе  
по-дедовски колокола гудели.

*5–6 апреля 1980*

### MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье  
и на семидесятом году  
живу себе да живу,  
забывая думать о смерти,  
ибо смерть – это дело беспрокое,  
от нее ни красы, ни радости,  
пользы от ней ни на полушечку.  
И вот живу себе да живу  
со своей женой разлюбезной,  
пишу себе да пишу  
за троих,  
как ест у хозяина  
за обедом здоровый работник.  
Я – батрак у Господа Бога.  
Одного я боюсь на свете,  
что всех дел я не переделаю,  
когда кликнет меня хозяин,  
не оставив нам с женой сына.

*7 апреля 1980*

\* \* \*

Тучи громыхали серые, как танки.  
А старик рыбачил с моста на Фонтанке.  
И была Фонтанка тихой, как болото,  
так что вяз в ней цокот лошадемок Клодта.  
При луне волшебной старичок рыбачил,  
словно дряхлый призрак, душу раскорячил.

Сух он был, как палка, и немножко нервный.  
Лез на небо в тучи замок Инженерный,  
и воспоминаний темные останки  
плыли под луною по краям Фонтанки.  
Трепыхалась нежно бабочка былого  
на крючочке востром возле рыболова.  
Было дальней жизни старику не жалко.  
Глядь – из вод поганных выплыла русалка.  
При луне студеной голизноу блещет,  
по воде ногами, как хвостищем, хлещет,  
на уде взлетая, шлепается грузно,  
и блестит, играет шелковое гузно.  
Тут совсем не стало сил у бедолаги,  
вытянуть русалку не было отваги.  
И у ней-то, видно, не осталось силы,  
у бывлой русалки, – рот перекосило,  
и в ночи несчастной, при луне советской  
искажилась харя мукою мертвецкой.  
И ушла русалка на свою свободу –  
в глубину речную, в ледяную воду.  
На реке Фонтанке кончилась рыбалка,  
и в обнимку с дедом уплыла русалка.

*12 апреля 1980*

### ПОХОРОНЫ

Замотали голову, как мячик, в полотенце,  
в простыне поволокли, что малого младенца.

И не стало матери, скорченной старухи, –  
грубые, чужие выволокли руки.

И не стало матери ни родной, ни старой –  
выволокли мертвую ношу санитары.

Тут мне и почудилось, что и мое тело  
как-то разом кончилось, разом опустело.

Тут мне и почудилось, что не только тело,  
а и самая душа к черту отлетела.

Тела страшного в гробу попы не отпевали.  
Помянув твою судьбу, гости выпивали.

Вспоминали острый нос, руки ледяные  
и два века вместо глаз, словно костяные.

Попрощались все с тобой, трогательно жестки.  
Гроб поехал вниз, над ним надвинулись доски.

Опустили в ад скелет, безбожный и служилый.  
Девяносто с лишком лет это тело жило.

*15–17 апреля 1980*

\* \* \*

Я человек отчаянной эпохи,  
когда дела земные шибко плохи,  
ведь человеческие боги нам грозят,  
что нас придушат, или поразят,  
иль голодом открыто уморят,  
не избранных, а прямо всех подряд.  
Дом человеческий стоит ко мне фасадом,  
а человечество колышет жирным задом,  
как палку, в жилистую руку  
забрав горбатую науку.  
И над землей до некоторых пор,  
означенных загадочно датой,  
летает скрюченный и бородатый,

корявой правды завсегдагай,  
летает, как великий спор,  
как неумный соглядатай,  
колдун бесстрашный Черномор.

*20 апреля 1980*

\* \* \*

Проплываю мимо  
вместе с шумным Невским.  
Уймища народу,  
а встретиться не с кем.

Небо село тяжело,  
будто на иконе.  
И всего знакомее  
вздыбленные кони.

А погода свищет,  
словно елка, колко,  
и адмиралтейская  
светится иголка.

И течет по Невскому  
мирно, без увечья  
уймища людская,  
масса человечья.

И стоят бескрышие,  
выйдя у Фонтанки,  
без вывесок, бывшие,  
без валюты банки.

*22 апреля 1980*

\* \* \*

У меня был старый друг.  
Летом ездил он на юг.  
Я звоню ему. В ответ  
слышу скупое: «Дома нет».  
– А когда он нынче будет?  
Может быть, он где-то блудит,  
как в распутные года? –  
Тут ответ мне душу студит:  
«Вообще его не будет!  
Да, не будет никогда».  
Жить меня природа нудит,  
а его совсем не будет.  
Кто ж его за то осудит,  
что он сгинул без следа?  
Голос в трубке мне клянется,  
что мой сверстник не вернется,  
как и прежние года,  
не вернется никогда.

5 мая 1980

\* \* \*

Многоэтажные возникли из земли,  
при них железные шагают журавли,  
как постовые милиционеры.  
Висит над ними небо из фанеры.  
И, мимо проходя, берет меня за ворот  
бетонной лапою почти бездонный город.  
И я живу как тень с унылого утра  
во граде сумасшедшего Петра.  
И по каналам с самого рассвета  
текут жуки какого хочешь цвета.

Они летят то молча, то бренча,  
как смерть с гитарой или саранча.

10 мая 1980

## ЗВЕРИНЕЦ

Я побывал недавно в зоопарке,  
то бишь в зоологическом саду  
иль, по-старинному сказать, в зверинце.  
Весна лениво делала припарки  
моей тихонько охающей парке,  
а звери в комфортабельном аду,  
одетые в замызганные парки,  
уныло жрали скучные гостинцы.

Я с хищниками жил в одном ряду,  
подстерегая будней череду,  
которая стучала без запинки  
копытцами по выбитой тропинке.  
И я, тараша глазки вроде рака,  
как будто я великий Петр,  
стал учинять зверям заморский смотр.  
А мимо шла весна, как драка.

Я видел слона-лоботряса,  
громаднейшее существо.  
Текла эта хмурая масса,  
и уймища серого мяса  
всей тушей сползала с него,  
и, словно резиновый обод,  
сжимался замасленный хобот,  
и слон был как трактор, весь в масле,  
иль будто директор совхоза.  
Глаза его хитрые гасли  
при виде травы и навоза.



Тигр с видом индийского принца  
вышагивал в клетке зверинца,  
и шурилась сонно и гордо  
усато-китайская морда.

Высок и тощ, как телеграф,  
раскрашенным столбом стоял жираф,  
а рядом торчали в клетке  
жирафики малолетки,  
но в каждой малышке, ей-богу, есть  
аршин по меньшей мере шесть.

Обрезан по кривой, мохнатистый скелет,  
по мокрой клетке бегал муравьед,  
и был он полумесяцем мохнатым,  
который молча в угол сыпал матом.

На меня и лягушек тарасила злые глаза  
и на хвосте привставала шипунья гюрза.  
А вдали, как холодное пятнистое рондо,  
бесшумно текла между мокрых камней анаконда,  
и мне показалось, что мимо шершавой земли  
все эти семь метров пятнистых вились и текли.  
Не дай же мне Боже встречаться с такою напастью,  
с ее в треугольник замкнутой пастью:  
с холодной улыбкой она среди змей – как Джоконда.

Как буря бурый, всюду отпечатки  
следов наставил Мишенька с Камчатки,  
и добродушно из медвежьей шубы  
он желтые оскаливает зубы.  
Неподалеку на сучке прилег,  
как хищный чернопрыг, змеистый соболек:  
летит он, словно хищный мотылек,  
седого меха легкий королек.

Смешалось всё. И розовый фламинго  
отплясывал с собакой дикой динго.  
И, от любви великой ошалев,  
верхом на ячихе беззубый ездил лев.  
Мордастый морж и толстолоб тюлень  
купались в жирной луже целый день  
и рыбу тухлую жевали так уныло,  
как будто им не до обеда было.

К прохладце весенней еще не приобьик  
и лежал смиренно, как пудель, овцебык.  
В глазах овцебыка был грустный шок,  
и лежал он безжизнен, как шерсти мешок.  
А рядом стоял, овцебыку свояк,  
косматый двояковыпуклый як.  
Грустная-грустная, как Пенелопа  
или рабыня в вонючем плену,  
с рогами, загнутыми во всю длину,  
стояла прекрасная антилопа,  
именуемая довольно гнусно: гну.  
А соседкой была помесь негра  
с метиской – по имени зебра.  
И вязали свои рога в узлы  
винторогие скачущие козлы.

И мне показалось, что зоосад  
был весь из гибридов и весь полосат.

*14 мая – 7 июня 1980*

## ГАТЧИНСКИЙ ЭТЮДНИК

По городу под строгими дубами  
ползут из финской мокроты пруды.  
В них дремлют подневольные труды,  
столкнувшись с чахлою природой лбами.

И видится, бежит соленый пот  
в зеленой красоте из крепостных забот.

Гатчина ты, Гатчина  
в облике полка!  
Маялась солдатчина  
на тебе века.

На земле злодейской  
жить было неохота,  
и шаг на ней гвардейский  
печатала пехота.

А рядом так же грузно,  
без царственного форса  
престол трещал от гузна  
монарха-миротворца.

Из припухшей Гатчины  
не было известья,  
словно бы утрачено  
царское поместье.

По-павловски (иначе и не мог он)  
дворец глядел, судьбе своей не рад,  
из недоверчивых прищуриваясь окон  
на маленькой лужайки плац-парад.  
И, не прельщаясь светской фразой,  
курносый, узкий, бледнолицый,  
здесь цесаревич лупоглазый  
утаивал солдатские проказы  
от стопудовой матушки Фелицы.

*11 июня 1980*

## ФУГА С ВАРИАЦИЯМИ НА ТЕМУ «СЕВИЛЬСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА»

«Всё иль ничто!» – скажу я, как игрок.  
Иль просади, иль горы заграбастай!  
На карточном столе сидит огромный Рок,  
мордастый, скалозубый и зубастый.  
От стужи карточной я весь продрог,  
в очко играя с голою лобастой.  
«Всё или ничего!» – твержу я, как урок,  
пред бездною широкопастой.  
Быть может, и в Ничем есть некий прок,  
когда швырну я карты Року: баста!  
Я Фигаро, и мой статут –  
жить из-под палки у Россини,  
рассвет встречая хмуро-синий  
и напевая публике-разине:  
«Фигаро там, Фигаро тут».  
Я Фигаро, и с некоторых пор  
я – напоказ, как кукиш или шиш.  
Фиг, синьор, фиг, синьор!  
Меня уже ничем не устрашишь.  
Всё надвое во мне. Всё или ничего.  
И естество мое – прямое плутовство.  
Однако ни за грош, ни даже понарошку  
изображать не стану Фигарошку.  
В поэзии я просто жидомор.  
Фиг, синьор, фиг, синьор!  
Доблю, как дятел или долото:  
«Всё иль ничто, всё иль ничто!»

Кошки ночью больно серы.  
Запевают хором ёры:  
«Buona sera, buona sera,  
buona sera, mio signore!»

Пляшет юная строфа:  
«Una voce roso fa».  
И колышется Розина,  
как цветочная корзина.

По самый воротник намылен,  
дон Бартоло сидит в очках, как филин,  
тряхает стариной он много лет,  
с Розиною танцую менуэт.  
А Фигаро с доктором на спор:  
«Фиг, синьор! Фиг, синьор!»

Мертвецким басом и без умственных усилий  
воздвигся, будто монумент крутой,  
огромный треугольный дон Василий  
в обнимку с черною Катюшей-клеветой.  
Стучит гроза. За дверью на балконе  
ливень скачет, не находит места.  
Тучи мчатся, точно вороные кони,  
а в оркестре la tempesta.  
Дон Василий машет суше  
над грозой холостой.  
Улетают в полночь души,  
и взрываются катюши  
вместе с черной клеветой.

Кошки ночью больно серы,  
жарко светятся их очи.  
Buona sera, buona sera.  
Доброй ночи, доброй ночи!

*1–7 июля 1980*

## НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Утром, днем и под вечер Невский живет теплокровно,  
и бороздят его толпы вполне безыдейных людей.  
Бросив дома детей, шатаются Жанны Петровны  
вместе с кокетливым стадом разряженных полублядей.

Смотрит на них удивленно, с презрением финское солнце:  
что-де творит трудовой народ на советской земли?  
Эдики тащат с утра по пивнухам лихие червонцы  
иль пропивают украдкой в подъездах отцовы рубли.

Время рабочее. Невский полсутки бурлит от безделья.  
Царь на коне без дубинки взобрался на древний гранит,  
усики взвихрил, как будто и сам он с похмелья, –  
словно милиция, свой беспорядок державный хранит.

А по утрам морочат глаза нам всё те же туманы.  
Боже родимый! Скажи, не хуже ли будет и впредь?  
А постовые мильтоны невероятно гуманны –  
нет чтобы палкой безделье по роже рабочей огреть!

*24 сентября 1980*

## РЕРИХ фуга

Ты – смесь из снега, льда, и неба, и заката,  
отравленная высотой лазурь.  
По каменным хребтам стучит арба арата,  
где зорь разлита розовая дурь.  
Ах, эта вышина и бездна нежилая,  
где можно медленно сходить с ума!  
Перед тобой разверзлась Himalaya –  
страна, где блещет вечная зима.

Но все в тенях, как будто неживые,  
стоят тибетские костры сторожевые  
и охраняют в Божью Землю\* вход.  
Мохнатый бродит возле скал народ.  
Не шелохнется каменная масса,  
и из скупой земли не бьет родник,  
и говорит скуластый проводник:  
«Монастыри и храмы – это Хласа\*\*».  
А на большом снегу стоят, как знаки,  
как иероглифы диковинные, яки.  
Они стоят горбатою стеной,  
рогатой и лохмато-шерстяной.  
Они жируют мирно и легко,  
несут тяжелое, по пуду, молоко.  
А при вратах буддического храма,  
разодранный, как Божья монодрама,  
огромный, сизо-черный, словно яма,  
сидит разинутый бог смерти Яма  
и лижет брюхо красным языком.  
С такою темной сказкой я знаком.  
И пахнут свечки сладкой панихидой,  
и я стою в куреньи ста свечей.  
И молча я молюсь: «Эх, Боже мой! Не выдай  
меня великой ямине вещей».

На ярых высях, в стороне от бед,  
у хриплой смерти на крутом пороге,  
разламывая горные отроги,  
и на сползаемой Бог весть куда дороге  
стоит жемчужным чучелом Тибет.  
И в Ведах его ведение скрыто,  
во шлоках заклинательных санскрита.

---

\* Божья Земля – перевод слова Лхаса. (Примеч. автора.)

\*\* Более правильное название Лхасы. (Примеч. автора.)

Бегом от жара в горы скачут льдины,  
снега сухие порохом шуршат,  
от чистой белизны недвижимы вершины,  
и в них сквозит душа Упанишад,  
когда таинственно бормочет ум:  
«Ом мани падме хум,  
ом мани падме хум».

А ламы лысы, и сам Будда пас их –  
отары в желтых или в красных рясах.  
Бесчисленно в стадах монгольских приращенье.  
Спит в Петербурге Азия твоя,  
о позлащенное коловращенье  
с пугливой ланью бытия.

«Ом мани падме хум», – бормочет стадо  
и смотрит в небо угловатым лбом.  
Открыто, словно в грозный храм ограда,  
бессмысленное слово Ом.

Что наша жизнь? Не ячья, не коровья,  
а человечья? И тибетский врач  
мне говорит и врет в ответ: «Не плачь!  
Противу смерти есть запас здоровья».

Здоровье в нас – как личной смерти завязь,  
и мы живем, самим себе не нравясь,  
и говорим надгробные слова,  
и криком врач протыкивает завесь:  
«Что? Крыса там? Бьюсь об заклад, мертва!»

Да кто же сдох? Мышонок или я?  
Течет Нева простором нелюдским.  
По Петербургу Азия моя  
проходит бастионом Щербатским,  
с лицом бурхана, долу не клонясь,  
как брахман в шубе или русский князь.

А петербургская зима поет  
по-блоковски и по-кабацки.  
И бастион мне лапу подает  
по-княжески и просто по-щербатски.  
И я когда-то честью дорожил –  
нет, не монашеской, а всероссийской!  
И я когда-то как отшельник жил  
вблизи от храмины буддийской.

И вспоминается мне невзначай:  
пугливый, словно в зоопарке лама,  
в Дарджилинге сосет душистый чай,  
как гость и пленник, Далай-лама.  
Средь строгих бриттов тяжелы ему  
монашеские нудные оковы,  
и приглашает в Хласу потому  
размашистого князя Щербатского.

А лань, как лама, в круге бытия –  
беспомощно-смиренная мадонна.  
И в Петербурге Азия моя  
и в золоте, и в камне, и бездонна,  
и не грущу я о своих потерях.  
Пусть я в годах и пусть мой груз велик –  
я, как дубовый древлерусский Рерих,  
подъемлю в горы свой мордовский лик.

И шерпы над вершиной вознеслись  
и заперли последние слова:  
«Россия, Азия, не мыш, не крыса,  
но тварь животная и всё еще жива».

И в челюсти зажав, как бы бессмертья кара,  
меня жует, и душит, и трясет  
глубь ледяная Гауризанкара  
со стужей – стражею космических высот.

Я ханский внучек, маленький малай\* я,  
обличий мне не надобно иных!  
И дыбится судьбою Himalaya.  
Жизнь – как скопление пауз ледяных.

7 октября – 7 ноября 1980

\* \* \*

Почто же *ex*-революционеры  
показывают грустные примеры,  
грома, как полицейеры,  
как истинные изуверы,  
как остолопные мильтоны,  
литературные притоны,  
где, благоглупостью согреты,  
поют в тиши без нот поэты,  
и без фантазии, и куцые –  
ошметки quasi-революции.

4 ноября 1980

## АВРОРА фуга

Седой корабль – как алая заря,  
а будущее претя в Робеспьеры,  
гильотинируя листок календаря,  
как голову дохристианской эры.  
А я и попик, и Господень раб,  
живу без Фукидида и Омира,  
и презираю ересь римских пап,  
и счет веду от сотворенья мира.

---

\* Мальчик (*татарск.*).

Ужель по вышней воле Всетворца  
живут еще проклятые святые?..  
И пали стены Зимнего дворца  
под выстрелы Авроры холостые.

Бух да бух! бух да бух! бух да бух!  
И Русь лежит кровавым винегретом.  
Разгулялся-де русский дух,  
а Слово, как под прессом, под запретом.

И говорит патриций старый Люций:  
«Я враг исконный всяких революций.  
Пусть хоть Нерон торчит себе на троне,  
а я – я буду жить, как мой дружок Петроний».

Петроний или же раскольный поп?..  
(Ей-ей, не ведаю, что будет дале.)  
Ах, чтоб вас разорвало, чтоб  
вы, окаянные, пропали!

А ежели свернуть чупитку на попятный?  
А в рот Аврора мне сует  
прохладную зарю, как пряник мятный,  
и, лежа на причале, век жует.

И скучно мне старинное жеванье,  
когда законы царственно сидят.  
А люди про свои переживанья  
втихую меж собой твердят.

А вы, деточки,  
шансонеточки,  
вы, гризеточки,  
точно веточки.

Звонко вы танцуете,  
тонко пляшете,

бедрами балуете,  
ручкой машете.

Ворочая серыми боками,  
плывет Аврора в кафешантан,  
а Блок послал ей розу в бокале,  
над Авророй задумался Мандельштам.

Камеи теряют пьяные Камены  
(а я губами еле шевелю).  
За все измены и перемены,  
за упокой молиться повелю.

И оттого бываю озабоченным,  
что чей-то миф гремит в нутре моем.  
И я шагаю только по обочинам,  
и липнем мы к стихам с душой вдвоем  
и с нею же к работе пристаем.

*7–17 ноября 1980*

## **ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ**

Юродивый собор о девяти шатрах  
на площадь прыгнул, как щегол или чижик.  
Внутри со свечкой ходит царский страх.  
Собор состряпан из цветных коврижек.

И сладких луковок зеленая глазурь  
кулич из кирпича, как бабу, увенчала,  
а всероссийская небесная лазурь  
была ей живописное начало.

Иль, может быть, собор торчит как торт  
во мненьи современного невежды?

И скоморошью рожу строит черт,  
приподымая веки, а не вежды.

На Красной площади храм молится за Русь,  
наставшую неведомо откуда,  
и ангел, будто белокрылый гусь,  
благословляет дьявольское чудо.

Не Сатана ли строил сей собор,  
прияв обличье Постника и Бармы?  
Был грозен древле подмосковный бор  
и царь, носивший Мономашьи бармы.

В блаженном во успеньи мирно спит  
здесь ярость древняя царя Гороха,  
и на века собор на блюде сбит  
во имя пресвятого Скомороха.

*11–17 ноября 1980*

### АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА НЕВСКОМ

Как сизый голубь, он на землю сел,  
а маковкой в пустое небо рвется.  
На Невском храм уже полвека цел  
и церковь армянскую зовется.

Его благословил католикос,  
и грезит птица об армянском лете.  
По-за решетку из железных кос  
посажен голубь в каменные клетки.

И всё еще висит, висит над ним  
нахмуренное небо Петрограда,  
и дышит Айастан ему родным,  
и гули русские ему отрада.

*13 ноября 1980*

### КОСТЕЛ СВ. АННЫ В ВИЛЬНЕ

Века на Вильну шли войной.  
Литва рыдала неустанно,  
но колокольнею двойной  
над ней стоит святая Анна.

Века ей, видно, нипочем,  
и машет ей сирень из сада,  
ей, облаченной кирпичом  
и на задворках и с фасада.

Святая Анна так легка,  
что будто вовсе нет в ней весу,  
и по-латыни облака  
за нею повторяют мессу.

*13 ноября 1980*

\* \* \*

И так бывает не всегда ль –  
твои духами пахнут очи  
и раздвигает сумрак ночи  
твоя сиреневая даль.

Но есть лукавая минута,  
когда повеет гробовым  
и позабытое как будто  
ко мне бросается живым.

В подушьи музыка рокочет  
и душу жадно мне скребет.  
А даль кошачья когти точит  
и время на клочочки рвет.

*16 ноября 1980*

\* \* \*

Ледяной картечью сыпал град  
и мелькали поросячьи ряшки.  
Видел я старинный Петроград  
около старинной речки Пряжки.

И повсюду видел я в былом  
разные проломы да проколы,  
и над Пряжкой погорелый дом  
чудотворца вешнего Николы.

От любви остался только клок,  
и в поэте не хватило ворсу.  
Чуть не угодил бездомный Блок  
к желтому Николе Чудотворцу.

*22 ноября 1980*

\* \* \*

Не желаю с обществом дружить.  
Мне бы лишь с тобою впору жить,

ибо был бы нынче без тебя  
просто как седое жеребя.

А быть может, я – лишь твой щенок,  
под собой уже не чую ног.

Ног не чую, всё равно скачу,  
перепрыгнуть жизнь свою хочу.

А на что же мне такая стать?  
Ведь от старости нельзя отстать.

И зачем же вертится Земля,  
по-щенячьи жалобно скуля?

Навертит она мне черный год,  
год тягот и безо всяких льгот,

но из морока немоготы  
под руку выводишь строго ты.

*9 декабря 1980*

### **АРКА ЧЕВАКИНСКОГО**

Вечер встал закатом бледно-алым,  
а над ним под небом голубым  
под Екатерининским каналом  
в арке встал краснокирпичный Рим.

Арка – что громоздкая повозка.  
На ее вершине, зелена,  
триумфально зыблется березка,  
выросши из каменного сна.

Трещина разламывает своды,  
и простор уходит под дугу,  
и текут закаты, точно воды,  
на обитом камнем берегу.

Проклиная климат этот свинский,  
на Петровы замыслы сердит,  
как патриций, Савва Чевакинский  
на березку майскую глядит.

*14 декабря 1980*



## НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

### I

Живу я недалеко от костела,  
от нежной веры в Божье рождество,  
не зная, доживет ли до отела  
мое телячье естество.

Толику пропустив, я сел за столик.  
Увы! Слезятся старчески глаза.  
Вошел я в роль, как праведный католик,  
внимая слову лысого ксендза.

Мир на земле – небесное явление.  
Оно ласкает, как декабрьский дождь,  
и сыплет бисер всем скотам на удивленье,  
а в человечестве благоволения  
всё нет еще. И я судьбою тощ.

Свою судьбу снимаю напрочь с тела  
и, как отшельник, за день похудел.  
Не знаю, как и жить в эпоху дел,  
когда в народе вера опустела  
и всяк алкаш да знает свой удел.

Свет разума сияет грустно мирови  
и, кажется, лишается ума.  
А где-то в Вятке (или, может, в Кирове?)  
зимуют шустроглазые дома,  
завернутые в модные тулупы,  
по-человечески непроходимо глупы.

И от меня к Москве первопрестольной,  
рождественской обедней осиян,  
бежит старинной музыкою сольной

не колокольный звон, а сам костельный  
душеспасительный орган.

Колокола давно висят в пустыни,  
они мертвы, как снулая плотва.  
Услышь, Москва, моления по-латыни,  
введи их в прославление, Москва.

Молюсь за мир, за древнюю культуру,  
за веру предков, аки Аввакум,  
и за подпольную литературу,  
невольню наводящую на ум.  
Молюсь за мир. Слезами восковыми  
исходит робкая свеча.  
Молюсь по чистой совести во имя  
Господне и за здравье Ильича.  
Смеясь, молчу. Не моему уму  
чужих шагов раскинутая мера.  
Прости же, Боже, страстного невера,  
помилуй, Господи, неверного Фому!  
Молюсь за мир. А мне смешно и страшно.  
Авось и смерть мне видится смешной,  
и я вкушаю праздничное брашно  
и запиваю смертной тишиной.  
О войнах бешеных калякают калеки.  
Поляки бедные справляют Рождество.  
На черных святках замерзают реки,  
и кровь не движется, и стынет естество,  
и благо бы не знать – не ведать ничего.  
И мне, калеке, до Москвы далеко,  
юроду старому не побывать в Кремле.  
Но я молюсь по-Божьи кособоко  
за мир на грешной матушке-земле.

*25 декабря 1980*

Я нынче тихо верую в Сочельник,  
и православьем пахнет Рождество,  
а русская зима летит, как белый пчельник.  
Мне веруется. Только и всего.

Благословенье папы Яна Павла  
на соплеменников его легло.  
Какой-то поп, расхристаный как падла,  
изображает мировое зло.

И, кровью иноверческой налиты,  
не вифлеемской жаждучи звезды,  
тоскуют польские израэлиты,  
евреи тож иль попросту жида.  
И рабский век им не страшной мгновенья,  
им столп Господень светит на пути.  
Они под папское благословенье,  
смирясь душой, готовы подойти.

И я пророчу всем седобородым  
имамам и аятоллам:  
да будет мир звереющим народам,  
да будет мир им с верой пополам.

В Сочельник по-язычески хожу я  
во имя Божье колдовать,  
и миру христианскому твержу я:  
«Да перестаньте! Полно блядовать!  
Меж полушарий, словно меж двугорбий,  
верблюжий путь мы к миру проторим.  
И папа призовет urbi et orbi  
паломничать в Москву, как в третий Рим».

*6 января 1981*

## ЯНВАРСКАЯ ФУГА

Я увалень седой среди литых колоссов,  
десницей разума изваянных ослов.  
Средь них я только сам себе философ  
и – что еще милей мне – острослов.

Ум у меня горчит и тишь стоит на сердце,  
и я тебе, чужая слава, кум.  
Растрепан я, как Диоген Лаэртский,  
упорен и горяч я, аки Аввакум.

И переваливаюсь я по жизни,  
набрав огрызков в драную суму,  
и черви ползают и липко лезут слизи  
по неумытому и мертвому уму.  
И гол я, как пророк в непризнанной отчизне,  
и слову некуда приткнуться моему.

А чувство цыркает ногами, что кузнечик,  
иль мчится тучей, будто саранча,  
и я про всё гадаю: чет иль нечет,  
философически чуть-чуть бурча.  
Мой ум мечеть, как тело, в небо мечет,  
она застыла, точно каланча.

И нисенитница с бессмыслицей в своем  
подружестве живут со мной бок о бок.  
Они, как нимфы, прячутся вдвоем  
(не раскрывая в мире тайных скобок).

И, всё еще колдуя над собой,  
какое этой фуге дам заглавье?

Вот захочу и перейду судьбой –  
своею личной! – в православье.  
Зане я волен, что казак донской,  
по воле собственной я мирозданье лажу  
и целый век, как чертов день-деньской,  
разыскиваю самокражу.  
Ужель я в самом деле самокрад?  
Но чьи глаза тогда на мокром месте?  
Ужель набрасываться я на самок рад  
единственно из чувства мести?  
Я шествую тропинкой философской,  
задрав до неба соболиный хвост,  
я шествую походкою бесовской,  
как протоплут, праирод и прохвост.

Под ноты солнечной сонаты каюсь,  
что я – болтливый нелюдим,  
и всеми чувствами я косо натыкаюсь  
на страх, но пребываю невредим.  
Никто не говорит, что я хапуга  
и что дорогу я перебежал  
какой-то бездари, но знаю миг испуга,  
разинутый как уйма жадных жал.  
И честно движется моя слепая фуга,  
разя безмолвие, как праведный кинжал.

В элегиях, ей-ей, я не Проперций,  
не строю Рима в мраморных стихах,  
и самому себе задам я перца,  
да так, что сам и закричу: «Ах! Ах!»  
Да хоть бы был из лириков я лирик,  
в поэзии был чудом из чудес,  
из золотых слагаясь гирек, –  
с веками, словно мыльненький пузырик,  
беззвучно лопнул бы мой вековечный вес.  
И если бы в великие я влез,  
то все-таки чрез тысячу веков

я был бы позабыт и был таков –  
исчез бы на глазах у знатоков.

Так стоит ли над строчками трудиться,  
раз их удел – когда-то умереть?  
И если заново нельзя родиться,  
так нечего против рожна переть.

Люди и камни видывали виды,  
и родился последний век на свет.  
Перед ковчегом прыгают Давиды,  
египетские плачут пирамиды  
под пенью погребальной панихиды  
о том, что вечности всё нет, и нет, и нет!

*7–17 января 1981*

\* \* \*

Что может быть страшнее были –  
попасть в густой навар толпы,  
когда кругом автомобили  
ползут, как полные клопы.

И с семафора глаз не сводишь,  
и от улыбки сводит рот,  
и улицу, как реку, вброд  
ты полусонно переходишь.

Как старый питерский чиновник,  
вхожу в метро, как в добрый храм.  
Как потревоженный клоповник,  
чернеет город по утрам.

*24 января 1981*

## ФЕВРАЛЬСКАЯ ФУГА

Полжизни я по жизни размышлялся  
и думал у себя на поводу.  
Пусть я даже чрез маразмы шлялся –  
и глазом я на них теперь не поведу.  
И жизнь ученых истин мне дороже.  
Чужих умнее жизнь всегда моя.  
Философу, ей-богу, не до рожи:  
мне ум – как дом, и книга дома я.

Февраль мне врет, дождишко насылая.  
Я ни ногою из дому сегодня.  
Погода нынче сделалась сырая,  
стоит как побирушка или сводня.  
Пусть тычут в нос: живу-де неприлично,  
а я и рад: зато живу я лично  
и, пробираясь боком в бытии,  
кладу в карман все истины мои.

Не зарюсь я на истины чужие.  
Мне, право, не пристало воровать.  
Мои мне ближе, и живу у лжи я  
и залезаю нежно к ней в кровать,  
и блудомыслия мне незачем скрывать.

И неприкаянным, как Мандельштам, жидом  
попал бы я в советский божедом,  
когда бы не был плут и черный враль  
и не размок, как нынешний февраль.  
Да вот беда, что вру я, как Ноздрев,  
и во вранье наламываю дров.  
Какого черта взять с меня, заревы?  
А что поделаешь? Поэты все Ноздревы.

И пусть городят про меня горожи!  
Мне собственная истина дороже.

На рынке вынь ее мне да положи!  
Мне лично истина ценна как самоложь,  
а самоложь мне дорога как память,  
которую невмочь судьбе переупрямить.

А что, как я переупрямил бы судьбу  
и зарубил бы у нее на лбу,  
что жить могу повсюду я, как дома,  
и всюду истина мне лжет, как аксиома?

Одна есть истина, моя на целый свет,  
что свету я неведомый поэт,  
что догорающей вечерней зорькой  
я не отгорожусь от правды этой горькой,  
и не считаю болтовней иль сплетней  
я истины моей семидесятилетней.  
Нашла она меня, великого вряля,  
среди молчания седьмого февраля.

*1–7 февраля 1981*

\* \* \*

Городские кварталы,  
где автобусный бег.  
На домах полуталый,  
полуслипшийся снег.

Друг мой, будем калякать  
всё сильнее и нежнее  
про февральскую слякоть  
замурженных дней,

про пейзажик сумбурный  
отживающих лет

и встречать физкультурный,  
идиотский рассвет.

Время в крохотной раме  
будет так же снежить,  
мудрецы с докторами –  
поучать нас, как жить.

В три погибели гнуться  
приучают с утра.  
Но, как черти, вернуться  
в город к нам вечера.

*15 февраля 1981*

\* \* \*

Церковный северный рассвет  
плывет в собор узкооконный,  
дабы растаять пред иконой,  
которой, может быть, и нет.

И кажется – собор есть твердь,  
зиянье каменное плоти,  
и Богородицей в кивоте  
спит позолоченная смерть.

*17 февраля 1981*

### **КАРТАШЕВСКАЯ**

Карташевская! Тихий поселок,  
занесенный по шею зимой.  
Мимо дачек твоих веселых  
прохожу дорогой прямой.

И вот вижу уже, как тает  
потеплевший снег на крыльце  
и как тяжело ворона летает  
на твоём обгорелом конце.

Стало тесно и душно природе,  
потекли от тепла ключи,  
и расхаживают в огороде  
черномазые дяди – грачи.

Но не только судьбой грачиной  
переполнилась наша земля.  
Переливчатой стаей скворчиной  
порассыпались нынче поля.

От берез, как от будущих нянек,  
задаю я всю стрекача,  
и блистает скворец, как племянник  
черномазого дяди – грача.

А снежиночки, как из балета,  
так и кружатся возле лица.  
И я жду карташевского лета,  
став у тающего крыльца.

*21 февраля 1981*

### **ТРОИЦКИЙ СОБОР**

Во имя Троицы ставлен сей собор  
за то, что русская свалила сила  
турецкую твердыню Измаила  
и привезла чугунный пушек хор.

Собор стоит как памятник с тех пор  
суровому Суворову. Но было

сторожевое полночь не отбило,  
и ночь прокралась к алтарю, как вор.

Не стало более иконостасов,  
но нерушим белоколонный вид,  
и, как икона, перед ним стоит  
изваянный из камня бурый Стасов.  
А ключья современных разговоров  
незримо слушает из-за колонн Суворов.

*22 февраля 1981*

\* \* \*

От вечерней зари подряд  
все окошки навзрыд горят,  
и за вечер сели хозяева –  
не прожить-то всё же нельзя его.  
И приходит домой под старость  
вечереющая усталость,  
и живем от зари до зари,  
как стареющие календари,  
отрываемся по листочку.  
И на этом я ставлю точку.

*24 февраля 1981*

\* \* \*

Февраль окончен. Бедный куцый месяц,  
да, кажется, к тому же и хромой  
шагает дворником меж легких перелесиц  
и подметает сор, набросанный зимой.

А тополя во сне уже веснятся,  
и в сучьях их бесшумно бродит сок,

и хочется с быком корове сняться,  
и чирик пробует на солнце голосок.

А дни короткие меняют освещенье,  
на нежном солнце тает бледный снег,  
и февруарий – месяц очищенья  
от зимних дней и полуночных нег.

И, как пернатый дождь, воробушки слетели  
на талый снег к кормушкам городским.  
Но носятся еще февральские метели,  
как вперемежку с солнцем сизый дым.

*28 февраля 1981*

## СПОР

Держу пари, что я еще не умер.  
*О. Мандельштам*

Я спорю с миром, что еще не помер,  
бьюсь об заклад, что еще буду жить.  
Ползет, как жук, трамвай девятый номер,  
не смерть моя – так черта ли тужить.

Ей-ей, не проиграю я заклада,  
зане трамвай – отнюдь не Минотавр.  
И в белой столе рыжая Эллада  
сажает фиги, черный дуб и лавр  
под медный грохот бубнов и литавр.

Родился в старом марте я под звон  
сосулеч и серебряной капли.  
Поп, как архангел, вышел на амвон  
и дёсную простер к моей купели.

А я полвека молча ожидал  
саморожденья в жизни круговертной,  
и под шумок мне дьявол нагадал,  
что месяц март мне будет месяц смертный.

Горбатая к земле прижалась Спарта,  
от зноя прячась к шелковицам в сень.  
Еще не миновали Иды Марта,  
еще не миновал Кириллин день.

И на всю жизнь я с целым миром спорю,  
переорав стозевную молву,  
что не поддамся ни тоске, ни горю  
и что я сам себя переживу.

*1–17 марта 1981*

## ПОСЛЕДНЯЯ ФУГА

*Последняя у попа жена.*

Я жив еще. И жил во мне, побив природу, Бах,  
а имя малое мое российское – Савося,  
и музыка моя стоит на трех дубах  
под дудку брата моего Авося.

Я жив еще. Бессмертный я покойник,  
и черной музыки я разумею тщу,  
и, как злосчастный Соловей-разбойник,  
я с трех дубов отчаянно свищу.  
Свищу и вызываю из вещей  
последние события, а с ними  
орду великих дыр, и ямин, и свищей,  
и забываю собственное имя –  
что я бессмертный миф и царь Кощей

(но это, может быть, всего лишь псевдоним,  
и искони скрываюсь я под ним).  
И я пишу рукой смертоубийцы,  
зайдя за Геркулесовы столпы,  
себя не вытряхая из толпы.  
Да здравствуют пииты-кровопийцы,  
орденоносные клопы!

Я жив еще. Бежит с приплясом fuga  
от полуравнодушного испуга,  
и не изведаль я смертельного недуга,  
как внук мой или в ста коленях Бах.  
А музыка меня что гром бабахнет,  
а музыка меня как тарарахнет,  
и нбзло смерть навязнет на зубах.  
Помилуй, Господи, невольного смутьяна!  
Молюсь Тебе я нынче сполупьяна:  
спаси меня во имя Себастьяна,  
не дай увидеть мне мой страшный крах!  
Я червь, я раб, я Бог и прах.  
Брожу я очень бережно. Но чу! –  
я ноги снова еле волочу,  
и по пятам за мной плетется страх.

А Божий мир – цыганский гам органа  
и старая петрушечья любовь,  
рай в шалаше под крышей балагана  
и в жилах стынущая кровь.  
Зачем она (по-детски) стынет в жилах,  
какой ответ найдешь, Савоська, ты?  
Сижу я в музыкальных старожилах,  
пугаясь только тощей скукоты.

По морю неба я взываю в рог Тритона:  
я, будто Бах, беру три ноты, как три тона.  
Громораскатами бежит моя токката,  
а под нее течет вода заката.

И жизнь моя подобна водомету  
в незримом Риме: из тритоньей пасти  
вниз утекает, позабыв заботу  
о музыке и прочие напасти.  
Жизнь протекает, словно потолок  
у беззаботного домовладельца.  
А серый дождь уже перетолок,  
как рой молекул, кровяные тельца.

Вращается, как вихорь пеня, слово,  
и жизнь свою беру я на испуг.  
А колокольчики звонят лилово,  
и, как последняя жена попова,  
запуталась в сетях бывшего  
моя последняя из фуг.

И заживо покойник я бессмертный,  
к крестообразной яви пригвожден,  
затем что замертво я был рожден  
и ханской грамотою шертной  
почти по-хамски награжден.

Авось – брательник мой и Бог-Отец,  
а я бессмертный и прижизненный мертвец.  
Мне Бах читает, как из драмы воя,  
Евангелие громовое.  
И благовестит мне Архангел Гавриил,  
как сам Державин, гордый росс Гаврила,  
и собирается средь разных рож и рыл  
свиной поэзии заехать в рыло.

Грядет, как дым, орда безглазых дыр  
и вече адское разверзшихся отверстий.  
До Божьей плоти проткнут Божий мир,  
от тела жирного до тощей персти.  
И я стою под градом троеперстий,

как под дождем медлительный раскоп,  
и между строк (как между ржавых скоб)  
я рву клоки отчаянные шерсти,  
как в бешенстве раскольный протопоп.  
И скачет гром, как одноместный гроб –  
тра-та-та-та – на звонкой таратайке.  
И Парки, как зевластые хозяйки,  
судачат, плачут и прядут,  
но в гости страшные, ей-право, не придут.  
И я свищу, как Соловей-разбойник,  
как лиходея на трех пустых дубах,  
и существую нынче как покойник  
без персти в десяти гробах.

И краплет дождь, и набегает вздрог,  
и в беспросветном сне кричат от страха дети.  
Не соскочу я с похоронных дрог,  
чтоб очутиться вновь на этом свете.  
Паром Харонов увезет меня  
от лая сучьего и псиной злобы дня.  
И не увижу я своих же похорон  
ни во сто глаз, ни из пустых хором.  
Спасибо же тебе, старик Харон,  
да и тебе, спасительный паром.

А музыка идет победным маршем.  
Я ж, и гроша на ней при жизни не нажив,  
а только бесконечность обнажив,  
кричу, восстав, моим собратьям старшим:  
«Пусть я и нем, и сам еще не свой, но жив».

*1–7 июля 1981*



## ЗАВЕЩАНИЕ

### фуга

Я продолжаюсь... Этот август – мой,  
и я пока еще шагаю без запинки.  
Иду по скособоченной тропинке  
и возвращаюсь в августе домой.  
Но скоро ль разум облачится тьмой  
и справит по нему жена поминки,  
а жизнь пойдет предсмертной кутерьмой?

Я с самого рожденья жил и рос,  
но в старости сгибаюсь, как вопрос,  
расхристанный хохол иль просто малоросс,  
как долгодювый мертвдушный Гоголь,  
и спрашиваю под шумок: а много ль  
недель мне жить? Но, азбуки не зная,  
я припеваючи, как Вечный Жид, живу,  
и смерть уведаю не наяву,  
а в дряхлом сне. И жизнь моя сквозная  
не покидает даже дом,  
где Вечным я сижусь всегда Жидом  
и, погружаясь в гробовые доски,  
отшучиваюсь, Боже, по-жидовски.

Сгибаюсь мыслями в горбатый знак вопроса,  
по-воробьиному клюю рассыпанное просо.  
А воробьишка кто? Блаженная пичуга.  
А лето покривилось, как лачуга,  
от гроз, нагрывших и с севера, и с юга.  
От ига стариковского недуга  
трясусь, как Вечный Жид иль старый воробей,  
робея, будто жук, вонючий скарабей,  
катая из вещей ничтожных завещанье  
по вечности, покуда еще жив,  
пока я Вечный Жид. И, смерти не нажив,  
вдоль августа тащусь я по тропинке.

Кивают мне невинные травинки,  
и этим травам я Бог весть зачем, но рад,  
мне по сердцу зеленый их наряд.  
Любой травинке я столетний брат,  
и по моим годам брожу я разом  
лохматым барсуком, колючим дикобразом.  
Ломаю я надтреснутые сучья,  
зане природа у меня барсучья,  
и норовлю я в старость, как в нору,  
укрыться, как в последнюю дыру.

Колоч, как дикобраз иль даже Божий еж,  
живу и ежусь я от старости. Ну что ж!  
Какой же рок меня вот так нарек?  
Старик, зубастый как хорек,  
который душит дур и белых кур,  
он – бывший балагур и бедокур.

И, с палочкой кривой слоняюсь меж вещами,  
как иероглиф Солнца – скарабей,  
жене я оставляю завещанье,  
как жирный том моих лирических скорбей.

Послушай напоследок, друже Муза,  
мне в старости бывает каково,  
когда я сам себе великая обуза,  
а в целом мире нету никого,  
опричь тебя. И посредине спора  
с моим расстроенным нутром  
ты – посох мне, и палка, и опора,  
пока еще далеко Божий гром.  
Ты ластишься: пожить еще попробуй!  
Пусть, дескать, гинут сверстники твои.

Стихи бегут, как по весне ручьи.  
Неприрученные, они еще ничьи.

Не стану спрашивать врачешек о прогнозе.  
О смерти буду нынче думать сам,  
как о мгновенном мифе, как о прозе,  
которая не верит чудесам.

Прощаюсь я с собой, и на разлуку  
я подаю последней фуге руку.

Авось в краю моих родимых Муз,  
назло смертям, как дым и даль очнусь.  
Авось инобытийствовать я буду,  
и в десять вечностей я сдуру попаду.  
А вечность – будто хлеб, печеный на поду.  
Помилуй, Боже, грешного зануду:  
сидит он в августе, как бы в густом саду.

В последний раз я спрашиваю: кто я, –  
как шало я полжизни вопрошал, –  
не место ли в поэзии пустое,  
и стих мой, как разбойник, согрешал?  
Вопрос горбат, и на его горбу  
неужто в рай лирический не въеду?  
И что мне зарубить теперь на лбу?  
Вся жизнь мне въедлива была, и следу  
бесслезного она мне не оставит.

Мой август вечности мне не прибавит  
ни к осени, ни к смерти бесконечной,  
копеечной, юродивой, увечной.

Авось как Вечный Жид я буду жить,  
кому и ни к чему меж строчек шляться,  
кто всё еще способен размышляться.  
Не породнюсь я с вечностью земной.  
Какая вечность будет жить со мной?  
С какой же слажу, рифмоплет сумной?

Авось я буду без задора жить  
и попусту ничем не дорожить.  
Авось возникну я ничьей водой ручья.  
Авось и будет смерть моя ничья.

*1–7 августа 1981*

1983

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье,  
по рассказам матери – на рассвете,  
и, уж конечно, никто не помнит,  
какая была в тот день погода.  
Вероятно, грязно-весенняя.  
Последние лохмотья снега  
летели из-под праздничных саней,  
воробьишки в навозе чирикали,  
а колокола  
торжественное бухали  
в лазоревую даль,  
повисшую  
над моей родной Казанью,  
над городом соборов,  
мечетей и минаретов,  
над горбатым городом  
садов и парков,  
где бегали в раннем детстве  
краснощекие трамваи  
вниз от Университета  
по Проломной улице  
мимо театра  
и гастрономических магазинов,  
где на прилавках под стеклянными колпаками  
лежали сыры вонючие  
и колбасы копченые,  
икра черномазая и красная  
без очередей и ограничений.  
Трамваи бегали по дамбе  
до пристаней со смолистым запахом,  
стоявших на Волге.

И я гордился в детстве,  
называя себя волгарем.  
И Казань без татар,  
Казань театральная,  
университетская,  
с ее оканьем  
охающим,  
с ребяческими стихами,  
с митрополичьими службами  
вспоминается неустанно  
мне, старцу семидесятилетнему.  
Сколько раз я писал, как Рильке,  
самому себе в день рождения  
«Mir zur Feier»,  
стихи нерифмованные.  
Писал их в Сибири,  
где меня обступала  
тайга и где  
я научился лопотать по-татарски.  
А когда вернулся  
из Сибири и стал  
членом Союза Писателей,  
я всё еще сомневался,  
как Ульрих фон Гуттен,  
поэт ли я,  
и мне хотелось  
добыть признания  
от людей понимающих,  
ибо с детства  
я не сомневался в своей поэтической одаренности.  
И год назад  
меня напечатали –  
не русские  
русского поэта,  
а кривозубые эстонцы.  
И сегодня, когда мне стукнуло  
семьдесят два,

я повторяю упрямо,  
что я как поэт бессмертен,  
ибо я родился в Благовещенье.

*7 апреля 1983*

### БЕССМЕРТИЕ

Всё думаю о том, как я умру,  
подхваченный великой лиховестью,  
воспринимая смерть как жуткую игру,  
за коей следует мой путь к бессмертью.

Не может быть, чтобы я умер весь!  
Останется меня хоть малая частица.  
Сознание мое всем саваном завесь,  
дабы я смог к бессмертью причаститься.

Очнусь в беспамятстве, в загробной глубине,  
а врач свидетельство о смерти мне напишет  
рукой бестрепетной. А мне во смертном сне  
всё будет чудиться, что рядом кто-то дышит.

Начну я сызнова посмертно жить,  
не старчески, а как ребенок малый,  
и станет смерть мне голову кружить,  
затем что жизнь меня не понимала.

Моя злосчастная бессмертная душа  
и после смерти ухитрится  
всё повторить, сумнение глуша,  
и жизнь моя посмертно повторится.

*17 октября 1983*

1984

\* \* \*

Приклеен на дорожке лист каштана,  
и тучи посерелые в окне,  
и мнится, что во всей природе долгоштанной  
нет ничего, навеянного мне.

Не шевелюсь вблизи великого окошка.  
Торчат деревья, как последний стыд,  
и только листьями покрытая дорожка  
в глазах истерзанных всё время мельтешит.

И желтенькое это мельтешенье  
рябит в глазах до боли головной,  
и как же мало в этом утешенья,  
которое еще живет со мной.

Живет оно насмешливо, как прежде,  
хоть режь его на черствые куски,  
и тучи серые, подобные невежде,  
готовы лопнуть от глухой тоски.

Еще живу, еще гляжу я в оба  
прискорбных глаза на закате лет,  
и донимает грозная хвороба,  
поднявшаяся как слепой скелет.

Еще живу и жизнь жую свою же,  
беззубую, средь полной тишины.  
Мне зябнется с утра в октябрьской этой стуже,  
и жду, как откровения, жены.

*26 октября 1984*

## ВРЕМЯ

Неужели время просто врет  
и так поздно в ноябре светает?  
Снеговой времен водоворот  
от подъезда до глухих ворот  
леденеет, но не тает.

В ноябре зима еще не настает,  
и живем мы точно как попало.  
Время спотыкается о лед,  
песенки веселые поет  
про любовь, которой было мало.

Нынче ни двора и ни кола.  
Всё в небритом ноябре застыло,  
не гудят уже колокола  
и не отражают зеркала  
времени ни с темени, ни с тыла.

Знаю, грешный, зданий желтизну,  
глядя из окошек в занавесках,  
ожидая нудную весну,  
будто промелькнувшую блесну,  
с первоцветом в легких перелесках.

В кучу сбились нынче времена,  
желтизна и снег еще не тают.  
Повторяет память имена,  
как дурная девочка со сна,  
а снежки всё мимо пролетают.

Мимо, мимо, милые снежки,  
ледяные легкие ожоги,  
и в остатке стылые смешки –  
те, что остаются от тоски,  
от тоски и от тревоги.

Время врет, и создается ложь,  
и на ложь я нежно уповаю.  
Время-бремя вынь мне да положь,  
вынулось оно мне – ну и что ж?  
В старости про время забываю.

*24 ноября 1984*

## «НЕТ, ХУДОЖНИК, НА ТЕБЕ ВИНЫ...»

...Он родился в Благовещенье.

В этот день он на протяжении чуть ли не полувека вставал ни свет ни заря и писал стихотворение, всегда с одним и тем же заголовком «Mir zur Feier» – «Мне к празднику». Заголовок, как уже догадался читатель, взят из раннего Рильке – поэта, рука об руку с которым прошла вся жизнь Сергея Петрова. Он любил свой день рождения. В этот очень важный для него день он словно бы ставил ту единственную отметку, которую был вправе поставить: «Я прожил один год, у меня праздник. И я, отчитываясь за этот год, пишу к этому празднику стихотворение». Писал он напряженно, нервно, аллитерированно – и непременно верлибром: мастер виртуознейших форм – от древнеисландской висы до стиха французских сюрреалистов – снимал с себя формальные вериги. Не то чтобы он любил верлибр, но знал откуда-то, что в этот день иначе писать нельзя. Если собрать все эти стихи, получится немалый сборничек – жизнь Петров прожил долгую. В первый том нынешнего (первого у Петрова!) собрания сочинений, который вы держите в руках, вошла изрядная часть этих его верлибров. Кстати, не удивляйтесь, что книг две, а мы говорим об одном томе: лирика 1920–1980-х годов – отчет перед Богом за две трети столетия – просто не поместилась в один том, и его пришлось делить надвое.

Масштаб поэта Сергея Петрова едва ли можно выразить в линейных единицах, в прилагательных превосходной степени. Да простит меня Карел Чапек за кражу образа, но на дверях кабинета нашего героя в Синклите России, надо думать, написано просто «Петров». Даже слово «поэт» тут лишнее. Ясно и так.

...Поэтика Петрова до первого ареста (1926–1933) прямо восходит к трем вершинам: к Андрею Белому (с ним наш герой едва не познакомился, но всю жизнь был счастлив, что хотя бы увидел вживе), Осипу Мандельштаму и Михаилу Кузмину. Однако ж гремучая смесь! Ее используют как запал, дабы получить настоящий мощный взрыв, – и поэзия Петрова таким взрывом стала. Он почти полностью сформировался как поэт, а дальше ему несказанно повезло: его арестовали. Повезло тем, что арестовали именно в 1933 году; в 1934, после убийства Кирова, это могло бы кончиться

куда хуже. Но в 1934 он уже был в Красноярском крае. Его, по счастью, на некоторое время забыли. Будущий выдающийся поэт второй волны эмиграции Глеб Глинка еще в СССР написал: «Большой поэт как дерево растет». Петров рос и вверх, и виришь, и вглубь: учил новые языки, осваивал новые формы. Внешней стороны жизни для него словно бы не существовало: сажают в «одиночку» с неграмотным латышом – значит, можно учить латышский; сажают с неграмотным вотяком (удмуртом) – уже через полчаса после знакомства Петров сочиняет соленые вотяцкие частушки и до коллик смешит сокамерника; засылают на север, велют преподавать астрономию – что же ее не преподавать, раз над головой регулярно мерцает северное сияние? А годы идут, вот и следователя расстреляли, а Петров отсиживается на севере и пишет стихи. Умение жить в нечеловеческих условиях – качество, сделавшее русского человека одним из самых приспособляющихся в мире существ. Португальский принц Генрих Мореплаватель тратил жизнь только на то, чтобы научиться строить корабли, способные пересечь гладь океана и хоть до чего-нибудь доплыть; а русские казаки за полвека дошли от Урала до Тихого океана. Еще бы немного – и Кортес встретил бы в Мексике их, а не обезумевших от пейотля касиков. Но это, впрочем, так, в сторону. Нас интересует Петров.

Детальной биографии Петрова не существует. Сохранился черновик неподцензурной автобиографии (судя по почерку, начало 1980-х), который лучше процитировать целиком:

Я родился в Казани 7 апреля 1911 г.

Мой отец был врач Владимир Петрович Петров (1884–1916).

Он умер в 1916 г. на фронте.

В Казани я кончил среднюю школу и поступил в 1928 г. на историко-филологический факультет Ленинградского университета, который и закончил в 1931 г.

В 1932 находился в должности ассистента по немецкому языку в том же университете. <В> 1933 году был преподавателем шведского языка в ВМУ им. Фрунзе и одновременно ассистентом по немецкому языку в Заочном институте им. Калинина.

В 1933 году меня арестовали, а потом выслали в Красноярский край в село Бирилюсы, где я начал преподавать с весны 1934 года

немецкий язык. В конце 1936 года был вновь арестован и просидел под следствием в Ачинской тюрьме, откуда меня выпустили в 1937 году, поскольку обвинение не было доказано. Я вернулся в Бирилюссы, в 1938 и 39 годах работал лесником в Лесхозе и заготовителем сельхозпродуктов. (В последующие годы я работал счетоводом в колхозах Бирилюсского р-на.)

В 1943 году кончился срок моей ссылки и я уехал в Ачинск, где преподавал в мужской школе немецкий язык и в фельдшерско-акушерской школе латинский язык и общую гигиену.

После этого я работал в железнодорожной школе (немецкий язык и астрономия). После этого я преподавал на станции Спирово в ж-д школе № 8 и одновременно в другой школе там же.

После этого я переехал в Новгород, где проработал 9 лет в должности ассистента по немецкому языку. Живя в Новгороде, я сдал кандидатские экзамены и начал делать и печатать стихотворные и прозаические переводы с разных языков (немецкого, шведского, датского, французского, английского и латыни). С этого времени и до последнего я и занимаюсь литературной работой.

...Это, конечно, пунктир: здесь больше умолчаний, чем фактов. Но сейчас и нет задачи создать жизнеописание С. В. Петрова – пока что нужно донести до читателя его стихи. А к биографии можно добавить лишь несколько штрихов: 1) дата рождения по старому стилю – 25 марта; 2) в Новгород переехал в 1954 году; 3) в 1976 году женился на Александре Александровне Петровой, тогда же окончательно переселился в Ленинград; 4) умер 31 октября 1988 года.

Человек, который провел в тюрьме три года, а в ссылке семнадцать, не стал классиком в XX веке. Это заветное наследство ныне достается веку XXI. Конечно, в будущем литературоведение вернет Петрова тому столетию, в котором прошла его жизнь, но пока что открытие его творчества – такое же неожиданное для широкого читателя явление колоссального масштаба, каким несколько раньше стали, к примеру, открытия неведомых нам имен Даниила Андреева и Сигизмунда Кржижановского. Без них немыслима русская поэзия, русская проза, русская философия. Немыслима отныне есть и будет русская поэзия, во многих ее жанрах, без творчества Сергея Владимировича Петрова.

Сказать о нем, что он стал большим поэтом, – не сказать ничего. Аркадий Штейнберг на замечание о том, что своим переводом «Потерянного рая» он обеспечил себе место в русской поэзии, обычным своим ворчливым тоном ответил: «Знаете, русская поэзия – это такая армия, в которой взводами командуют генералы». Приятно сознавать, что в моем доме на Садовой-Каретной в Москве, в двух шагах от Триумфальной площади, в начале 1980-х состоялся творческий вечер Петрова. Второе отделение этого вечера даже удалось записать (фрагменты записи можно найти в интернете). Среди хохочущих над невероятными аллеевыми строфами про отшитою Юпитера явственно слышен голос Штейнберга: «Во дает!» Хотя бы один раз встретились и Штейнберг с Петровым. А кого только не знал Петров! От Андрея Белого до тех, кто в 1980-е в Ленинграде так безобразно отнеслись к нему.

...Однажды я спросил у него, почему он оказался в Великом Новгороде. «Судьба, наверное, – ответил он. – Хочется в столицу – в столице и окажешься». Знаний мне тогда не хватало, но я догадался: он имел в виду не Петербург, а именно Великий Новгород – первую и священную для каждого русского человека столицу Руси. Он бы выжил там, да только скучно поэту всю жизнь писать и не печататься, когда Питер в двух шагах и хотя бы как поэту-переводчику ему там работу дают. Уже в 1950-е Петров начинает печататься.

Ах, какие он пережил 1970-е годы! А ведь ему было за 60. Но именно в эти годы он дорос до того звания, когда с формы можно уже снять погоны. Известно, что перед нами полководец, стратег, пусть у него нет ни армии, ни даже государства.

Дар слова, пластическое владение стыками гласных и согласных были у него таковы, что долго придется искать аналог, и ближайшим аналогом этому поэту окажется взрыв атомной бомбы. Жаль, взорвалась эта бомба в пустыне, и лишь многие сейсмические станции зарегистрировали, что что-то произошло. Я счастлив, что оказался одной из таких станций, и мне горько, что почти никто другой не знал его.

Самое сложное произведение Петрова – поэму-мистерию «Азь» читатель найдет в одном из следующих томов: ее не так просто подготовить к печати. Одни лишь маргиналии, которые

предстоит перевести и откомментировать, на *двенадцати* языках – от древнегреческого до исландского, от французского до шведского. А ведь он так гордился своим переводом «Истории Государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого! Русский текст там был переведен на немецкий, а немецкий на шведский.

Я боюсь думать, сколько лет этот том готовился к печати. Как все давно знают, что рыбы умеют считать только до четырех, так и я знаю, что 38 лет готовил к печати одно из своих изданий – двухтомник Арсения Несмелова. Но Несмелов умер до моего рождения, а с Петровым выпал мне счастливый лот: я больше десяти лет мог общаться с ним. Если о чем и жалею – общался меньше, чем мог бы, хоть и трудно это было: мы жили в разных городах, да и боялся я ему повредить при моих-то диссидентских занятиях. А в конце 1980-х было поздно для всех. Должно было пройти еще 20 лет после его смерти – те самые, о которых писал Галич. Правда, у Галича: «А вы говорили – бредни! / А вот через тридцать лет...» Нет, не бредни. Время отодвигает от нас даты жизни Сергея Петрова, и на расстоянии становится видно, каким он был колоссальным явлением (не хочу даже писать – поэтом).

При жизни было напечатано не больше десятка его стихотворений, а на виду так и вовсе одно – fuga «Рерих» в «Новом мире» (спасибо Олегу Чухонцеву, он все-таки заставил донести ее до читателя). Fuga – жанр, который мы не в силах донести до читателя во всей полноте. Кто не видел автографов Петрова, тот не знает о нем и половины, кто не слышал его голоса – не знает еще четверти. Он писал каллиграфическим почерком, положив перед собой шариковые ручки (а то и поставив чернила – любил писать по старинке, пером) семи разных цветов. Каждый цвет соответствовал отдельному голосу. Если бы мы захотели воспроизвести подобный автограф фототипией, читатель не смог бы читать, а издательству никаких денег не хватило бы на цветную печать. Чем-то приходится в нашей жизни жертвовать. Пока пусть дойдут до читателя хотя бы сами стихи. Но жанр fugи, закрепленный в русской поэзии Петровым, рано или поздно дождеться отдельного сборника. Только вряд ли будет его легко читать. Хотя что тут особенного? «Аллилуйя» Владимира Нарбута тоже первоначально была

отпечатана церковнославянским шрифтом, за что и подверглась уничтожению (сохранились считанные экземпляры). Пришлось перепечатать книгу, сделать «как у всех». Нарбут был большим поэтом, но роднит Нарбута и Петрова только полиграфическая невозможность издать стихи так, как следовало бы. И жанр fugи возник, вероятно, потому, что Петров и не надеялся что-то увидеть напечатанным. Не возникло и с «Рерихом» вопроса о том, чтобы попытаться воспроизвести цвет: не до жиру. А бедный читатель ничего не понял: то ли кракен перед ним, то ли осьминог, то ли шаровая молния. Мало для кого, даже когда рухнули все окопы цензуры, дорога в печать оказалась вымощена такими раскаленными плитами. Ни один издатель не мог понять, почему он должен это печатать. По сей день существует одна-единственная книга стихов Петрова (Избранные стихотворения. СПб.: ЭЗРО, 1997. Тираж 500 экз.) – чуть больше полусотни стихотворений. Разглядели ее только истинные ценители поэзии да книжные спекулянты, на которых в России, как на трех китах-жучкбх, стоит культура. Спасибо вам, даже если вы дерете с нас три шкуры. Зато пусть с переплатой, а мы можем достать книгу, и достать ее легально.

В конце 1960-х я сам был таким жучком-колодником с полным портфелем эмигрантской литературы, пребывая совсем не в ссылке. Но мне везло. В 1971 году я уже печатался. Тогда же или годом позже приехал в Питер. Меня отвели к Петрову. Творчество его переживало такой расцвет, какого иной поэт не дождеться и за всю жизнь. Он читал «Босха», а в следующий мой приезд «Жизнь Званскую». И я понял, что мне дано великое счастье: я нашел учителя. Знать ему об этом было не нужно. Всё, что у него можно было взять, я и так брал, и не только я. Пожалуй, с учениками Петрову не очень везло – по пальцам одной руки перечислю: ныне уже ушедшие от нас в лучший мир Светлан Семеновна, Вера Френкель, еще 2–3 имени. Хочется думать, что Сергей Владимирович не намыливает сейчас «с той стороны» мне шею, а если и намыливает – я согласен: Бог с ней, с шеей, поэзия того стоит.

Петрова можно было просто слушать, не задавая ни одного вопроса, только попросив рассказать о том или об этом. Например: «Сергей Владимирович, хорошо ли думается?» Этого было достаточно.



– Вы знаете, – говорил он, – я тут набрел на ономастическую бомбу: имя Всеволод – не русское, есть свидетельства того, что примитивная форма этого имени – Сиволод. Считается она просторечием, а я тут покумекал и сравнил источники. Так вот, как раз Всеволод и есть просторечие, а правильная форма – Сиволод, то есть Сигвальд. Имя это скандинавское. Ономастическая бомба, Женя! Брошу ее на какую-нибудь конференцию.

Не знаю, бросил или нет, но было жутко интересно. А Петров уже переходил на другую тему:

– Вот вы меня спросили о падеже, переходящем на предлог. О предложном падеже я, наверное, знаю больше всех в России. Вы читаете Мельникова-Печерского? Вы его любите?

Я читал, хотя понятия не имел, какое отношение он имеет к предложному падежу.

– Вы знаете, ведь ударение может менять смысл всей фразы: «пришлите купчую нб дом» и «на дум». А у Мельникова встречается: «купить меха нб золото».

Тут становилось совсем интересно, так как значимое слово вообще лишалось ударения (позже я нашел это место, только ударение стояло в старом издании, а в советском было смыто волной Реки Времен; хочется верить, что в новом тысячелетии и ударения вернутся на место). Наглости мне было ни тогда не занимать, ни теперь, и я сказал:

– Можете проверить. Я могу провраться, но стараюсь учить ударения в русском языке.

– А я, Женя, последние двадцать лет только и учу, что русский язык. А скажите, на каком острове стоит Архангельск?

Ну, Алексей Федорович Лосев говорил, что Гомера он знает твердо, а я знал твердо Бориса Шергина, и меня было не сбить такими вопросами.

– Суломбала, Сергей Владимирович, Суломбала! Знаю, ловите на том, что я скажу «Солумбала» или «Соломббла». Я такого не кушаю. Но сразу сдаюсь, если заставите диктант глаголицей писать. Пытался, но так и не выучил.

Поэт посмотрел на меня своим невероятным взглядом то ли лесовичка, то ли Ремизова:

– А зачем она нужна? Я ее тоже давно забыл. Вот уставом писать умею, но тоже не пойму, зачем он нужен.

Правда, дальше, при моей попытке перейти на пинежский диалект, он не оставил от моих знаний живого места, но чувствовалось: зауважал, уже перешел на новый уровень общения. Он переходил и на немецкий. Ужасно огорчался, что я не знаю ни единого скандинавского языка, но утешался:

– Ничего, вы голландский знаете. А среди скандинавов кто поэты? Только шведы – эти, конечно, да. А в исландских стихах что великое? Аллитерация, красота формы, а души, ума и поэзии – с гулькин нос. (Он, правда, выразился иначе, но я уж лучше не буду цитировать.)

Как он умел говорить! Как-то раз он приехал в Москву на день-два и снял какую-то загадочную квартиру на первом этаже на Палихе. Хотелось есть, в холодильнике было пусто.

– А давайте, Женя, найдем какую-нибудь столовку.

– Сергей Владимирович, а не отравимся?

– Со мной вы не отравитесь. Я такое нюхал – точно знаю, можно есть или нет. Я ведь по гигиене специалист. (О том, что он действительно читал лекции по гигиене, я узнал много лет спустя.)

В столовой оказались только сосиски, и это было даром Божьим. Чтобы в советское время прийти в столовую да сосиски найти? Кто тогда жил, тот и не поверит... Но Петрову было мало. Он шел на раздачу и говорил:

– А что ж вы их голыми подаете?

Холеная раздатчица, строя глазки совсем не мне, спрашивала:

– А во что, вы считаете, их надо одевать?

– Не во что, а чем, – поправлял поэт. – Их надо одевать, например, капустой. Можно кислую, можно свежую, но обязательно тушеною. Неужели вам жаль капусты? Вы же богатые, у вас есть сосиски.

Очередь стояла в немом оцепенении, как в последней сцене «Ревизора», а Сергей Владимирович заливался соловьем, перечисляя все варианты капусты, в которой он был бы рад увидеть эти сосиски. Чувство было такое, что еще минут десять поговорит – и вожделенная капуста возникнет, но было пора идти.

Шли мы в издательство. Удавалось порой выбить кой-какую работу для Петрова. Господи прости, стыдно про эту работу вспоминать. Лучшее, что можно было для него достать, – это незабвенная поэзия ГДР, не к ночи будь помянута. Что о ней сказать? *Поэзия нового типа*, как назвал бы ее С. Липкин. Она писалась по-немецки (на самом деле), но предназначалась исключительно для перевода на русский – и щедро переводилась; читал ли ее кто в ГДР – не знаю. «Библиотека литературы ГДР» гарантировала нам устойчивые две-три зарплаты в год. Кончалась одна – начиналась другая. Сколько дряни мы перевели (мы – это те, кто называл себя тогда германистами)! И по именам-то не хочу поминать тех авторов, а были они вовсе не бездарны. Петров всерьез жалел, что нету какого-нибудь социалистического куска Швеции: уж точно тамошняя литература была бы разрешена и финансировалась из МИДа.

Впрочем, переводить ему всё же разрешали. Он писал мне в начале 1970-х, что еще в молодости решил перевести не так много – роман датского писателя Й. П. Якобсена «Фру Мария Груббе», еще один роман суперклассика немецкой прозы Ф. Гёльдерлина «Гиперион», «Часослов» Рильке и книгу стихов С. Малларме. Дальше было примерно следующее: «“Гиперион” обошелся без меня (после войны отыскался перевод погибшего под Смоленском Е. Садовского, и никому не захотелось переделывать в целом отличную работу – Е. В.), “Фру Марию Груббе” я издал, “Часослов” заканчиваю, а с Малларме не знаю, как будет».

Вышло на самом-то деле не совсем так: было четыре мечты, реализовалось две с половиной. «Фру Мария Груббе» была издана, когда я еще по календарным соображениям находился далеко от литературы. «Часослов» еще при жизни Петрова печатался фрагментами, а посмертно вышел полностью, и не один раз; к тому, чтобы перевод был закончен, я приложил изрядные усилия, и это мне, Бог даст, зачтется когда-нибудь. А книгу Малларме Петров то ли сделал, то ли нет. Много из его переводов опубликовано (опять же, в основном посмертно), кое-что отыскалось совсем недавно, но полное собрание стихов Малларме, видимо, так и не состоялось. Можно было бы сделать неполное, но только нужды нет. Лучше издать антологию французской поэзии в переводах

Петрова. Лучше просто издать его переводы большим и хорошим избранным томом, что и планируется на ближайшее время.

Он всегда забывал, что есть еще одна мечта и еще одна. Ему хотелось сделать книгу стихов Карла Микаэля Бельмана – шведского поэта и музыканта, уступающего первенство в ряду величайших шведов разве что Карлу Линнею. Петров любил повторять, что Бельман – эстрада XVIII века и потому должен быть живым; свои переводы он не читал, а, как и положено, пел. Книга стихов Бельмана, пусть по техническим соображениям не совсем полная, вышла (Послания, песни и завещания Фредмана в переводах С. В. Петрова. СПб.: Изд-во Чернышева, 1995) – увы, тоже для Петрова посмертно. И был еще один маниакально любимый Петровым поэт, которого он переводил между делом и для собственного удовольствия, никогда, вероятно, не надеясь на издание, – Болеслав Лесьмян. Ныне и эти переводы дошли до читателя почти полностью.

Не берусь писать о нем до 1970-х – я его не знал. А в 1970-е он несколько месяцев писал мне письма о том, что сын пропал, сына не могут найти, а потом вдруг прислал страшное письмо: «Мой сын отыскан, но в Волхове. Пришлось ездить на опознание». Итогом этой поездки стало стихотворение «Реквием». Мне всегда казалось, что печатать его не надо – пусть переболит, перемолчит. Но когда в конце 1980-х стихи стали печатать направо и налево, конечно, его и напечатали первым.

...Поднимаясь в первые годы знакомства по винтовой лестнице в невозможную комнату-башенку, выделенную Петрову Союзом писателей в Ленинграде, я уже слышал – мать Сергея Владимировича, тогда еще живая, что-то готовит. Знал, что сяду за стол, на котором будут разложены цветастые рукописи, а на другом углу стола она будет лепить котлеты, вечно повторяя: «Ох, как же я не люблю готовить!» Котлеты вспомнились не случайно. Чем больше Варвара Арсеньевна не любила готовить свои котлеты, тем они лучше у нее получались. От нее, не иначе, унаследовал Петров удивительную способность: из неудачи и неприятности извлекать удачу и радость. Двадцать лет в Сибири – ну что хорошего могут они дать человеку? А Петрову дали – вылечился от юношеского туберкулеза, значит, дольше прожил. Всё время писал, развивал-

ся, словно бы и не нуждался в каком-то контакте с творческой средой – существовал сам по себе. Он жил как та самая ходасевичевская беззаконная комета, только не на эстраде казино, а на просторах того, что мы называем Россией. Он умел и любил жить. И как же мало ему нужно было радости в этой жизни! Даже свою развившуюся с годами глухоту, которую он иронически называл «женская болезнь», намекая на то, что у женщин она чаще встречается, он использовал тем же способом, что и незабвенная Мариэтта Шагинян: слышал ровно столько, сколько ему хотелось.

Он писал стихи чуть ли не на двенадцати языках. Цифра эта едва ли выдумана. Как-то раз я спросил: а как будет его отчество по-исландски? «Так, – сказал Петров, – минутку... Владимирович – это пойдет по третьему склонению. Получится Вальдимарур...» Память отказывает, у меня таких лингвистических способностей не было. Я всю жизнь тянусь и тянусь, но мне удается вызубрить за год то, что Петрову давалось за считанные недели. Он сетовал: «Скандинавских языков, жаль, мало», – поэтому и пришел к идее переводить с лансмолы просторечием, чтобы он отличался от литературного языка, букмола (риксмола). «У нас ведь тоже два языка, почему же мы должны использовать только один речевой слой?» Он знал почти все германские языки. Когда издательство что-то ему заказывало, оно даже не интересовалось, знает он язык или нет. Однажды он пришел домой и произнес бессмертное двустишие: «Переведу Кеведо я, / Испанского не ведая». Нет, ему дали вовсе не стихи с подстрочника, а сложнейшую прозу с оригинала. Через месяц он уже очень крепко «ведал испанский». Его переводы из Кеведо украшают любую книгу этого испанского классика. Он не гордился этим ни одной минуты. Гордился он одним языком – русским.

Словом, рассказывать можно долго, но да не покажется Петров читателю апокалиптическим чудовищем. Если он и переходил в разговоре на древнегреческий, он тут же переводил сказанное. Ему важно было сказать, но сказанное всегда разъяснял. В одной фразе могли уместиться сложнейшие философские построения Гердера и Жана-Поля Рихтера с родимым и не отделимым от нашей жизни матюгом. Как это получалось – непостижимо, и повторить это невозможно. Но для Петрова в этом была своя поэти-

ка. Из таких кирпичиков он строил и восьмистишия, и поэмы на сотни страниц. Пока что речи нет о его прозе, со стихами-то дай Бог разобраться. Но рано или поздно дойдет очередь и до нее. Мог бы многое вспомнить, от чего загорится бумага и расплавится экран: он умел говорить на таком языке, что урки бы перепугались, но он был филологом. Русская речь вместе с еще дюжиной наречий (может быть, и с двумя дюжинами) текла у него по жилам.

О некоторых поэтах говорят, что суди их не суди, а родной язык на 2–3 тысячи слов они расширили (имею в виду не только русскую литературу). Не хотелось бы называть тех, о ком сейчас думаю, но таким поэтом был, в частности, Б. Пастернак: он принес в русскую поэзию свою домашнюю лексику, и оказалось, что ничто из нее не используется решительно никем. Таким поэтом был О. Мандельштам. Как ни странно, отчасти таким поэтом был Игорь Северянин. М. Л. Гаспаров справедливо заметил, что как к нему ни относиться, а ни у кого в Европе такого явления нету. К тому же без Северянина не было бы Пастернака. Таким поэтом безусловно был Н. Клюев, чья слава тоже придется на XXI век (жаль, если на XXII). Эти поэты пришли в русскую литературу с собственным, огромным словарем неиспользованных, никем не тронутых слов.

Как-то я между прочими разговорами сказал, что название раннего сборника Рильке “Advent” (в традиционном переводе «Сочельник») лучше всего переводить «Филипповки», потому что время католического Адвента совпадает с временем Филипповского поста у православных, а Рильке был очень близок к России, когда писал эти стихи. Внезапно Сергей Владимирович откинулся от стола и, как сытый кот, облизнулся:

– Как приятно, что есть молодые люди, знающие такие слова, как «Филипповки».

Переспросить его о значении непонятого слова ничего не стоило. Он был счастлив дать разъяснение о том, кто такая «ятровь», упомянутая в «Босхе»; ему доставляло радость объяснить степени родства. Он был безусловно не согласен с наблюдениями Швейцера о том, что если спрашивать у человека, считающего, что он владеет пятью языками, названия кузнечных принадлежностей, степеней родства, домашней утвари, то всегда можно убе-

даться, что родной язык у человека один. Ужасно жаль, что нет возможности спросить Петрова о некоторых вещах, рассказать ему, к примеру, о том, что в гэльском языке отсутствуют слова «да» и «нет». Для него это наверняка было бы равносильно открытию новой планеты в солнечной системе, и не за Плутоном, а где-то между Марсом и Землей. Впрочем, Петров мог знать и о гэльском: с ведущим кельтологом своего поколения А. А. Смирновым они были, как тогда говорили, хороши.

В конце 1970-х зашел разговор об издании в «Литературных памятниках» сборника поэзии скальдов. М. Стеблин-Каменский объяснял, что воспроизводить формальные особенности этой поэзии ни к чему (надо сказать, что, давая такое же объяснение куда раньше ушедшему от нас переводчику А. Корсуну, Стеблин во многом загубил его работу). Петров, переведивший с оригинала, не соглашался:

– А что такого? Совсем не фейерверк. Две аллитерации – одна – две – одна.

– Знаете, – сказал Стеблин-Каменский, – если вы «Выкуп головы» переведете, я поверю.

«Выкуп головы», творение исландского гения X века Эгиля Скаллаграмссона, переводить даже по приговору суда не так-то просто. А Петров не только мог – ему было радостно. «Буй-дева снова / Длитель бой готова», – читал он и объяснял: «Буй-дева – это, как вы понимаете, валькирия». Не так уж было очевидно. Но строка в три слога – как такое может быть? Стеблин-Каменский махнул рукой, и книга вышла.

Хотя не надо и преувеличивать: если говорить о том, пошел ли он хоть раз на компромисс ради того, чтобы напечататься... ну, пошел самую малость. Попортил свой близкий к гениальности перевод «Развеселых нищелюбов» Бернса, а перевод взяли да и напечатали в огрызках, и долго-долго печатали его такими огрызками, покуда мне в 1999 году не удалось напечатать его целиком. Уже в 2000-е годы составители этой книги раскопали черновики и убрали правку, на которую он шел, лишь бы напечатать. Вещь была скроена по нему, как шьет костюм парижский портной, или даже не парижский а, бери выше... пропустим название города. Беловой вариант, освобожденный от цензуры, увидел свет лишь в 2007 году.

Что ж тогда говорить о стихах, под которые пошло в нашем развалившемся на две книги первом томе собрания сочинений 1200 страниц? Лирика поэта дождалась столетия со дня его рождения. Наша большая удача – к столетию уже будет если не собрание сочинений Петрова, то хотя бы собрание его поэтических произведений в 3–4 томах. Низкий поклон Александре Александровне – сберегла петровский архив в целостности и сохранности: ее и еще нескольких человек стараниями вот уже на протяжении двадцати лет Петрову медленно, но верно возвращается то место в литературе, которое ему никогда не принадлежало. Так и хочется вспомнить старый анекдот: «Однажды я нашел свое место в жизни, но это место было уже занято». Место Петрова было свободно, но выйди собрание тогда, в конце 1980-х, когда на наш рынок хлынул поток архивной литературы, сейчас бы мы просто переделывали работу: его бы не заметили. Теперь заметят.

Все-таки назвать Петрова безвестным нельзя. Скорее, мешала простота фамилии. Как путают Ивановых, так путают и Петровых. Но это был Петров из Казани – города, давшего миру Лобачевского и Николая Васильева. Других пока не буду называть. Лобачевский дал миру неевклидову геометрию, Васильев – неаристотелеву логику, Петров – не<впишите имя по выбору>ву поэзию. Лишь один из уроженцев его родного города был ему, кажется, и по душе, и по крови – величайший русский поэт Гаврила Романович Державин. Этот долг Петров тоже помнил: в 1976 он напишет свою бессмертную «Жизнь Званскую», ничем не напоминающую державинский оригинал. Когда он читал ее в Москве у меня дома, у слушателей буквально ехала крыша.

Шагаю по стерне шершавой,  
хлебаю живописны ши...  
А что там слышно за Варшавой?  
Европа ропщет? Ну, ропщи!

Он исчерпал внешнюю политику России на тысячу лет назад и вперед.

Если он и делал какие-то попытки сложить из своих стихотворений сборник, то дальше намерения дело почти не шло. При-

ходится печатать по хронологии, игнорируя так называемый принцип авторской композиции, которого и нет. Наша удача – он родился в Благовещенье и привык ставить даты под стихами.

Шутки ради он подписывался «Ярослав Азумлев». Подборку стихов с уже упоминавшимся «Реквиемом» напечатали под этим псевдонимом, не уловив его иронической сути: здесь и современное «я», и старославянское «аз», и много-много всякого аллитеративного корнесловия. Для чего угодно предназначался этот псевдоним, но не для печати. Свидетельством тому немногочисленные прижизненные публикации.

Выдающийся, великий, большой, значительный – все эти прилагательные не подходят к Петрову. Когда в 1993 году я предложил Е. Евтушенко вставить в его антологию «Строфы века», которую редактировал, несколько стихотворений Петрова (а была у меня в тот момент только фонограмма, которую пришлось расшифровывать), он поначалу был свято убежден, что я этого поэта сам выдумал, и не помогали никакие убеждения в том, что если бы я умел такие стихи писать, то не редактировал бы его антологию. Петров умел то, чего обычный человек не умеет. Его созидательная энергия, будь она направлена, скажем, не на поэзию, а на градостроительство, добавила бы России третью столицу. Но столиц в России много, а Петров один.

...А томов в собрании сочинений будет на первый раз – три. Точнее четыре, ибо первый, напомним, пришлось делить надвое. И это только начало той дороги, по которой поэзия Сергея Петрова, словно эшелон во множество вагонов, начинает свой путь к читателю.

*Е. Витковский*

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

- «А где-то в детстве на Страстной неделе...» ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА II, 524  
«А глушь как прежде хороша...» I, 524  
«А кто они? Онуфрии да Кифы...» II, 307  
«А так – какой мне интерес...» I, 594  
АБСОЛЮТНАЯ БАЛЛАДА I, 379  
АВВАКУМ В ПУСТОЗЕРСКЕ I, 495  
АВГУСТ II, 150  
«Авось я сам себе и самый ражий враг...» I, 594  
АВРОРА. Фуга II, 541  
АВСТРАЛИЯ I, 209  
АГНОСТИЦИЗМ I, 20  
АДМИРАЛТЕЙСТВО II, 422  
АЗ ВОЛЬНЫЙ РАБ БОЖИЙ, СЕРГИЙ I, 468  
«Аз усумнитель есмь. Попробуй-ка сомни...» II, 224  
АЗАЛИЯ II, 411  
АЗБУКА I, 71  
АКАДЕМИЯ НАУК I, 181  
АКАФИСТ II, 316  
АКРОБАТУ I, 263  
АКТРИСА I, 125  
АЛКОГОЛЬ I, 469  
АНАТОМ I, 465  
АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ I, 423  
АПРЕЛЬСКИЙ ДОЖДЬ I, 383  
АРКА ЧЕВАКИНСКОГО II, 547  
АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА НЕВСКОМ II, 544  
АРХИТЕКТУРА ПАМЯТИ I, 384  
АСТРОЛОГИЯ I, 409  
«Ах вы мысли-гусли!..» II, 61  
«Ах ты тень, моя тень!..» II, 156  
«Ах Ты, Боже мой, друже Боже!..» I, 583  
«Ах ты, горе луковое!..» II, 62  
«Ах ты, тара пустая!..» II, 279  
«Ах, белые ночи, больные прозрачные тени!..» II, 110  
«Ах, время, чертов пристав!..» II, 117  
«Ах, елки-палки! Эти парки...» I, 554

«Ах, как некуда торопиться!...» I, 586  
«Ах, как это надокучит...» II, 7  
«Ах, современность, современность!...» II, 237  
«Ах, у тебя ль любви учиться?...» I, 427  
БАБЬЕ ЛЕТО I, 129  
БАЛ II, 109  
БАЛЛАДА О БЕДЕ И ГОРЕ I, 148  
БАЛЛАДА О ВЕТРЕННЫХ ВОРОТАХ I, 23  
БАЛЛАДА О ПРОГУЛКЕ ДВУХ ПРИЯТЕЛЕЙ I, 102  
«Банкомет восходит деревом...» I, 113  
«Бегут воспоминания босые...» I, 477  
БЕЗ СЕБЯ. Фуга II, 245  
«Беззвучно вскрикнула звезда...» I, 353  
БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТКА I, 462  
БЕСЕДА С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ I, 567  
БЕССМЕРТИЕ II, 570  
БИЛЬЯРД I, 312  
БИРЖА (Тома де Томон) II, 421  
«Битый день сидел я над природою...» I, 531  
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПСАЛОМ I, 361  
«Благоволение? Желание добра?...» ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  
ФУГА II, 277  
«Бледнеет снег, как чистое лицо...» I, 335  
«Блестя, идут на перегар погоны...» II, 200  
БОБЫЛЬ I, 326  
БОГ. Фуга II, 431  
«Богач благодушно на роскоши лег...» I, 280  
БОРЬБА I, 565  
БОСХ II, 92  
«Боюсь смотреть на таянье свечи...» II, 474  
БРАНЧЛИВЫЙ ДОЖДЬ I, 89  
«Брожу, как жизнь, и стало быть – вразброд...» II, 35  
«Будто искрящимся зернам...» II, 88  
«Буду вирши писать...» II, 400  
БУХГАЛТЕРИЯ ДОЖДЯ I, 104  
БУШЕ II, 478  
«Бывает, что, от радости робея...» II, 65  
БЫКИ У ИЛЬМЕНЯ I, 441  
«Был дождь – о бешенство Натуры!...» I, 165  
«Был ты бык бодливый...» I, 563

«Быть может, некогда, в Начале...» I, 49  
«Быть хочется добрей...» II, 173  
БЭКОН I, 199  
«В бабушку-душу!...» II, 13  
«В бар, походкою охотный...» II, 450  
«В безмыслии вещей я прозябаю...» I, 356  
«В волосах пожар и кавардак...» II, 224  
«В глазах слеза – не потому что плачут...» СТАРИК I, 559  
«В голове муть...» II, 254  
В ДАЛЬ I, 435  
«В дебрях глухой ночной поры...» I, 162  
«В домик у осени на задворках...» I, 461  
В ДУХЕ МОРГЕНШТЕРНА. 1. Плавательные раздумья II, 32  
В ДУХЕ МОРГЕНШТЕРНА. 2. Гастрономическая погода II, 32  
«В дыму морозном теплый дом...» I, 142  
«В желтеющей листве прозрачность кожи...» ЭЛЕГИЯ I, 297  
«В житейской лавке я стою...» I, 353  
«В комнату пришла обида...» I, 127  
«В корыте каменном весь день валялась Мойка...» I, 106  
«В мире подземном жизнь бывает не наша, не ваша...» II, 494  
«В непроглядной ночи, по колено в пространстве глубоком...» I, 131  
«В огромной шубе сплю я, как в Сибири...» I, 295  
«В огромные лица прохожих себя я с трудом погружаю...» I, 98  
В ОСЕННЕМ ОСИННИКЕ I, 229  
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ I, 381  
«В полях уже давно орудуют не жнеи...» II, 381  
«В просторе кратком огорода...» II, 265  
«В пустом глазу, похожем на стакан...» I, 224  
«В пустоте жилья...» II, 394  
«В раздумьях я – сутяга и сквалыжник...» I, 385  
«В разливанном море пива...» I, 76  
«В ряды пятиэтажные дома...» II, 141  
В СКАЛЬДИЧЕСКОЙ МАНЕРЕ I, 485  
«В снежных сумерках полудня...» II, 279  
В СРУБЕ II, 495  
В ТЕ ДНИ I, 456  
«В тебе, замызганный домишко...» I, 537  
«В тебе, растрепанный домишко...» I, 132  
«В тот час, когда по клетям душегубы...» I, 155  
В ТРАВАХ I, 332

В ТРОЙЦЫН ДЕНЬ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ II, 372  
«В царстве Леты, Стикса и Коцита...» I, 568  
ВАГНЕРИАНЦЫ I, 364  
ВАЛ I, 443  
ВАЛДАЙСКОЕ ОЗЕРО. 1. Первый плес II, 152  
ВАЛДАЙСКОЕ ОЗЕРО. 2. Второй плес II, 152  
ВАЛДАЙСКОЕ ОЗЕРО. 3. Третий плес II, 153  
«Вблит всей шубой зима неуклюже-медвежья...» I, 358  
ВАЛЬС I, 140  
«Вас поносили и восхваляли...» II, 174  
ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ II, 543  
«Ввело мой ум, как в смертный Вавилон...» II, 54  
«Ведро с полным, круглым звоном...» I, 51  
ВЕДЬМА II, 352  
ВЕЛЕМУДРИЕ. Фугетта II, 463  
ВЕСЕЛЫЙ ПОСЕЛОК II, 455  
«Весенний день с замашкой колориста...» I, 536  
ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ II, 44  
«Весна гуляет до отвалу...» II, 52  
«Весь вечер изувеча...» II, 5  
«Весь год часы висели, стоя...» II, 14  
«Весь сумрак вечера навеки пережит...» I, 138  
«Ветер в ветках, в листьях и в хворосте...» II, 51  
ВЕЧЕР 23 ФЕВРАЛЯ 1933 г. I, 455  
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ I, 493  
ВЗГЛЯДЫ I, 488  
«Висит двадцатизэтажный дом...» II, 70  
«Висят на людях резвые грехи...» II, 459  
«Вкруг пагоды висит осенняя погода...» II, 209  
ВЛ. СОЛОВЬЕВ КРАМСКОГО II, 522  
ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР II, 302  
«Влюбляются, разлюбляют...» I, 532  
«Вновь узнаю я время года...» II, 515  
«Во грамматические копи...» I, 527  
«Во тьме деревянной воздуха...» I, 48  
«Вода по улице летала...» II, 291  
ВОДА, ПЕСОК И ЛЮДИ I, 475  
«Воззясь с боков на вещь в себе...» I, 523  
«Вокруг собираются рыла да рожи...» I, 279  
ВОР II, 230

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР В СТАРОЙ РУССЕ II, 380  
«Вослед Готьеру и Верлену...» II, 240  
«Воспоминания копились...» I, 149  
«Вот же бабий повойник!...» II, 201  
ВОТ ТАК! I, 541  
«Вошла, как дверь, и сразу стало смертно...» II, 19  
ВПОЛСЕБЯ. Фуга II, 255  
ВРЕМЯ («Неужели время просто врет...») II, 572  
ВРЕМЯ. Фуга II, 187  
«Всё больше говорят, что я поэт...» II, 162  
«Всё было тихо в должной мере...» I, 244  
«Всё в розницу – и люди, и предметы...» I, 539  
«Всё еще верится в могущество алхимий...» I, 487  
ВСЁ РАВНО II, 11  
«Всё те же темы музыки и слова...» I, 275  
«Всё утро в смутных разговорах...» I, 67  
«Всеvedенья боюсь, как вечной скуки...» I, 582  
«Вскипает буйная долина...» I, 479  
ВСЛЕД ЗА ПУШКИНЫМ II, 289  
«Встал рассвет и вышел на озера...» I, 40  
ВСТРЕЧА II, 105  
ВСТУПЛЕНИЕ К ЗИМЕ I, 438  
«Всю себя как в гроб ховая...» II, 262  
«Всяк сам себе пречестное зеркало...» ФУГЕТТА II, 90  
ВТОРАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА II, 165  
«Вы видали, как пэсты на Ильмене...» I, 446  
«Вы не женщина...» I, 593  
«Высокой осени прозрачные вершины...» I, 404  
ВЫХОД В СОЗНАНИЕ I, 10  
«Вышел, как в сказке, волшебный туман из клубочка...» I, 236  
ГАДАНЬЕ С ПРИПЛЯСОМ II, 6  
ГАЛИЛЕЙ I, 234  
ГАМЛЕТ I, 146  
Гастрономическая погода. В ДУХЕ МОРГЕНШТЕРНА. 2. II, 32  
ГАТЧИНСКИЙ ПАРК II, 464  
ГАТЧИНСКИЙ ЭТЮДНИК II, 533  
«Где-то в светлых трущобах мира...» I, 449  
ГЁЛЬДЕРЛИН I, 42  
ГЕОМЕТРИЯ ЗИМЫ I, 176  
ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ II, 283

ГЕРА ГОВОРИТ II, 146  
ГЁТЕ I, 38  
Г-ЖЕ ДУШЕ II, 170  
ГЛАВНЫЙ ШТАБ II, 427  
«Глазам легко: белым-бело!..» НОВГОРОД ЗИМОЙ. I. I, 421  
«Глубокий день, неизмеримый днище!..» I, 303  
«Гляди-ка, человеке...» I, 355  
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА II, 346  
«Говорил Пастернак, что душа – душна...» II, 328  
«Говорят – как пишется...» I, 150  
«Говорят, что есть священные вещи...» I, 525  
«Говорят: отдохнешь в могиле...» II, 86  
«Годами шли великими стадами...» I, 540  
«Голгофою, страдальческим бугром...» СТАРИКИ I, 302  
«Голова – вроде позднего вечера...» II, 25  
«Голова моя нездоровая...» I, 549  
«Голос твой карабкался по трубке...» II, 258  
ГОРЕЛКИ I, 289  
«Город занесло туманом...» I, 43  
«Город рисуется в самом апрелистом вкусе...» II, 73  
ГОРОДОК II, 503  
«Городские кварталы...» II, 555  
«Господь Софию, будто белый камень...» I, 443  
«Готова к светлому гавоту...» I, 511  
ГРИБОЕДОВ I, 308  
ГРОЗА («Гроза накинута в захлеб...») II, 113  
ГРОЗА («Как хорошо, что это ни от кого не зависело!..») I, 407  
ГРОЗА («Я приближаюсь. Ты далече...») I, 145  
«Гроза накинута в захлеб...» ГРОЗА II, 113  
ГРОЗА СЕМЕЙНАЯ I, 321  
ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ. Фуга о Грибоедове II, 359  
ГРУСТНАЯ ГОЛОВА. Фуга II, 168  
ГРУСТНАЯ ЛЮБОВЬ. Романс II, 419  
ГУСТАВ МЕЙРИНК I, 8  
Д. ОБЛОМИЕВСКОМУ I, 205  
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАРОСТЬ! I, 445  
«Да, пишется не так-то уж и бойко...» II, 40  
«Давай скорее глаз метнем...» I, 483  
«Давно лежит зима в измявшихся подушках...» I, 476  
«Дала же нынче осень крюку!..» II, 406

«Далеко и рядом – как за стенкой...» I, 320  
«Два одиночества столкнулись...» II, 26  
«Двигаюсь, ей-богу, понемногу...» I, 434  
ДЕВКИ ВЕСЕННИЕ (подражание Кустодиеву) I, 489  
«Девушка сердится...» РУССКИЙ РОМАНС II, 357  
«Девять лет тому назад...» II, 354  
«Дед умирал, как пес, и лаял на бывшее...» II, 382  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ II, 307  
«День приправлен и грозой и драмой...» II, 17  
«День убегает ото дня...» I, 281  
«Деревья как с ума сошли...» I, 18  
«Державной мышцею ума...» I, 419  
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ФУГА II, 234  
ДИКАРЬ II, 272  
«Дожди уже с неделю перестали...» II, 54  
ДОМ ДЕРЖАВИНА II, 422  
ДОМ И ДОЖДЬ II, 292  
ДОРОГА. Фуга II, 396  
«Дорогая моя аллея...» I, 548  
«Дорогая, тебе я вышью...» II, 85  
«Дорожка вьется, бьется, путается...» II, 139  
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС II, 174  
ДОСТОЕВСКИЙ ПЕРОВА I, 543  
ДОЧКА-РЕЧКА I, 501  
ДРИАДА I, 520  
ДРУЖБА. Фуга II, 120  
ДУДОЧКА I, 83  
«Дума, ты с котомкой странница...» II, 125  
ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ I, 226  
«Душа жарка была, как печь...» I, 124  
«Душа лежит, почти девичья...» II, 33  
ДУШЕ I, 365  
ЕВРЕИНОВ I, 450  
ЕГИПЕТСКИЙ МОСТ II, 394  
«Едва проснусь, как мне заря ворожит...» I, 280  
«Едешь, не едешь – всё мнится да кажется...» I, 174  
ЕЗДА ПО БЕССОННИЦЕ I, 471  
ЕКАТЕРИНА II II, 424  
ЕЛКА («Над судьбой кривоколенной...») I, 459  
ЕЛКА («Я как праздник стою, и висят погремущи...») I, 207



«Если бы был я хлыст...» I, 577  
«Если девочка-жизнь, мужая...» II, 135  
«Если сам собой ты понят...» II, 163  
«Если Ты, Господь, в грозе и буре...» I, 59  
ЕЩЕ О СНЕГЕ I, 122  
ЕЩЕ ОДИН ЗНАКОМЫЙ I, 518  
«Жаль, что не умею ввысь молиться...» I, 314  
ЖАТВА I, 228  
ЖГУЧАЯ БЕСЕДА I, 391  
«Жеваное утро...» II, 330  
«Живем на острове Каменном...» I, 580  
«Живу в чужих умах, как в собственных домах...» II, 466  
«Живу на улице Радостной...» II, 178  
«Живу не у Христа за пазухой...» I, 519  
«Живут, себя теряя понемногу...» II, 125  
ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ II, 412  
«Жизнь моя облыжная...» I, 510  
«Жизнь уложит рядом две судьбы...» I, 531  
«Жил-был Иван Разумник...» I, 502  
«Жил-был поэт...» II, 421  
ЖУК I, 277  
«За годом стало – как в лесу – темнее...» II, 8  
ЗА ГОРОДОМ II, 198  
«За ночью в очереди стоя...» II, 12  
«За окошком тиховойней...» II, 143  
«За примету прячется примета...» II, 95  
«За славу твою я воюю...» I, 85  
«За то, что котенок катает игривый клубок...» I, 14  
«Заболей, дружок, заболей!..» II, 230  
«Забрезжит в сердце, а будильник...» I, 535  
«Забубенная тишина...» I, 341  
ЗАБЫВЧИВОСТЬ. Фуга II, 145  
«Завари чайку черноокого...» II, 290  
ЗАВЕЩАНИЕ. Фуга II, 564  
«Заканчивая четверть века...» II, 34  
«Замотали голову, как мячик, в полотенце...» ПОХОРОНЫ II, 527  
«Запомню и осень, как желтый роман...» I, 453  
«Запорхала Правдочка...» II, 59  
«Запустим пальцы в дремучий ум...» I, 578  
ЗАРЯ II, 306

«Заря плывет, взметая весла...» I, 6  
«Зачем мы не роли играли...» I, 431  
«Зачем, как с похмелья, смутьянится...» II, 294  
«Зашел я мимоходом с милой...» II, 14  
ЗВЕЗДА I, 533  
ЗВЕЗДОЧЕТ I, 292  
ЗВЕРИНЕЦ II, 531  
«Здорово, парень Толечка...» II, 500  
ЗДРАВИЦА I, 202  
«Здравствуй, агнчье стадо, овечья паства!..» ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА II, 249  
ЗЕМЛЯ НОВГОРОДСКАЯ I, 467  
«Земное яблоко я сделаю глазным...» I, 506  
ЗЕРКАЛО I, 478  
«Зима закрыта на замок...» I, 140  
«Зима заходит злобной злокой...» I, 378  
«Зима стояла еле-еле...» II, 415  
ЗИЯНИЕ УМА I, 397  
ЗНАК. Гильберт-фуга II, 118  
ЗРЯ I, 562  
«Зря говоришь, что я не прожит...» II, 275  
«И как же люди будут хороши...» I, 440  
«...И скажут, прифыркнув: “Ну что в ней?”...» I, 432  
«И так бывает не всегда ль...» II, 545  
«...И я без разбора добрею...» I, 302  
«И я сегодня вроде человека...» I, 588  
И. С. БАХ I, 50  
ИВАН НА ОПОКАХ I, 425  
ИГРА И ЕДА II, 465  
ИДА РУБИНШТЕЙН СЕРОВА I, 529  
ИДИЛЛИЯ I, 224  
ИЗ ДЕВЯТОГО ЭТАЖА II, 35  
«Из дома, как из черепной коробки...» I, 370  
ИЗ ОКНА II, 457  
ИЗ ОКНА ВАГОНА II, 73  
ИЗ СПАЛЬНИ II, 50  
«Или просто опять нездоровится?...» I, 229  
ИМЕНА I, 439  
«Именинником сажу на даче...» ИМЕНИНЫ II, 486  
ИМЕНИНЫ («Именинником сажу на даче...») II, 486

ИМЕНИНЫ («Я праздную, пусть даже немо имя...») I, 347  
«Имя зодчего да будет втайне похоронено!..» II, 358  
ИМЯ. Фуга II, 147  
ИНДЮШКИ I, 474  
ИОАНН БОГОСЛОВ НА ВИТКЕ I, 449  
ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР. Четверть баллады II, 412  
ИСПОВЕДЬ СТИХОТВОРЦА I, 499  
«Испуганно глаза расширь!..» I, 330  
ИСТИНА. Фуга II, 217  
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ I, 301  
«Исчерпан вечер. Тихо под откос...» I, 454  
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕВИЦА ГОВОРИТ: I, 319  
ИУДЕ I, 133  
«Ишь ты, братец, идол мой стальной...» II, 179  
«Ишь, в тумане-то развелось их!..» I, 572  
ИЮЛЬ I, 109  
«К милому другу и круг не околица...» II, 151  
К МОЕМУ ПОРТРЕТУ II, 478  
«К нам слетит бессмертная порука...» I, 15  
КАБИНЕТ I, 257  
«Каждой вещи приходит срок...» II, 313  
КАЗАНСКИЙ СОБОР II, 427  
«Как бурый лист, ладонь его суха...» СТАРИК I, 395  
«Как бы забор, в саду стоит литература...» II, 123  
«Как ведро, стучит погода...» I, 37  
«Как вкусно быть противоречьем...» I, 578  
«Как ворох чувств растрепанный, огромный...» I, 161  
«Как вражий стяг на крепостях...» II, 18  
«Как вы полны, земные пять минут...» II, 320  
«Как ластится (начну я)...» II, 453  
«Как лес в грозе, как бедный зверь на дыбе...» I, 595  
«Как на картах – длинный путь-дорога...» I, 200  
«Как образ мне – прама-терь Память...» ПАМЯТЬ. 3. II, 104  
КАК ПИШУТСЯ СТИХИ I, 573  
«Как прежде ходили к вечерне...» II, 385  
«Как прежде, горек...» I, 158  
«Как прежде, стала мне никто ты...» II, 263  
«Как просто всё, как истинно – до скуки!..» II, 45  
«Как сад пустой, как лес глухой...» II, 30  
«Как сестры милосердные, три парки...» II, 91

«Как солнце, сердце правит бег...» I, 374  
«Как сорочку, мой норов выстирай...» I, 590  
«Как тень ты теперь похудела...» I, 453  
«Как только мне помыслится о тленьи...» I, 383  
«Как хорошо, что это ни от кого не зависело!..» ГРОЗА I, 407  
«Как этот день высок и круг!..» I, 134  
«Как яичница, лужок поджарен...» I, 470  
«Какой высокий день! Трава мертвее...» I, 227  
КАКОЙ-ТО АКТРИСЕ КАКОЙ-ТО ПОКЛОННИК I, 450  
«Какой-то Фауст бродит по Фонтанке...» II, 37  
«Калабрийских пастухов овчина...» I, 14  
КАМЕНЬ I, 117  
КАРАСЬ I, 100  
«Кармин, белила и сурьма...» I, 250  
КАРНАВАЛ II, 12  
КАРТАШЕВСКАЯ II, 556  
КАТАКЛИЗМ I, 164  
«Качая на пальце большую слезу...» I, 108  
«Кинешь карты так ли, сяк ли...» I, 306  
КИНОВИЯ I, 323  
КИТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК I, 507  
КЛАДБИЩЕ II, 192  
«Когда бы годы смог сволочь я...» II, 274  
«Когда была ты бледным голым телом...» II, 305  
«Когда валы коней угрюмых...» I, 25  
«Когда взлетает жизнь под самый потолок...» II, 19  
«Когда живется мне, и я тогда живу...» II, 150  
«Когда на улице дымит зима...» I, 377  
«Когда тебя в объятия пакую...» I, 572  
«Колокольный грохот, сотрясенье...» ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА II, 482  
КОЛЫБЕЛЬНАЯ I, 46  
КОММЕРЧЕСКИЕ СТИХИ I, 522  
«Кому печаль мою повем?...» НОВГОРОД ЗИМОЙ. V. I, 422  
КОМУ-ТО I, 237  
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА II, 207  
КОРОТКАЯ ГРОЗА II, 53  
КОСТЕЛ СВ. АННЫ В ВИЛЬНЕ II, 545  
«Который год коплю себя вразброд!..» II, 72  
КРАТИЛ I, 291  
КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА I, 425

КРУГ. Фуга II, 137  
КРЫЛОВ В ЛЕТНЕМ САДУ II, 470  
КТО Я? II, 68  
«Куда задевалась ты, провальинная?...» II, 55  
«Куда мне сбегать десять лет?...» II, 140  
«Куда с тобою денусь, Боже мой...» II, 266  
КУДА? Фуга и вальс II, 283  
КУКИШ-ФУГА II, 332  
«Кукушка куковала...» I, 286  
КУРИЛЬЩИК I, 388  
КУРОРТНОЕ I, 177  
КУСОК ЖИВОПИСИ I, 101  
КУСТОДИЕВ II, 479  
КЯРИКУ I, 587  
ЛАВКА I, 82  
«Ласков день. До дел он добрых лаком...» I, 396  
ЛЕБЯЖЬЯ КАНАВКА II, 451  
ЛЕВЕНГУК I, 195  
«Легко гостится у весны в хоромаш...» I, 321  
ЛЕДОХОД I, 70  
«Ледяной картечью сыпал град...» II, 546  
«Лежал закат, мертвецки палев...» I, 430  
Лежу в гробу...» I, 511  
ЛЕНОСТЬ. Фугетта II, 163  
ЛЕРМОНТОВ I, 151  
ЛЕС II, 64  
«Лес увешан влагой свежей...» II, 115  
ЛЕС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА I, 66  
ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК I, 105  
ЛЕТНИЙ САД II, 192  
ЛЖИВЫЕ СТРОКИ II, 492  
ЛИБО – ЛИБО. Фуга о Киркегоре II, 364  
«Липы все давно на даче...» I, 28  
ЛИТЕЙНЫЙ МОСТ II, 425  
«Лицо вертелось колесом...» I, 147  
ЛОЖЬ. Фуга II, 243  
ЛУГ I, 259  
«Лучше буду чушь пороть и я!...» II, 75  
«Любили вы? Да так, чтоб вас мотало...» I, 410  
«Люблю тебя, история...» II, 113

«Любовь настигла Понтия Пилата...» I, 9  
«Люди – толстосумы...» II, 46  
«Люди видели тебя, и наказано...» II, 391  
«Май ударил на славу, и зелень забила...» I, 99  
МАСЛЕНИЦА I, 339  
МАТЕМАТИК ГОВОРИТ: I, 588  
МЕДИЦИНСКИЙ РОМАНС I, 592  
«Меж двух осин повешено пространство...» I, 278  
МЕЖДУ II, 27  
МЕЛЬНИЦА II, 140  
«Место у нас антропоидам есть...» II, 198  
«Метель в окно ко мне стучится, как сосна...» РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  
ФУГА II, 493  
МЕЧЕТЬ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ I, 549  
МИМО I, 300  
«Мир, бесспорно, будет очень плох...» II, 37  
МИРОДЕРЖЕЦ I, 444  
МИРОТВОРЕНИЕ I, 545  
«Мне волшебница младая...» II, 246  
«Мне жизнь была как тысяча кривляк...» I, 533  
«Мне старуха-наука на картах гадала...» II, 203  
«Мне усталою рукою...» I, 19  
«Многоэтажные возникли из земли...» II, 530  
«Мое не терпит естество...» I, 515  
«Мой позвоночник, как и мой ночник...» I, 292  
МОЙ СЛИШКОМ ЗНАКОМЫЙ I, 505  
МОЙКА II, 453  
МОЛЕНИЕ ОБ ИСТИНЕ I, 556  
МОЛИТВА I, 347  
МОНАСТЫРЬ МИХАИЛА КЛОПСКОГО II, 203  
МОНОЛОГ ЮНИЯ I, 372  
МОНТЕНЬ I, 266  
МОРЕ. Гимн II, 264  
«Мороз длиною с год. Совсем ослепла память...» I, 368  
«Мохнатых звериных матерей...» I, 360  
«Мою судьбу придумывают люди...» II, 524  
МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ I, 535  
«Муза, Муза! Я ведь старей...» II, 254  
МУЗЕ I, 570  
МУЗЫКА. Фуга («Ты – музыка моя. Долбят вороны стерво...») II, 343

МУЗЫКА. Фуга («Я – музыка, посаженная в клетки...») II, 98  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ I, 231  
МЫ II, 57  
«Мы друг от друга не убежим...» II, 136  
«Мы знаем все, что мы умрем...» II, 319  
«Мы не встречались больше года...» I, 487  
«Мы обуяны временами...» I, 262  
«Мы с тобой – как две поры осенних...» II, 248  
«Мы с тобой друг другу груз...» II, 395  
«Мы с тобой сошлись, как клин с обэхом...» II, 149  
МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ I, 313  
МЯТЕЖ II, 334  
«На балконе, будто на краю...» II, 72  
НА БЕРЕГУ ВЕСНЫ I, 86  
НА ВОЛКОВОМ КЛАДБИЩЕ II, 79  
НА ГРАЖДАНСКОЙ ПАНИХИДЕ I, 497  
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ II, 472  
НА ИЛЬМЕНЕ («Нет, разумеется, Ильмень совсем не Гомерово море...») I, 442  
НА ИЛЬМЕНЕ («По линиялому небу от чаек следы...») II, 406  
НА ЛОДКЕ I, 346  
«На лысых гривках сухо, и тайга...» I, 547  
«На Мойке чайки над водой чугунной...» II, 48  
«На Московском ходит Вася...» II, 257  
НА МОТИВЫ ЛАНДШАФТА I, 78  
«На небе день по тюлю вышит...» II, 382  
«На небе чистом ни звезды...» I, 486  
НА НИТОЧКЕ I, 558  
НА ПАСЕКЕ I, 306  
НА ПЛЯЖЕ I, 419  
«На полосы земного кумача...» II, 507  
«На последней тропинке августа...» I, 436  
«На прежних улицах качаюсь...» II, 17  
«На притине стынешь ты за тыном...» II, 262  
НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ II, 502  
«На улице такое ведро...» II, 511  
«На шее затянув кушак...» I, 296  
«Набежала разлука...» II, 235  
НАБРОСОК II, 288  
«Нагнулась церковь над селом...» I, 222

НАД ВИЛЬНОЙ I, 95  
«Над Невою всплыв, парусом нам была...» II, 19  
НАД ОЗЕРОМ II, 318  
«Над судьбой кривоколенной...» ЕЛКА I, 459  
НАДГРОБИЕ I, 254  
НАДГРОБНОЕ САМОСЛОВИЕ. Фуга II, 378  
«Надо мной идут часы...» I, 193  
«Надоело с собой дружить...» II, 21  
«Накапливаясь по каплям, как детство...» I, 115  
НАПУТНОЕ СЛОВО НАУКЕ I, 473  
«Науке-даме, мировой гадалке...» I, 349  
НАУЧНАЯ ПРОГУЛКА I, 271  
«Нахлобучивши сумрак по уши...» II, 27  
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ I, 249  
«Не болит и не хворается...» II, 338  
«Не в сердце ли потыкивая...» I, 472  
«Не верь, что я тебя любил!..» I, 331  
«Не грешить очень просто...» II, 210  
«Не желаю с обществом дружить...» II, 546  
«Не знаю, кто из нас тут при чем...» I, 329  
«Не знаю, право, как и быть...» I, 352  
«Не мудрствую лукаво...» I, 376  
НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ II, 318  
«Не отбрасывая тени...» I, 174  
«Не прижился и еще не прожит...» II, 69  
НЕ ПРЯЧЬСЯ II, 20  
«Не раз я на руки плевал...» I, 332  
«Не рыцарь я бесчувственный, не латы...» II, 383  
«Не теряй себя! Матерей...» II, 510  
«Не ходи под меня с дамы...» II, 339  
«Небо выперло свой препузатый свод...» II, 101  
«Небо! Сбрызни душу, сбрызни!..» I, 555  
«Невелика беда, что я чуть-чуть горбат...» I, 305  
НЕВСКИЙ ВЕЧЕРОМ I, 466  
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ II, 537  
НЕДЕЛЯ В МОСКВЕ II, 496  
НЕДОСУГ II, 473  
НЕДУГ. Фуга II, 207  
НЕКОМУ ПОЭТУ II, 270  
НЕЛАДНАЯ БАЛЛАДА I, 536

НЕЛЬЗЯ. Фуга II, 374  
«Неправду говорят, что зеркало правдиво...» II, 271  
«Несется снег, ложится снег...» I, 25  
«Несть пророка в своем отечестве...» II, 60  
«Нет, мнится мне, что жизнь отнюдь не бытие...» I, 258  
«Нет, не к залам и не к салонам...» II, 76  
«Нет, не могут быть часы новей...» I, 278  
«Нет, непостижна красота уму...» II, 506  
«Нет, разумеется, Ильмень совсем не Гомерово море...» НА ИЛЬМЕНЕ I, 442  
«Нет, существо, как разберешься, – сволочь...» I, 310  
«Неужели время просто врет...» ВРЕМЯ II, 572  
«Неужели я жизнепропойца?...» I, 367  
НЕЧТО ЖАММОВАТОЕ II, 293  
«Ни имени мне и ни тела...» I, 373  
«Никого не назову...» I, 123  
НИКОЛА МОРСКОЙ II, 423  
НИКОЛА НА ЛИПНЕ I, 462  
НИКОЛЬСКИЙ СОБОР II, 389  
НИКОМУ I, 561  
«Нить жемчужная времен...» I, 528  
«Ничего уже не жаль...» II, 330  
НИЧТО II, 133  
НИЩЕТА. Фуга II, 215  
«Но Ты! Тебе я говорю...» I, 241  
НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА II, 548  
НОВГОРОД ЗИМОЙ. I. «Глазам легко: белым-бело!...» I, 421  
НОВГОРОД ЗИМОЙ. II. «Присели кроткие церквушки...» I, 421  
НОВГОРОД ЗИМОЙ. III. «По улочке запорошенной...» I, 422  
НОВГОРОД ЗИМОЙ. IV. «Пустынна русская верста...» I, 422  
НОВГОРОД ЗИМОЙ. V. «Кому печаль мою повем?...» I, 422  
НОВГОРОДУ ВЕЛИКОМУ I, 426  
НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ («Я времени не замечаю...») I, 428  
НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ («Я грусти не терплю, к печали не привык...») I, 505  
НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ («Я знаю издавна: Оно...») I, 513  
НОВОГОДНЯЯ ФУГА («Я нынче в Новый год спускаюсь, как в метро...») II, 404  
НОВОГОДНЯЯ ФУГА («Я под боком живу у новогодья...») II, 281  
НОВОГОДНЯЯ ЭЛЕГИЙКА I, 483

НОГА I, 134  
НОС I, 509  
НОЧНОЕ СЕРДЦЕБИЕНЬЕ I, 79  
НОЧНОЙ МОНОЛОГ НА ЛУГУ. Фугетта II, 80  
«Ночь опять чернит ступени...» I, 514  
«Ночь с обманным запахом лимона...» II, 247  
«Ночью душно и не спится...» I, 13  
«Ну кто же за тобой погонится?...» II, 164  
«Ну, как вам теперь на концертах торчится?...» I, 593  
НУЖНИК II, 454  
«Ну-ну, добро вам, пропасти сугубые!...» I, 507  
«Нынче день блаженно-женский...» II, 522  
«О век! Ты в час своих доброт...» I, 262  
«О Вещь! ты – тихое и бренное бревно...» I, 206  
«О гроза, я тебя до того доведу...» I, 167  
О ЛИРИКАХ I, 538  
О МОЙКЕ II, 514  
«О музыка! Коровье МУ!...» I, 522  
О САМОСТИ II, 100  
«О тоска минутная...» I, 182  
«О чертоги Семирамиды!...» I, 185  
«О, вальса дорожка скользкая...» I, 354  
«О, как отчаянно трещит...» II, 488  
«О, как этот взор сверкал...» I, 81  
ОБ АРХИТЕКТУРЕ II, 516  
ОБЕЛИСК I, 154  
«Облак нб небе висит...» I, 60  
ОБМАН. Фуга II, 297  
«Обожает мой дружок...» II, 511  
ОГОРОДНАЯ ФУГА II, 467  
ОДА МОСКВЕ I, 219  
ОДА НА 1975 ГОД, ИЛИ НОВОГОДНЯЯ ФУГА II, 340  
ОДА НА ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА 19 ИЮНЯ 1936 ГОДА I, 186  
ОДА НА НОВЫЙ 1948 ГОД I, 390  
«Одинок я, как зуб во рту у Яги...» I, 326  
«Одиночество кивнуло мне в окно...» I, 542  
ОЖИДАНИЕ. Фуга II, 295  
«Он – Жак, Прометей иль Кирюха...» I, 440  
ОН I, 29  
«Он входит, шатаясь: “Я был молодым...”» I, 169

«Он въехал в новую квартиру...» П, 184  
«Он докуривал девочку до конца...» I, 31  
«Он хочет в беседе забыться...» I, 255  
«Она – как на сто верст уснувший гром...» ТАЙГА I, 186  
«Они, ах, были лишь собой одними...» П, 183  
«Опара вешнего тумана...» I, 45  
ОПЕРА I, 179  
ОПЕРАЦИЯ I, 538  
«Опять сижу в добре я пу пояс...» I, 577  
ОРАТОР I, 163  
ОСЕННИЙ ЛЕС П, 204  
«Осенняя бушует ярость...» П, 515  
ОСЕНЬ I, 288  
ОСЕНЬЮ I, 399  
«Остановился вечерок...» I, 114  
«От вечерней зари подряд...» П, 558  
«От любви и от губ, от шумливых садов и от гибели...» I, 126  
«От напряженья делаю...» I, 403  
«От радости досель я...» I, 512  
ОТАРА I, 253  
ОТКАЗ I, 585  
«Откинь раздумья, как челку...» I, 368  
«Отмель и отдых. И горю, быть может, конец...» I, 175  
«Отчего иногда вдруг помнится, что нету загадок...» I, 290  
«Отчего они так красивы...» П, 451  
ОФИЦЕР И ЛУНА I, 17  
«Ох ты, естество поэтово!..» П, 74  
«Ох, лень-позевота!..» П, 474  
ОХОТА I, 168  
«Очень нежной тишиной...» I, 369  
ПАВИЛЬОН ВЕНЕРЫ П, 466  
ПАГАНИНИ I, 189  
«Падают плечи в широкую воду...» I, 27  
ПАМЯТНИК П, 176  
«Память – чудо и чудовище...» ПАМЯТЬ. 2. П, 103  
«Память – эхо, отрывка...» ПАМЯТЬ. 1. П, 102  
ПАМЯТЬ. 1. «Память – эхо, отрывка...» П, 102  
ПАМЯТЬ. 2. «Память – чудо и чудовище...» П, 103  
ПАМЯТЬ. 3. «Как образ мне – праматерь Память...» П, 104  
ПАН. Полуфуга П, 486

«Парит день, как отварной картофель...» П, 194  
«Пастух, живописец и инок...» I, 160  
ПАСТУШОНОК I, 265  
ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («А где-то в детстве на Страстной неделе...») П, 524  
ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («Здравствуй, агньче стадо, овечья паства!..») П, 249  
ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («Колокольный грохот, сотрясенье...») П, 482  
ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («Я прохожу, как некий самый главный...») П, 418  
ПАХОТА I, 250  
ПАШНЯ I, 289  
ПЕЙЗАЖ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ I, 61  
ПЕРЕВОРОТ. Фуга П, 211  
ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ I, 294  
ПЕРЕД ОДОЙ НОВОМУ ГОДУ П, 31  
«Перо, как пьяный плуг, из года в год бродило...» П, 134  
ПЕСЕНКА ПРО ХАХАЛЕЙ I, 477  
«Петербургские вечера...» П, 131  
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР П, 16  
ПИКОВАЯ ДАМА I, 44  
ПИСЬМО I, 12  
ПИСЬМО. Фуга П, 324  
«Питаться чувствами, воспитывая чувства!..» П, 71  
Плавательные раздумья. В ДУХЕ МОРГЕНШТЕРНА. 1. П, 32  
«Платок мне не накинешь на роток...» I, 291  
ПЛАЧ О РЕКАХ П, 385  
«Плещут бешеные знаки...» I, 56  
ПЛОТНИК I, 232  
«Плотно обложены крыши ватой...» I, 243  
«По вечерам выходят из ворот...» СТАРИКИ I, 297  
ПО ДОРОГЕ В ТАЛЛИНН I, 589  
«По думам голове казаковать...» I, 387  
«По душе прошла и растоптала...» П, 299  
«По линиялому небу от чаек следы...» НА ИЛЬМЕНЕ П, 406  
«По месяцу ездили белые тени...» РУССКИЙ РОМАНС П, 356  
«По морю, по тропам...» П, 53  
«По новейшей моде я...» П, 329  
«По тропке робкой и укромной...» I, 526  
«По улочке запорошенной...» НОВГОРОД ЗИМОЙ. III. I, 422

«Повисает – посмотри!..» II, 450  
«Погоди! Не знаю, что со мною...» I, 550  
ПОГОСТ II, 322  
ПОД АНАКРЕОНТА II, 352  
«Под мухой день людей облобызал...» II, 310  
«Под причитанья заунывных бабок...» I, 256  
«Под роком нашим общим...» II, 342  
«Под старость только сушь да сырость...» II, 452  
«Под страхом счастья я теперь живу...» II, 472  
ПОД СТРАХОМ СЧАСТЬЯ. Фуга II, 428  
ПОД УТРО II, 28  
«Под шапками каштанов старых...» II, 114  
«Подвергнут разному лишению...» I, 242  
«Поди попробуй напророчь...» I, 256  
«Подмывает иль манит?...» II, 201  
ПОДРАЖАНИЕ ТЕГНЕРУ II, 304  
ПОДСМОТР I, 493  
ПОДЫТАЖИВАЯ I, 569  
«Поезд дачный, поезд брачный...» I, 313  
«Поехал Кавказ набекрень, как мозги...» II, 349  
«Поживи наобум, послучайничай...» I, 586  
«По-за углами нас расставив, как фигурки...» I, 469  
ПОЗДНО! Фуга II, 443  
ПОКОЙ. Фуга II, 407  
ПОКРОВ II, 236  
ПОКРОВ. Фуга II, 488  
«Покуда на умах, как на бобах, гадали...» II, 62  
«Полугодие как лавина...» II, 471  
ПОЛЮС I, 216  
«Помилуй душу дурную!..» II, 71  
«Пора пустынная, полынная пора!..» I, 198  
ПОСЛАНИЕ О ПЕЙЗАЖЕ I, 97  
ПОСЛЕДНЯЯ ФУГА II, 560  
ПОТОК ПЕРСЕИД I, 375  
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ЛОМОНОСОВУ I, 136  
ПОХОРОНЫ («Замотали голову, как мячик, в полотенце...») II, 527  
ПОХОРОНЫ («Ямщик лошадей понукает негромко...») I, 554  
ПОЦЕЛУИ II, 425  
«Почто же ех-революционеры...» II, 541  
ПОЭТ НА БАЛУ II, 56

ПРАЗДНИК II, 184  
«Преподобный отче Сергие!..» II, 377  
«Пресвятая Мать Богородица!..» I, 499  
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО I, 159  
«Прибой восстал, и дик и рьян...» I, 418  
«Приклеен на дорожке лист каштана...» II, 571  
«Примета, признак, суеверье...» I, 143  
«Природа – игрище. За сценой дремлют грозы...» II, 197  
«Природы нет. Природа только снится...» II, 96  
«Присели кроткие церквушки...» НОВГОРОД ЗИМОЙ. II. I, 421  
«Приходит гость из Гатчины...» II, 96  
«Приходит сад, глубокий до потери...» I, 58  
«Приходят мысли и уходят – странно!..» II, 160  
«Причисляюсь к непонимахам...» II, 155  
«Пришли отдать последний долг покойному...» II, 471  
«Про осень да про лето...» II, 323  
ПРОВОДЫ I, 270  
ПРОГУЛКА I, 247  
ПРОЗРАЧНАЯ ОСЕНЬ I, 386  
«Проплываю мимо...» II, 529  
«Просветлел уже лоб у зари...» I, 474  
ПРОСТО ПРАЗДНИК I, 392  
«Пространство – словно дальняя вода...» РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  
ФУГА II, 128  
ПРОСТРАНСТВО I, 503  
«Пространство лежало и никому...» I, 480  
«Протяжный вечер финской речи...» I, 28  
«Прыгнул, вытягиваясь в рост...» I, 235  
ПСАЛОМ .....ЫЙ I, 316  
ПСАЛОМ I, 333  
«Птица Желя, птица Карна...» II, 18  
ПТИЦЕЛОВ I, 32  
ПТИЧЬЯ ОСЕНЬ I, 54  
«Пускай деревья умирают стоя...» I, 558  
«Пустынна русская верста...» НОВГОРОД ЗИМОЙ. IV. I, 422  
«Пустынный вечер. Светит Петроград...» ЧЕТВЕРТАЯ  
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА II, 401  
«Пусть вам покажется, что я уже сломался...» РОМАНС II, 88  
«Пусть же тот, кто стерильно вымыт...» II, 21  
«Пусть залапанней, пусть залатанней!..» II, 58

«Пусть умом (или в уме?) мужая...» I, 527  
«Пусть я думаю сбоку...» II, 98  
ПУСТЬ! Фуга II, 38  
ПУТЕШЕСТВИЕ I, 307  
ПЯТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА II, 445  
РАБЛЕЗИАНЦЫ I, 371  
РАВНОВЕСЬЕ I, 386  
РАДИОЛА I, 520  
РАДОСТНЫЙ ГРОХОТ СОМНЕНИЯ I, 90  
«Разве мало и хмури и хмари вам...» I, 595  
«Разве я пойму, природа...» I, 118  
«Разгулялся зимний пчельник...» II, 127  
РАЗЪЕЗД I, 249  
«Раскрытым, как томик, лицом и почти некрасивым...» I, 319  
РАСПУТЬЕ. Фуга II, 224  
«Растреллий! Храм, где поет барокко...» II, 521  
«Расту как уши – выше лба...» II, 348  
«Растут и вьются города...» II, 23  
РАЧЬЯ ФУГА II, 461  
РЕКА ГОВОРIT: I, 74  
РЕКВИЕМ II, 188  
РЕРИХ. Фуга II, 537  
РИФМЫ II, 92  
РИЧАРДСОН II, 97  
РОЖДЕНИЕ ЗВУКА I, 210  
РОЖДЕНИЕ МИРА I, 22  
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Метель в окно ко мне стучится, как сосна...») II, 493  
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Пространство – словно дальняя вода...») II, 128  
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Я проснулся, думая, что умер...») II, 475  
РОЗА В СУМЕРКАХ I, 129  
РОЗА ЮНОСТИ I, 107  
РОМАНС («Пусть вам покажется, что я уже сломался...») II, 88  
РОМАНС («С лузою блузочка...») II, 334  
РОМАНС («То вымучена, то вымещена...») II, 29  
РУКА II, 499  
РУССКИЙ МУЗЕЙ II, 457  
РЫБАЧЬЯ ПЕСНЯ I, 395  
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ I, 36

РЫНОК (в античном роде) I, 258  
«С Авосем я дружу, но Вдруг...» II, 142  
«С глухой погодой второго сорта...» II, 5  
«С годами, ах, не совладая...» I, 418  
«С каким заквасом и засольцем...» I, 572  
«С лузою блузочка...» РОМАНС II, 334  
«С места срывается пресс-папье...» I, 30  
С НАТУРЫ II, 308  
«С недоумением и страхом...» I, 482  
«С упрямым зеркалом играю...» I, 64  
«Сад за окном – как головная боль...» II, 508  
САД И НЕБО I, 381  
«Сам с собою впрягшись в пару...» II, 50  
«Сам, не сам – по речке на моторке...» I, 466  
САМОГРАД II, 512  
САМООТСУТСТВИЕ. Фуга II, 143  
САМОПОЗНАНИЕ. Фуга II, 251  
САМСУСАМ. Фуга II, 116  
САПОЖНИК I, 310  
СВ. СОФИЯ В НОВГОРОДЕ I, 413  
СВ. ТРОИЦА I, 547  
«Свои затеи походя коря...» I, 337  
«Сегодня о тебе подумал в первый раз...» II, 309  
СЕМЕНА ИМЕН. Трехголосая фуга II, 158  
СЕНТЯБРЬСКАЯ ФУГА II, 320  
СЕРГИЕВА ЛАВРА II, 112  
«Сердце тарахтит в моторе...» РУССКИЙ РОМАНС II, 358  
СЕРЕНАДА I, 65  
СИБИРСКАЯ ЭЛЕГИЯ I, 557  
«Сибирь мохнатая! Во сны твои дремучие...» I, 358  
СИГТУНСКИЕ ВРАТА II, 206  
«Сидят в телах поэты...» I, 579  
«Сижу я в саду на лавочке...» I, 464  
«Сказкой сердце веселя...» I, 325  
«Сколько вечной в нас человечины!...» I, 581  
СКОТСКИЕ ВЕЧЕРА. 1. Овечий I, 551  
СКОТСКИЕ ВЕЧЕРА. 2. Телячий I, 552  
СКОТСКИЕ ВЕЧЕРА. 3. Собачий I, 552  
СКОТСКИЕ ВЕЧЕРА. 4. Жеребячий I, 552  
СКОТСКИЕ ВЕЧЕРА. 5. Козий I, 553



СКРИПАЧ I, 156  
«Слабо чувствуешь, как спит...» I, 135  
СЛЕПЕЦ II, 172  
СЛОВА. Фуга II, 327  
«Словно воды, полные прохлады...» I, 339  
«Слоняюсь по людям, к кому бы, гляжу, прислониться...» II, 36  
«Слушай, маленький дружок...» I, 214  
СЛУШАЯ СОНАТУ II, 287  
СМЕРТЬ БЫКА I, 170  
СМОЛЬНЫЙ II, 408  
«Смотря на знаки Зодиака...» I, 452  
СНЕГ НОЧЬЮ I, 120  
«Снег сделан был из поролона...» II, 15  
«Со мною в накрахмаленной столовой...» I, 435  
СОБАЧЬИ СТИХИ II, 81  
СОБАЧЬЯ ФУГА II, 335  
СОБОР СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ II, 348  
«Собрав в кулак всю что ни есть науку...» I, 581  
СОЛОМОН ГОВОРИТ II, 518  
«Солому, солнце, лес и тучу...» I, 72  
СОЛЬ ЗЕМЛИ I, 355  
СОН I, 245  
СОН О ЯВИ. Фуга II, 167  
СОН-РЕСТОРАН II, 8  
СОРОК ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО II, 282  
СОРОК МУЧЕНИКОВ II, 523  
СПАС-НЕРЕДИЦА I, 479  
СПАС-ПРЕОБРАЖЕНИЕ I, 424  
СПИНОЗА I, 6  
СПОР II, 559  
СПОРТСМЕН I, 322  
«Сражаться с вами в дурачки...» I, 489  
СРАМ II, 410  
СРЕДА I, 194  
«Средь облаков, песков, лугов...» I, 93  
СТАНСЫ II, 130  
СТАРАЯ ПЕСНЯ НА НОВЫЙ ЛАД II, 78  
СТАРИК («В глазах слеза – не потому что плачут...») I, 559  
СТАРИК («Как бурый лист, ладонь его суха...») I, 395  
СТАРИКИ («Голгофою, страдальческим бугром...») I, 302

СТАРИКИ («По вечерам выходят из ворот...») I, 297  
СТАРИННАЯ БАСНЯ I, 491  
СТАРОСТЬ. Трехголосая фуга II, 313  
СТАРЫЙ ГОРОД II, 273  
«Старый Новгород крепко сбит...» I, 461  
«Стихи мои уже не дети мне, а внуки...» II, 199  
СТИХИ НА НАУЧНУЮ ТЕМУ I, 517  
СТИХОТВОРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН II, 231  
«Стоит на одной ноге завод...» I, 476  
«Стоит пустой, остыв давно...» II, 101  
«Стоит сентябрь больницей кроткой...» I, 540  
«Стою на подоконнике...» I, 523  
СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА I, 88  
СТРАННИЧЕСКАЯ ФУГА II, 68  
СТРАНСТВИЯ УМА I, 16  
«Стругая горы и равняя реки...» I, 110  
СТУК II, 46  
«Стучится время. Двери на запор вы...» II, 417  
СУВОРОВ II, 428  
«Сугубая полночь. Сугробы, как темные губы...» I, 53  
СУД I, 63  
«Сумрак замкнут в каждой вещи...» I, 57  
«Сухая осень стелет нам ковры...» I, 264  
СЧЕТОВОДСТВО II, 48  
«Та ночь сначала многого не знала...» II, 304  
ТАЙГА («Она – как на сто верст уснувший гром...») I, 186  
ТАЙГА («Я шел вчера в тайге и навзничь лег...») I, 215  
«Там, где ели развесили патлы...» II, 510  
ТАНЦОВЩИЦЕ I, 172  
«Тасую карты-годы сам...» II, 120  
«Твои две груди – как смиренные колени...» II, 275  
«Тебе шевелиться во мне не велю...» II, 9  
«Тебя знавал я, милая варварка...» ЭЛЕГИЯ II, 373  
ТЕЛЕБАШНЯ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ II, 298  
«Телевизор – словно выюга...» II, 66  
«Телеграфная проза вонзает – не роза! – колючки...» II, 302  
ТЕЛЕФОН I, 544  
ТЕЛО I, 516  
«Тело, словно тихую светелку...» I, 293  
ТЕННИС I, 575

«Тепло с вечернею коровой...» ЭЛЕГИЯ I, 15  
«Теплом уютным околдуй...» I, 375  
ТИФ I, 201  
«Тиховейный шепот с Рейна...» II, 505  
«То вымучена, то вымещена...» РОМАНС II, 29  
«То не ветренная Геба...» I, 5  
«То поплачется, а то прячется...» II, 23  
«То, чего нет, – есть!...» I, 508  
«Только грянула весна...» I, 33  
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ I, 463  
«Торчало утро больше получаса...» II, 74  
«Торчит предначертанье...» II, 364  
«Тоскливей, чем душа, ландшафты...» I, 530  
«Тосковать! Но это так избито!...» II, 49  
«Тоску упрятал я на дно...» I, 348  
ТОТ ЖЕ ПОТОК-БОГАТЫРЬ II, 436  
ТРАВА II, 517  
ТРЕТЬЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА II, 221  
ТРОИЦКИЙ СОБОР II, 557  
ТРОИЦКИЙ СОБОР В СТАРОЙ РУССЕ II, 381  
«Трясет Европа гузкой...» II, 180  
«Туда мы душу повлечем...» I, 52  
«Туманный город без остатка...» II, 114  
«Тучей темного шелку...» I, 345  
«Тучи громыхали серые, как танки...» II, 526  
«Ты – музыка моя. Долбят вороны стерво...» МУЗЫКА. Фуга II, 343  
ТЫ I, 591  
«Ты будто заболела...» I, 546  
«Ты была и еще где-то есть...» II, 326  
«Ты легче всяких прочих нош...» II, 214  
«Ты любила. Но вот досада...» I, 389  
«Ты мне – всебудничная память...» II, 300  
«Ты мной нигде не встречена...» I, 406  
«Ты себя заморозила...» II, 213  
«Ты у небес не думай отпроситься...» I, 12  
«Ты, время, – как ливень. Захлопали ставни...» I, 110  
«У лампы ли сидишь, у камелька ли...» I, 303  
«У меня был старый друг...» II, 530  
«У меня так немного тем...» I, 161  
«Увы, солдатскою побудкой...» I, 434

УГОЛ ГЛАЗА I, 563  
«Удел на диво мне сужден судьбой...» I, 504  
«Уже открыт весенний сад...» II, 505  
«Ужели жизнь завершена...» I, 401  
«Ужели я и в этот раз не спася?...» I, 481  
«Ужель ошибкою двойной...» I, 260  
«Ужель я бессмертный голован...» I, 336  
«Укрытый тьмой слегка, лежу...» I, 24  
«Улица узкая...» I, 160  
«Умерла, но живая...» II, 286  
УМНАЯ ОРГАНИЧНАЯ ФУГА С ПРЕЛЮДИЕЙ II, 390  
УМОКРУЖЕНИЕ. Фуга II, 195  
УНИВЕРСАМ. Фуга II, 237  
«Уродиться бы не в меня им...» II, 170  
«Уставясь в небосвод постылый...» I, 543  
УТРАТА I, 230  
УТРЕНЯ II, 25  
УТРО В ЛЕСУ II, 316  
«Утро выглянуло из-за тына...» II, 462  
ФАЭТОН I, 324  
ФЕВРАЛЬ I, 73  
«Февраль окончен. Бедный куцый месяц...» II, 558  
ФЕВРАЛЬСКАЯ ФУГА II, 554  
ФИЗИК I, 437  
ФЛОБЕР I, 41  
ФОКУСЫ ИСКУССТВА I, 496  
ФОМИНА НЕДЕЛЯ I, 315  
«Фонтанка – глиняного цвета...» II, 513  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОБОБЩЕННОГО НАТУРЩИКА I,  
545  
ФУГА О РЕКЕ И МЕЛЬНИЦЕ II, 160  
ФУГА С АЛЛИТЕРАЦИЯМИ II, 350  
ФУГА С ВАРИАЦИЯМИ НА ТЕМУ «СЕВИЛЬСКОГО  
ЦИРЮЛЬНИКА» II, 535  
ФУГЕТТА («Всяк сам себе пречестное зеркало...») II, 90  
ФУГЕТТА («Я – чей-то сон. А в нем я колесован?...») II, 81  
ФУТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА II, 416  
ХАН ВОРЫБЕК ГОВОРIT II, 518  
«Хлопья чаек летают над Мойкой всё тише...» II, 253  
«Хороша ты, холера!...» II, 215

«Хорошо поворожить...» II, 180  
«Хорошо я нынче выпил...» II, 400  
«Хорошо, что отошли грустины!...» I, 413  
«Хотел бы стать Сквородой...» I, 284  
ХРАМ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА КРОВИ II, 431  
ЦАРЬ КОСМОС I I, 498  
«Цветок прощаний и разлук...» II, 402  
«Церковный северный рассвет...» II, 556  
ЦЕРКОВЬ АНДРЕЯ В ДЕТИНЦЕ II, 389  
ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ В АРКАЖАХ II, 41  
ЦЕРКОВЬ КЛИМЕНТА I, 457  
ЦЕРКОВЬ КЛИМЕНТА В НОВГОРОДЕ II, 303  
ЦЕРКОВЬ МИНЫ В СТАРОЙ РУССЕ (XV в.) II, 381  
ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ II, 454  
ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА В КОЖЕВНИКАХ II, 303  
ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА НА СЛАВНЕ II, 324  
ЦЕРКОВЬ ПРОКОПИЯ I, 455  
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА НА ПОЛЕ II, 372  
«Чего греха таить, прости нас Боже?...» I, 310  
«Через Неву увидит всякий...» II, 409  
ЧЕРЕПАХА II, 485  
«Чернеет лес, как смерти гнусный рот...» I, 184  
ЧЕРНОВИК ЧЕЛОВЕКА I, 87  
ЧЕРНОВЫЕ СТРОКИ II, 491  
ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Благоволение? Желание добра?...») II, 277  
ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Пустынный вечер. Светит Петроград...») II, 401  
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА II, 77  
ЧИЖИК I, 494  
ЧИСЛО I, 567  
ЧТЕНИЕ АННЕНСКОГО I, 166  
«Что бы ты ни говорила...» I, 348  
«Что делать мне? Я голоден, оглох...» I, 228  
«Что же ходишь ты возле жизни?...» II, 171  
«Что может быть страшнее были...» II, 553  
«Чу, мгновения глухие...» I, 282  
ЧУЖИЕ МЫСЛИ I, 561  
«Шар земной совсем заразмышлялся...» II, 82  
ШАРМАНКА II, 455

ШАХМАТЫ I, 139  
«Шла коляда из Новагорода...» II, 342  
ШОПЕН II, 498  
ШУБА. Фуга II, 154  
«Шуршит сухой поток задумчивых лесин...» I, 317  
ЩУЧЬЕ ОЗЕРО II, 43  
«Эй, художник! Тяпай-ляпай...» I, 153  
ЭЛЕГИЯ («В желтеющей листве прозрачность кожи...») I, 297  
ЭЛЕГИЯ («Тебя знавал я, милая варварка...») II, 373  
ЭЛЕГИЯ («Тепло с вечернею коровой...») I, 15  
ЭЛЕГИЯ 1-я I, 46  
ЭЛЕГИЯ ВТОРАЯ I, 251  
ЭПИГРАММА I, 580  
ЭПИТАФИЯ ЗЕРКАЛЬНОМУ КАРПУ, УСНУВШЕМУ В ВАННЕ I, 429  
«Этакое счастье привалило...» I, 357  
«Я – музыка, посаженная в клетки...» МУЗЫКА. Фуга II, 98  
«Я – словно осень, а она – как осыпь...» II, 33  
«Я – смутный спутник самого себя же...» I, 367  
«Я – спертый воздух в камере тюремной...» I, 584  
«Я – только тот тычок или торчок...» II, 122  
«Я – чей-то сон. А в нем я колесован?...» ФУГЕТТА II, 81  
Я БЕЗ ТЕБЯ II, 130  
«Я болен летом, и помимо воли...» I, 103  
«Я брел, а дождь стрелял в мое пальто...» I, 359  
«Я был как в небе зодчество...» II, 139  
Я БЫЛ. Фуга II, 111  
«Я в город обмакнут душою, как в каменный омут...» I, 361  
Я В ИГРЕ. Шахматная фуга II, 259  
«Я великий владыка земной...» I, 492  
«Я видел в Суздале, что к старости века мне...» II, 507  
«Я вокруг тебя да около...» II, 399  
«Я во скорби и глубокой схиме...» I, 452  
«Я времени не замечаю...» НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ I, 428  
«Я вскрыл окно. По горизонту взрезав...» II, 60  
«Я встал и вышел. За спиной остался...» II, 29  
«Я встал с протяжною рукой...» I, 39  
«Я встретил на углу свою душишку...» I, 550  
Я ВЧУЖЕ. Фуга II, 441  
«Я вышел изо всех квартир...» I, 428

«Я голой памятью сижу в своем уме...» П, 276  
«Я грусти не терплю, к печали не привык...» НОВОГОДНИЕ  
СТАНСЫ, 505  
«Я думать пробовал. Претесная затея!...» П, 241  
«...Я же, рожу скорчив...» I, 340  
«Я жизнь отмериваю год по году...» П, 242  
«Я жил, не сотворив себе кумира...» I, 564  
«Я жить хочу. А разве мне живется...» П, 131  
Я ЗАДУМЧИВЫЙ, В ВОПРОСАХ БЕЗ ОТВЕТОВ. Фуга П, 448  
«Я знаю издавна: Оно...» НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ I, 513  
«Я знаю, где-то рядом...» I, 112  
«Я знаю, что мой костяк...» П, 63  
«Я избалован, как в поэтах слово...» I, 549  
Я ИЛЬ НЕ Я? Фуга П, 267  
«Я каждый день – чужое Рождество...» П, 33  
«Я как праздник стою, и висят погремушки...» ЕЛКА I, 207  
«Я колесил по жизни, куролесил...» I, 377  
«Я легкая туманная обитель...» I, 349  
«Я ли с полночью сошелся в когти?...» П, 124  
«Я листьев падших, горьких не считаю...» I, 128  
«Я любил осторожно, любил паутины нежней...» I, 371  
«Я многолюден, словно главный город...» П, 175  
«Я на долю исстари сирую...» П, 383  
«Я набожен и с совестью в ладу...» I, 361  
«Я наглядился в зеркала...» I, 585  
«Я не знал ни скуки, ни тоски...» I, 590  
«Я не иссяк еще. Какое там! Скорей уж...» П, 135  
«Я не люблю тебя. Но ты средь бездорожий...» П, 162  
«Я не носил девизов и знамен...» I, 519  
«Я не по капелькам живу, а враз и сплошь...» П, 43  
«Я не сам, а просто грустный ворох...» П, 392  
«Я не сею и не жну...» П, 45  
«Я не сторонник вечного порядка...» П, 125  
«Я ненавижу смерть. Ну а за что?...» I, 269  
«Я нынче в Новый год спускаюсь, как в метро...» НОВОГОДНЯЯ  
ФУГА П, 404  
«Я нынче сам себе чудесная погода...» I, 330  
«Я нынче умер, точно некто...» П, 132  
Я ОКОЛО СЕБЯ. Фуга сомнения П, 225  
«Я плачущее существо...» I, 402

«Я по двести процентов в месяц даю...» П, 89  
«Я по списку времен прохожу до крыжа...» П, 158  
«Я под боком живу у новогодья...» НОВОГОДНЯЯ ФУГА П, 281  
«Я поэт тяжелый, что комод...» I, 405  
«Я праздную, пусть даже немо имя...» ИМЕНИНЫ, 347  
«Я предстал себе через n-светолет...» I, 510  
«Я приближаюсь. Ты далече...» ГРОЗА I, 145  
«Я прислонюсь к сырому октябрю...» П, 384  
«Я проживаю в мире разбитном...» П, 142  
«Я проживаю жизнь мою...» П, 497  
«Я прожил всё, чем я не дорожил...» П, 317  
«Я проснулся, думая, что умер...» РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА П, 475  
«Я просто маленький старик...» П, 301  
«Я просто слизь, материя живая...» П, 509  
«Я прохожу, как некий самый главный...» ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА П, 418  
«Я разорвал любовь, как некую плеву...» П, 214  
Я С ЖИЗНЬЮ РЯДОМ. Фуга П, 83  
«Я сам себе как лыко в строку...» П, 15  
«Я сам себе родник, источник, ключик...» I, 560  
«Я сам сломал причину, точно спичку...» П, 210  
«Я сегодня отчего-то весел...» П, 90  
Я СЕТУЮ. Трехголосая фуга П, 310  
«Я смутным невским утром из-под арок...» I, 118  
«Я совсем случаен, одинок...» I, 252  
«Я спал и был свой сон, свой сын...» I, 192  
«Я спал или думал – не всё ли равно?...» I, 344  
Я СПЛЮ П, 347  
«Я сплю, и сны исподтишка я строю...» П, 126  
«Я стал близорук и дал зарок...» I, 298  
«Я стал обочь себя, как вол и стол рабочий...» П, 52  
«Я стал теперь такая скука...» I, 578  
«Я становлюсь богаче и старей...» I, 373  
«Я строил боль, как нежную больницу...» I, 95  
«Я тело получил в наследство, как лачугу...» I, 367  
«Я у себя сижу бочком да с краю...» П, 76  
«Я человек отчаянной эпохи...» П, 528  
«Я шел вчера в тайге и навзничь лег...» ТАЙГА I, 215  
«Я шел, не выпавшись, растрепанный, босой...» I, 351  
Я, ГОД И ВЕТЕР I, 431  
«Я, как земля, притворник и затворник...» I, 287

ЯБЛОКО I, 287  
ЯЗЫК II, 295  
«Язык велик, могуч и древен...» I, 433  
«Язык мой, язык российский!...» I, 513  
ЯКОБЫ СОНЕТ II, 315  
ЯМА. Фуга II, 86  
«Ямщик лошадей понукает негромко...» ПОХОРОНЫ I, 554  
ЯНВАРСКАЯ ФУГА II, 551  
ЯСНОСТЬ. Фуга II, 105  
ARS LONGA – VITA BREVIS I, 363  
BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES I, 299  
COGITO, ERGO... I, 574  
D. HUME I, 327  
«Erpur si muove! Мысли вслед за ней...» II, 289  
LA MUSE МЙСЧАНТЕ I, 587  
MATER DOLOROSA МОРАЛЕСА I, 402  
MEDITATIONES AGRICOLARES I, 238  
MIR ZUR FEIER (XL лет) <1951> I, 397  
MIR ZUR FEIER <1934> I, 75  
MIR ZUR FEIER <1936> I, 183  
MIR ZUR FEIER <1941> I, 285  
MIR ZUR FEIER <1943> I, 342  
MIR ZUR FEIER <1950> I, 292  
MIR ZUR FEIER <1953> I, 406  
MIR ZUR FEIER <1954> I, 411  
MIR ZUR FEIER <1955> I, 416  
MIR ZUR FEIER <1956> I, 432  
MIR ZUR FEIER <1957> I, 447  
MIR ZUR FEIER <1958> I, 460  
MIR ZUR FEIER <1959> I, 475  
MIR ZUR FEIER <1960> I, 485  
MIR ZUR FEIER <1963> I, 514  
MIR ZUR FEIER <1964> I, 517  
MIR ZUR FEIER <1965> I, 539  
MIR ZUR FEIER <1966> I, 582  
MIR ZUR FEIER <1967> II, 10  
MIR ZUR FEIER <1968> II, 42  
MIR ZUR FEIER <1971> II, 136  
MIR ZUR FEIER <1972> II, 177  
MIR ZUR FEIER <1973> II, 244

MIR ZUR FEIER <1974> II, 300  
MIR ZUR FEIER <1975> II, 355  
MIR ZUR FEIER <1976> II, 417  
MIR ZUR FEIER <1977> II, 459  
MIR ZUR FEIER <1978> II, 480  
MIR ZUR FEIER <1979> II, 504  
MIR ZUR FEIER <1980> II, 526  
MIR ZUR FEIER <1983> II, 568  
NATURAE NATURALAE I, 143  
NOMINA I, 284  
NOX EROTICA I, 94  
NUPTIAE MARIS I, 263  
PERVERSIT'Y I, 318  
PICTORIS CONFESSIO I, 400  
QUASI-SONETTO DIDACTICO II, 58  
REQUIEM I, 382  
VITA ANIMALIUM DOMESTICORUM I, 276  
W. SCHUPPE I, 328  
‘ΑΝΤΕΡΩΣ I, 500  
1 МАЯ II, 251  
1 ЯНВАРЯ 1958 г. I, 459  
1-е АПРЕЛЯ II, 458  
1-е ЯНВАРЯ 1934 ГОДА I, 49

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1967

|  |     |
|--|-----|
| «С глухой погодой второго сорта...»          | 5   |
| «Весь вечер изувеча...»                      | 5   |
| ГАДАНЬЕ С ПРИПЛЯСОМ                          | 6   |
| «Ах, как это надокучит...»                   | 7   |
| СОН-РЕСТОРАН                                 | 8   |
| «За годом стало – как в лесу – темнее...»    | 8   |
| «Тебе шевелиться во мне не веляю...»         | 9   |
| MIR ZUR FEIER <1967>                         | 10  |
| ВСЁ РАВНО                                    | 11  |
| КАРНАВАЛ                                     | 12  |
| «За ночью в очереди стоя...»                 | 12  |
| «В бабушку-душу!...»                         | 13  |
| «Весь год часы висели, стоя...»              | 14  |
| «Зашел я мимоходом с милой...»               | 14  |
| «Снег сделан был из поролона...»             | 15  |
| «Я сам себе как лыко в строку...»            | 15  |
| ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР                        | 16  |
| «День приправлен и грозой и драмой...»       | 17  |
| «На прежних улицах качаюсь...»               | 17  |
| «Как вражий стяг на крепостях...»            | 18  |
| «Птица Желя, птица Карна...»                 | 18  |
| «Когда взлетает жизнь под самый потолок...»  | 19  |
| «Над Невою всплыв, парусом нам была...»      | 19  |
| «Вошла, как дверь, и сразу стало смертно...» | 19  |
| НЕ ПРЯЧЬСЯ                                   | 20  |
| «Надоело с собой дружить...»                 | 21  |
| «Пусть же тот, кто стерильно вымыт...»       | 21  |
| «Растут и вьются города...»                  | 23  |
| «То поплачется, а то прычется...»            | 23  |
| РАСПУТЬЕ. Фуга                               | 224 |
| «Голова – вроде позднего вечера...»          | 25  |
| УТРЕНЯ                                       | 25  |
| «Два одиночества столкнулись...»             | 26  |
| «Нахлобучивши сумрак по уши...»              | 27  |

|   |    |
|---|----|
| МЕЖДУ                                   | 27 |
| ПОД УТРО                                | 28 |
| «Я встал и вышел. За спиной остался...» | 29 |
| РОМАНС («То вымучена, то вымещена...»)  | 29 |
| «Как сад пустой, как лес глухой...»     | 30 |

### 1968

|  |    |
|--|----|
| ПЕРЕД ОДОЙ НОВОМУ ГОДУ                                 | 31 |
| В ДУХЕ МОРГЕНШТЕРНА                                    |    |
| 1. Плавательные раздумья                               | 32 |
| 2. Гастрономическая погода                             | 32 |
| «Душа лежит, почти девичья...»                         | 33 |
| «Я каждый день – чужое Рождество...»                   | 33 |
| «Я – словно осень, а она – как осыпь...»               | 33 |
| «Заканчивая четверть века...»                          | 34 |
| «Брожу, как жизнь, и стало быть – вразброд...»         | 35 |
| ИЗ ДЕВЯТОГО ЭТАЖА                                      | 35 |
| «Слоняюсь по людям, к кому бы, гляжу, прислониться...» | 36 |
| «Какой-то Фауст бродит по Фонтанке...»                 | 37 |
| «Мир, бесспорно, будет очень плох...»                  | 37 |
| ПУСТЬ! Фуга  | 38 |
| «Да, пишется не так-то уж и бойко...»                  | 40 |
| ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ В АРКАЖАХ                         | 41 |
| MIR ZUR FEIER <1968>                                   | 42 |
| ЩУЧЬЕ ОЗЕРО  | 43 |
| «Я не по капелькам живу, а враз и сплошь...»           | 43 |
| ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ   | 44 |
| «Как просто всё, как истинно – до скуки!...»           | 45 |
| «Я не сею и не жну...»                                 | 45 |
| «Люди – толстосумы...»                                 | 46 |
| СТУК   | 46 |
| «На Мойке чайки над водой чугунной...»                 | 48 |
| СЧЕТОВОДСТВО   | 48 |
| «Тосковать! Но это так избито!...»                     | 49 |
| ИЗ СПАЛЬНИ   | 50 |
| «Сам с собою впрягшись в пару...»                      | 50 |
| «Ветер в ветках, в листьях и в хворосте...»            | 51 |
| «Я стал обочь себя, как вол и стол рабочий...»         | 52 |

|   |    |
|---|----|
| «Весна гуляет до отвалу...»               | 52 |
| КОРОТКАЯ ГРОЗА                            | 53 |
| «По морю, по тропам...»                   | 53 |
| «Дожди уже с неделю перестали...»         | 54 |
| «Ввело мой ум, как в смертный Вавилон...» | 54 |
| «Куда задевалась ты, провалинная?...»     | 55 |
| ПОЭТ НА БАЛУ                              | 56 |
| МЫ  | 57 |
| «Пусть залапанней, пусть залатанней!..»   | 58 |
| QUASI-SONETTO DIDACTICO                   | 58 |
| «Запорхала Правдочка...»                  | 59 |
| «Я вскрыл окно. По горизонту взрезав...»  | 60 |
| «Несть пророка в своем отечестве...»      | 60 |
| «Ах вы мысли-гусли!..»                    | 61 |
| «Покуда на умах, как на бобах, гадали...» | 62 |
| «Ах ты, горе луковое!..»                  | 62 |
| «Я знаю, что мой костяк...»               | 63 |
| ЛЕС                                       | 64 |
| «Бывает, что, от радости робея...»        | 65 |
| «Телевизор – словно выюга...»             | 66 |

## 1969

|  |    |
|--|----|
| КТО Я?                                       | 68 |
| СТРАННИЧЕСКАЯ ФУГА                           | 68 |
| «Не прижился и еще не прожит...»             | 69 |
| «Висит двадцатиэтажный дом...»               | 70 |
| «Питаться чувствами, воспитывая чувства!..»  | 71 |
| «Помилуй душу дурную!..»                     | 71 |
| «На балконе, будто на краю...»               | 72 |
| «Который год коплю себя вразброд!..»         | 72 |
| ИЗ ОКНА ВАГОНА                               | 73 |
| «Город рисуется в самом апрелистом вкусе...» | 73 |
| «Ох ты, естество поэтово!..»                 | 74 |
| «Торчало утро больше получаса...»            | 74 |
| «Лучше буду чушь пороть и я!..»              | 75 |
| «Я у себя сижу бочком да с краю...»          | 76 |
| «Нет, не к залам и не к салонам...»          | 76 |
| ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА                          | 77 |

|   |     |
|---|-----|
| СТАРАЯ ПЕСНЯ НА НОВЫЙ ЛАД                             | 78  |
| НА ВОЛКОВОМ КЛАДБИЩЕ                                  | 79  |
| НОЧНОЙ МОНОЛОГ НА ЛУГУ. Фугетта                       | 80  |
| ФУГЕТТА («Я – чей-то сон. А в нем я колесован?...»)   | 81  |
| СОБАЧЬИ СТИХИ   | 81  |
| «Шар земной совсем заразмышлялся...»                  | 82  |
| Я С ЖИЗНЬЮ РЯДОМ. Фуга                                | 83  |
| «Дорогая, тебе я вышью...»                            | 85  |
| «Говорят: отдохнешь в могиле...»                      | 86  |
| ЯМА. Фуга   | 86  |
| «Будто искрящимся зернам...»                          | 88  |
| РОМАНС («Пусть вам покажется, что я уже сломался...») | 88  |
| «Я по двести процентов в месяц даю...»                | 89  |
| «Я сегодня отчего-то весел...»                        | 90  |
| ФУГЕТТА («Всяк сам себе пречестное зеркало...»)       | 90  |
| «Как сестры милосердные, три парки...»                | 91  |
| РИФМЫ   | 92  |
| БОСХ  | 92  |
| «За приметку прячется примета...»                     | 95  |
| «Природы нет. Природа только снится...»               | 96  |
| «Приходит гость из Гатчины...»                        | 96  |
| РИЧАРДСОН   | 97  |
| «Пусть я думаю сбоку...»                              | 98  |
| МУЗЫКА. Фуга («Я – музыка, посаженная в клетки...»)   | 98  |
| О САМОСТИ   | 100 |
| «Небо выперло свой препузатый свод...»                | 101 |
| «Стоит пустой, остыв давно...»                        | 101 |
| ПАМЯТЬ  |     |
| 1. «Память – эхо, отрывка...»                         | 102 |
| 2. «Память – чудо и чудовище...»                      | 103 |
| 3. «Как образ мне – праматерь Память...»              | 104 |
| ВСТРЕЧА   | 105 |
| ЯСНОСТЬ. Фуга   | 105 |

## 1970

|  |     |
|--|-----|
| БАЛ  | 109 |
| «Ах, белые ночи, больные прозрачные тени!..» | 110 |
| Я БЫЛ. Фуга                                  | 111 |

|  |     |
|--|-----|
| СЕРГИЕВА ЛАВРА .....   | 112 |
| ГРОЗА («Гроза накинута в захлеб...»)                             | 113 |
| «Люблю тебя, история...»   | 113 |
| «Туманный город без остатка...»                                  | 114 |
| «Под шапками каштанов старых...»                                 | 114 |
| «Лес увешан влагой свежей...»                                    | 115 |
| САМСУСАМ. Фуга   | 116 |
| «Ах, время, чертов пристав!...»                                  | 117 |
| ЗНАК. Гильберт-фуга  | 118 |
| «Тасую карты-годы сам...»  | 120 |
| ДРУЖБА. Фуга   | 120 |
| «Я – только тот тычок или торчок...»                             | 122 |
| «Как бы забор, в саду стоит литература...»                       | 123 |
| «Я ли с полночью сошелся в когти?...»                            | 124 |
| «Живут, себя теряя понемногу...»                                 | 125 |
| «Я не сторонник вечного порядка...»                              | 125 |
| «Дума, ты с котомкой странница...»                               | 125 |
| «Я сплю, и сны исподтишка я строю...»                            | 126 |
| «Разгулялся зимний пчельник...»                                  | 127 |
| РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Пространство – словно<br>дальняя вода...») | 128 |

## 1971

|   |     |
|---|-----|
| Я БЕЗ ТЕБЯ .....                                  | 130 |
| СТАНСЫ .....                                      | 130 |
| «Я жить хочу. А разве мне живется...»             | 131 |
| «Петербургские вечера...»                         | 131 |
| «Я нынче умер, точно некто...»                    | 132 |
| НИЧТО .....                                       | 133 |
| «Перо, как пьяный плуг, из года в год бродило...» | 134 |
| «Если девочка-жизнь, мужая...»                    | 135 |
| «Я не иссяк еще. Какое там! Скорей уж...»         | 135 |
| MIR ZUR FEIER <1971> .....                        | 136 |
| «Мы друг от друга не убежим...»                   | 136 |
| КРУГ. Фуга  | 137 |
| «Я был как в небе зодчество...»                   | 139 |
| «Дорожка вьется, бьется, путается...»             | 139 |
| МЕЛЬНИЦА .....                                    | 140 |

|  |     |
|--|-----|
| «Куда мне сбегать десять лет?...»            | 140 |
| «В ряды пятиэтажные дома...»                 | 141 |
| «С Авосем я дружу, но Вдруг...»              | 142 |
| «Я проживаю в мире разбитном...»             | 142 |
| «За окошком тиховойный...»                   | 143 |
| САМООТСУТСТВИЕ. Фуга                         | 143 |
| ЗАБЫВЧИВОСТЬ. Фуга                           | 145 |
| ГЕРА ГОВОРИТ .....                           | 146 |
| ИМЯ. Фуга                                    | 147 |
| «Мы с тобой сошлись, как клин с обэхом...»   | 149 |
| АВГУСТ .....                                 | 150 |
| «Когда живется мне, и я тогда живусь...»     | 150 |
| «К милому другу и круг не околица...»        | 151 |
| ВАЛДАЙСКОЕ ОЗЕРО                             |     |
| 1. Первый плес .....                         | 152 |
| 2. Второй плес .....                         | 152 |
| 3. Третий плес .....                         | 153 |
| ШУБА. Фуга                                   | 154 |
| «Причисляюсь к непонимахам...»               | 155 |
| «Ах ты тень, моя тень!...»                   | 156 |
| «Я по списку времен прохожу до крыжа...»     | 158 |
| СЕМЕНА ИМЕН. Трехголосая фуга                | 158 |
| «Приходят мысли и уходят – странно!...»      | 160 |
| ФУГА О РЕКЕ И МЕЛЬНИЦЕ .....                 | 160 |
| «Всё больше говорят, что я поэт...»          | 162 |
| «Я не люблю тебя. Но ты средь бездорожий...» | 162 |
| «Если сам собой ты понят...»                 | 163 |
| ЛЕНОСТЬ. Фугетта .....                       | 163 |
| «Ну кто же за тобой погонится?...»           | 164 |
| ВТОРАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА .....             | 165 |

## 1972

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| СОН О ЯВИ. Фуга .....              | 167 |
| ГРУСТНАЯ ГОЛОВА. Фуга .....        | 168 |
| Г-ЖЕ ДУШЕ .....                    | 170 |
| «Уродиться бы не в меня им...»     | 170 |
| «Что же ходишь ты возле жизни?...» | 171 |
| СЛЕПЕЦ .....                       | 172 |



|   |     |
|---|-----|
| «Быть хочется добрей...»                        | 173 |
| ДОРОЖНЫЙ РОМАНС                                 | 174 |
| «Вас поносили и восхваляли...»                  | 174 |
| «Я многолюден, словно главный город...»         | 175 |
| ПАМЯТНИК  | 176 |
| MIR ZUR FEIER <1972>                            | 177 |
| «Живу на улице Радостной...»                    | 178 |
| «Ишь ты, братец, идол мой стальной...»          | 179 |
| «Хорошо поворожить...»                          | 180 |
| «Трясет Европа гузкой...»                       | 180 |
| «Они, ах, были лишь собой одними...»            | 183 |
| «Он въехал в новую квартиру...»                 | 184 |
| ПРАЗДНИК  | 184 |
| ВРЕМЯ. Фуга                                     | 187 |
| РЕКВИЕМ   | 188 |
| ЛЕТНИЙ САД                                      | 192 |
| КЛАДБИЩЕ  | 192 |
| «Парит день, как отварной картофель...»         | 194 |
| УМОКРУЖЕНИЕ. Фуга                               | 195 |
| «Природа – игрушка. За сценой дремлют грозы...» | 197 |
| «Место у нас антропоидам есть...»               | 198 |
| ЗА ГОРОДОМ                                      | 198 |
| «Стихи мои уже не дети мне, а внуки...»         | 199 |
| «Блестя, идут на перегар погоны...»             | 200 |
| «Подмывает иль манит?...»                       | 201 |
| «Вот же бабий повойник!...»                     | 201 |
| «Мне старуха-наука на картах гадала...»         | 203 |
| МОНАСТЫРЬ МИХАИЛА КЛОПСКОГО                     | 203 |
| ОСЕННИЙ ЛЕС                                     | 204 |
| СИГТУНСКИЕ ВРАТА                                | 206 |
| КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА                              | 207 |
| НЕДУГ. Фуга                                     | 207 |
| «Вкруг пагоды висит осенняя погода...»          | 209 |
| «Я сам сломал причину, точно спичку...»         | 210 |
| «Не грешить очень просто...»                    | 210 |
| ПЕРЕВОРОТ. Фуга                                 | 211 |
| «Ты себя заморозила...»                         | 213 |
| «Я разорвал любовь, как некую плеву...»         | 214 |
| «Ты легче всяких прочих нош...»                 | 214 |
| «Хороша ты, холера!...»                         | 215 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| НИЩЕТА. Фуга               | 215 |
| ИСТИНА. Фуга               | 217 |
| ТРЕТЬЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА | 221 |

### 1973

|  |     |
|--|-----|
| «В волосах пожар и кавардак...»                                    | 224 |
| «Аз усумнитель есмь. Попробуй-ка сомни...»                         | 224 |
| Я ОКОЛО СЕБЯ. Фуга сомнения  | 225 |
| «Заболей, дружок, заболей!...»                                     | 230 |
| ВОР  | 230 |
| СТИХОТВОРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН  | 231 |
| ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ФУГА  | 234 |
| «Набежала разлука...»  | 235 |
| ПОКРОВ   | 236 |
| «Ах, современность, современность!...»                             | 237 |
| УНИВЕРСАМ. Фуга  | 237 |
| «Вослед Готьеру и Верлену...»                                      | 240 |
| «Я думать пробовал. Претесная затея!...»                           | 241 |
| «Я жизнь отмериваю год по году...»                                 | 242 |
| ЛОЖЬ. Фуга   | 243 |
| MIR ZUR FEIER <1973>   | 244 |
| БЕЗ СЕБЯ. Фуга   | 245 |
| «Мне волшебница младая...»   | 246 |
| «Ночь с обманным запахом лимона...»                                | 247 |
| «Мы с тобой – как две поры осенних...»                             | 248 |
| ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («Здравствуй, агнчье стадо,<br>овечья паства!...») | 249 |
| 1 МАЯ  | 251 |
| САМОПОЗНАНИЕ. Фуга   | 251 |
| «Хлопья чаек летают над Мойкой всё тише...»                        | 253 |
| «В голове муть...»   | 254 |
| «Муза, Муза! Я ведь старый...»                                     | 254 |
| ВПОЛСЕБЯ. Фуга   | 255 |
| «На Московском ходит Вася...»                                      | 257 |
| «Голос твой карабкался по трубке...»                               | 258 |
| Я В ИГРЕ. Шахматная фуга   | 259 |
| «Всю себя как в гроб ховая...»                                     | 262 |
| «На притине стынешь ты за тыном...»                                | 262 |

|  |     |
|--|-----|
| «Как прежде, стала мне никто ты...»                                  | 263 |
| МОРЕ. Гимн   | 264 |
| «В просторе кратком огорода...»                                      | 265 |
| «Куда с тобою денусь, Боже мой...»                                   | 266 |
| Я ИЛЬ НЕ Я? Фуга   | 267 |
| НЕКОЕМУ ПОЭТУ  | 270 |
| «Неправду говорят, что зеркало правдиво...»                          | 271 |
| ДИКАРЬ   | 272 |
| СТАРЫЙ ГОРОД   | 273 |
| «Когда бы годы смог сволочь я...»                                    | 274 |
| «Твои две груди – как смиренные колени...»                           | 275 |
| «Зря говоришь, что я не прожит...»                                   | 275 |
| «Я голой памятью сижу в своем уме...»                                | 276 |
| ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА<br>(«Благоволение? Желание добра?...») | 277 |
| «В снежных сумерках полудня...»                                      | 279 |
| «Ах ты, тара пустая!...»   | 279 |

#### 1974

|   |     |
|---|-----|
| НОВОГОДНЯЯ ФУГА («Я под боком живу у новогодья...») | 281 |
| СОРОК ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО               | 282 |
| ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ                 | 283 |
| КУДА? Фуга и вальс                                  | 283 |
| «Умерла, но живая...»                               | 286 |
| СЛУШАЯ СОНАТУ                                       | 287 |
| НАБРОСОК  | 288 |
| ВСЛЕД ЗА ПУШКИНЫМ                                   | 289 |
| «Erriug si tuove! Мысли вслед за ней...»            | 289 |
| «Завари чайку черноокого...»                        | 290 |
| «Вода по улице летала...»                           | 291 |
| ДОМ И ДОЖДЬ   | 292 |
| НЕЧТО ЖАММОВАТОЕ                                    | 293 |
| «Зачем, как с похмелья, смутьянится...»             | 294 |
| ЯЗЫК  | 295 |
| ОЖИДАНИЕ. Фуга                                      | 295 |
| ОБМАН. Фуга   | 297 |
| ТЕЛЕБАШНЯ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ                          | 298 |
| «По душе прошлась и растоптала...»                  | 299 |

|   |     |
|---|-----|
| MIR ZUR FEIER <1974>                                | 300 |
| «Ты мне – всебудничная память...»                   | 300 |
| «Я просто маленький старик...»                      | 301 |
| «Телеграфная проза вонзает – не роза! – колючки...» | 302 |
| ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР                                  | 302 |
| ЦЕРКОВЬ КЛИМЕНТА В НОВГОРОДЕ                        | 303 |
| ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА В КОЖЕВНИКАХ                  | 303 |
| «Та ночь сначала многого не знала...»               | 304 |
| ПОДРАЖАНИЕ ТЕГНЕРУ                                  | 304 |
| «Когда была ты бледным голым телом...»              | 305 |
| ЗАРЯ  | 306 |
| ДЕНЬ ПОБЕДЫ   | 307 |
| «А кто они? Онуфрии да Кифы...»                     | 307 |
| С НАТУРЫ  | 308 |
| «Сегодня о тебе подумал в первый раз...»            | 309 |
| «Под мухой день людей облобызал...»                 | 310 |
| Я СЕТУЮ. Трехголосая фуга                           | 310 |
| «Каждой вещи приходит срок...»                      | 313 |
| СТАРОСТЬ. Трехголосая фуга                          | 313 |
| ЯКОБЫ СОНЕТ   | 315 |
| УТРО В ЛЕСУ   | 316 |
| АКАФИСТ   | 316 |
| «Я прожил всё, чем я не дорожил...»                 | 317 |
| НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ                                   | 318 |
| НАД ОЗЕРОМ  | 318 |
| «Мы знаем все, что мы умрем...»                     | 319 |
| «Как вы полны, земные пять минут...»                | 320 |
| СЕНТЯБРЬСКАЯ ФУГА                                   | 320 |
| ПОГОСТ  | 322 |
| «Про осень да про лето...»                          | 323 |
| ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА НА СЛАВНЕ                     | 324 |
| ПИСЬМО. Фуга  | 324 |
| «Ты была и еще где-то есть...»                      | 326 |
| СЛОВА. Фуга   | 327 |
| «Говорил Пастернак, что душа – душна...»            | 328 |
| «По новейшей моде я...»                             | 329 |
| «Жеваное утро...»                                   | 330 |
| «Ничего уже не жаль...»                             | 330 |
| КУКИШ-ФУГА  | 332 |
| МЯТЕЖ   | 334 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| РОМАНС («С лузою блузочка...») | 334 |
| СОБАЧЬЯ ФУГА                   | 335 |
| «Не болит и не хворается...»   | 338 |
| «Не ходи под меня с дамы...»   | 339 |

## 1975

|  |     |
|--|-----|
| ОДА НА 1975 ГОД, ИЛИ НОВОГОДНЯЯ ФУГА                         | 340 |
| «Шла коляда из Новгорода...»                                 | 342 |
| «Под роком нашим общим...»                                   | 342 |
| МУЗЫКА. Фуга («Ты – музыка моя. Долбят вороны<br>стерво...») | 343 |
| ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА                                     | 346 |
| Я СПЛЮ   | 347 |
| «Расту как уши – выше лба...»                                | 348 |
| СОБОР СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ                                    | 348 |
| «Поехал Кавказ набекрень, как мозги...»                      | 349 |
| ФУГА С АЛЛИТЕРАЦИЯМИ   | 350 |
| ПОД АНАКРЕОНТА   | 352 |
| ВЕДЬМА   | 352 |
| «Девять лет тому назад...»                                   | 354 |
| MIR ZUR FEIER <1975>   | 355 |
| РУССКИЙ РОМАНС («По месяцу ездили белые тени...»)            | 356 |
| РУССКИЙ РОМАНС («Девушка сердится...»)                       | 357 |
| РУССКИЙ РОМАНС («Сердце тарахтит в моторе...»)               | 358 |
| «Имя зодчего да будет втайне похоронено!...»                 | 358 |
| ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ. Фуга о Грибоедове                           | 359 |
| «Торчит предначертанье...»                                   | 364 |
| ЛИБО – ЛИБО. Фуга о Киркегоре                                | 364 |
| В ТРОИЦЫН ДЕНЬ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ<br>КЛАДБИЩЕ                 | 372 |
| ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА НА ПОЛЕ                                    | 372 |
| ЭЛЕГИЯ («Тебя знавал я, милая варварка...»)                  | 373 |
| НЕЛЬЗЯ. Фуга   | 374 |
| «Преподобный отче Сергие!...»                                | 377 |
| НАДГРОБНОЕ САМОСЛОВИЕ. Фуга                                  | 378 |
| ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР В СТАРОЙ РУССЕ                           | 380 |
| ТРОИЦКИЙ СОБОР В СТАРОЙ РУССЕ                                | 381 |
| ЦЕРКОВЬ МИНЫ В СТАРОЙ РУССЕ (XV в.)                          | 381 |

|   |     |
|---|-----|
| «В полях уже давно орудуют не жнеи...»                                    | 381 |
| «Дед умирал, как пес, и лаял на бывшее...»                                | 382 |
| «На небе день по тюлю вышит...»   | 382 |
| «Не рыцарь я бесчувственный, не латы...»                                  | 383 |
| «Я на долю исстари сирую...»  | 383 |
| «Я прислонюсь к сырому октябрю...»  | 384 |
| «Как прежде ходили к вечерне...»  | 385 |
| ПЛАЧ О РЕКАХ  | 385 |
| ЦЕРКОВЬ АНДРЕЯ В ДЕТИНЦЕ  | 389 |
| НИКОЛЬСКИЙ СОБОР  | 389 |
| УМНАЯ ОРГАННАЯ ФУГА С ПРЕЛЮДИЕЙ   | 390 |
| «Люди видели тебя, и насажано...»   | 391 |
| «Я не сам, а просто грустный ворох...»                                    | 392 |
| ЕГИПЕТСКИЙ МОСТ   | 394 |
| «В пустоте жилья...»  | 394 |
| «Мы с тобой друг другу груз...»   | 395 |
| ДОРОГА. Фуга  | 396 |
| «Я вокруг тебя да около...»   | 399 |
| «Хорошо я нынче выпил...»   | 400 |
| «Буду вирши писать...»  | 400 |
| ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА<br>(«Пустынный вечер. Светит Петроград...») | 401 |
| «Цветок прощаний и разлук...»   | 402 |

## 1976

|  |     |
|--|-----|
| НОВОГОДНЯЯ ФУГА («Я нынче в Новый год спускаюсь,<br>как в метро...») | 404 |
| НА ИЛЬМЕНЕ («По линиялому небу от чаек следы...»)                    | 406 |
| «Дала же нынче осень крюку!...»                                      | 406 |
| ПОКОЙ. Фуга  | 407 |
| СМОЛЬНЫЙ   | 408 |
| «Через Неву увидит всякий...»  | 409 |
| СРАМ   | 410 |
| АЗАЛИЯ   | 411 |
| ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР. Четверть баллады                                 | 412 |
| ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ   | 412 |
| «Зима стояла еле-еле...»   | 415 |
| ФУТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА   | 416 |

|  |     |
|--|-----|
| MIR ZUR FEIER <1976> .....   | 417 |
| «Стучится время. Двери на запор вы...» .....                       | 417 |
| ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («Я прохожу, как некий<br>самый главный...») ..... | 418 |
| ГРУСТНАЯ ЛЮБОВЬ. Романс .....                                      | 419 |
| «Жил-был поэт...» .....  | 421 |
| БИРЖА (Тома де Томон) .....  | 421 |
| АДМИРАЛТЕЙСТВО .....   | 422 |
| ДОМ ДЕРЖАВИНА .....  | 422 |
| НИКОЛА МОРСКОЙ .....   | 423 |
| ЕКАТЕРИНА II .....   | 424 |
| ЛИТЕЙНЫЙ МОСТ .....  | 425 |
| ПОЦЕЛУИ .....  | 425 |
| КАЗАНСКИЙ СОБОР .....  | 427 |
| ГЛАВНЫЙ ШТАБ .....   | 427 |
| СУВОРОВ .....  | 428 |
| ПОД СТРАХОМ СЧАСТЬЯ. Фуга .....                                    | 428 |
| ХРАМ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА КРОВИ .....                                    | 431 |
| БОГ. Фуга .....  | 431 |
| ТОТ ЖЕ ПОТОК-БОГАТЫРЬ .....  | 436 |
| Я ВЧУЖЕ. Фуга .....  | 441 |
| ПОЗДНО! Фуга .....   | 443 |
| ПЯТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА .....                                    | 445 |

## 1977

|  |     |
|--|-----|
| Я ЗАДУМЧИВЫЙ, В ВОПРОСАХ БЕЗ ОТВЕТОВ. Фуга ..... | 448 |
| «В бар, походкою охотный...» .....               | 450 |
| «Повисает – посмотри!...» .....                  | 450 |
| «Отчего они так красивы...» .....                | 451 |
| ЛЕБЯЖЬЯ КАНАВКА .....                            | 451 |
| «Под старость только сушь да сырость...» .....   | 452 |
| «Как ластится (начну я)...» .....                | 453 |
| МОЙКА .....                                      | 453 |
| НУЖНИК .....                                     | 454 |
| ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ .....                  | 454 |
| ШАРМАНКА .....                                   | 455 |
| ВЕСЕЛЫЙ ПОСЕЛОК .....                            | 455 |
| РУССКИЙ МУЗЕЙ .....                              | 457 |

|  |     |
|--|-----|
| ИЗ ОКНА .....  | 457 |
| 1-е АПРЕЛЯ .....   | 458 |
| MIR ZUR FEIER <1977> .....                                       | 459 |
| «Висят на людях резвые грехи...» .....                           | 459 |
| РАЧЬЯ ФУГА .....   | 461 |
| «Утро выглянуло из-за тына...» .....                             | 462 |
| ВЕЛЕМУДРИЕ. Фугетта .....  | 463 |
| ГАТЧИНСКИЙ ПАРК .....  | 464 |
| ИГРА И ЕДА .....   | 465 |
| ПАВИЛЬОН ВЕНЕРЫ .....  | 466 |
| «Живу в чужих умах, как в собственных домах...» .....            | 466 |
| ОГОРОДНАЯ ФУГА .....   | 467 |
| КРЫЛОВ В ЛЕТНЕМ САДУ .....                                       | 470 |
| «Полугодие как лавина...» .....                                  | 471 |
| «Пришли отдать последний долг покойному...» .....                | 471 |
| НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ .....   | 472 |
| «Под страхом счастья я теперь живу...» .....                     | 472 |
| НЕДОСУГ .....  | 473 |
| «Боюсь смотреть на таянье свечи...» .....                        | 474 |
| «Ох, лень-позевота!...» .....                                    | 474 |
| РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Я проснулся, думая,<br>что умер...») ..... | 475 |

## 1978

|  |     |
|--|-----|
| БУШЕ .....   | 478 |
| К МОЕМУ ПОРТРЕТУ .....   | 478 |
| КУСТОДИЕВ .....  | 479 |
| MIR ZUR FEIER <1978> .....                                     | 480 |
| ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («Колокольный грохот,<br>сотрясение...») ..... | 482 |
| ЧЕРЕПАХА .....   | 485 |
| ИМЕНИНЫ («Именинником сижу на даче...») .....                  | 486 |
| ПАН. Полуфуга .....  | 486 |
| «О, как отчаянно трещит...» .....                              | 488 |
| ПОКРОВ. Фуга .....   | 488 |

## 1979

|  |     |
|--|-----|
| ЧЕРНОВЫЕ СТРОКИ .....  | 491 |
| ЛЖИВЫЕ СТРОКИ .....  | 492 |
| РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА («Метель в окно ко мне<br>стучится, как сосна...») ..... | 493 |
| «В мире подземном жизнь бывает не наша, не ваша...» .....                    | 494 |
| В СРУБЕ .....  | 495 |
| НЕДЕЛЯ В МОСКВЕ .....  | 496 |
| «Я проживаю жизнь мою...» .....  | 497 |
| ШОПЕН .....  | 498 |
| РУКА .....   | 499 |
| «Здорово, парень Толечка...» .....   | 500 |
| НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ .....   | 502 |
| ГОРОДОК .....  | 503 |
| MIR ZUR FEIER <1979> .....   | 504 |
| «Тиховейный шепот с Рейна...» .....  | 505 |
| «Уже открыт весенний сад...» .....   | 505 |
| «Нет, непостижна красота уму...» .....                                       | 506 |
| «На полосы земного кумача...» .....  | 507 |
| «Я видел в Суздале, что к старости века мне...» .....                        | 507 |
| «Сад за окном – как головная боль...» .....                                  | 508 |
| «Я просто слизь, материя живая...» .....                                     | 509 |
| «Не теряй себя! Матерей...» .....  | 510 |
| «Там, где ели развесили патлы...» .....                                      | 510 |
| «На улице такое ведро...» .....  | 511 |
| «Обожает мой дружок...» .....  | 511 |
| САМОГРАД .....   | 512 |
| «Фонтанка – глиняного цвета...» .....  | 513 |
| О МОЙКЕ .....  | 514 |
| «Вновь узнаю я время года...» .....  | 515 |
| «Осенняя бушует ярость...» .....   | 515 |
| ОБ АРХИТЕКТУРЕ .....   | 516 |
| ТРАВА .....  | 517 |
| ХАН ВОРЫБЕК ГОВОРИТ .....  | 518 |
| СОЛОМОН ГОВОРИТ .....  | 518 |
| «Растреллий! Храм, где поет барокко...» .....                                | 521 |

## 1980

|  |     |
|--|-----|
| ВЛ. СОЛОВЬЕВ КРАМСКОГО .....   | 522 |
| «Нынче день блаженно-женский...» .....                                 | 522 |
| СОРОК МУЧЕНИКОВ .....  | 523 |
| «Мою судьбу придумывают люди...» .....                                 | 524 |
| ПАСХАЛЬНАЯ ФУГА («А где-то в детстве на Страстной<br>неделе...») ..... | 524 |
| MIR ZUR FEIER <1980> .....   | 526 |
| «Тучи громыхали серые, как танки...» .....                             | 526 |
| ПОХОРОНЫ («Замотали голову, как мячик,<br>в полотенце...») .....       | 527 |
| «Я человек отчаянной эпохи...» .....                                   | 528 |
| «Проплываю мимо...» .....  | 529 |
| «У меня был старый друг...» .....                                      | 530 |
| «Многоэтажные возникли из земли...» .....                              | 530 |
| ЗВЕРИНЕЦ .....   | 531 |
| ГАТЧИНСКИЙ ЭТЮДНИК .....   | 533 |
| ФУГА С ВАРИАЦИЯМИ НА ТЕМУ «СЕВИЛЬСКОГО<br>ЦИРЮЛЬНИКА» .....            | 535 |
| НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ .....   | 537 |
| РЕРИХ. Фуга .....  | 537 |
| «Почто же ex-революционеры...» .....                                   | 541 |
| АВРОРА. Фуга .....   | 541 |
| ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ .....  | 543 |
| АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА НЕВСКОМ .....                                     | 544 |
| КОСТЕЛ СВ. АННЫ В ВИЛЬНЕ .....   | 545 |
| «И так бывает не всегда ль...» .....                                   | 545 |
| «Ледяной картечью сыпал град...» .....                                 | 546 |
| «Не желаю с обществом дружить...» .....                                | 546 |
| АРКА ЧЕВАКИНСКОГО .....  | 547 |
| НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА .....  | 548 |

## 1981

|   |     |
|---|-----|
| ЯНВАРСКАЯ ФУГА .....                    | 551 |
| «Что может быть страшнее были...» ..... | 553 |
| ФЕВРАЛЬСКАЯ ФУГА .....                  | 554 |

|  |     |
|--|-----|
| «Городские кварталы...» .....                  | 555 |
| «Церковный северный рассвет...» .....          | 556 |
| КАРТАШЕВСКАЯ .....                             | 556 |
| ТРОИЦКИЙ СОБОР .....                           | 557 |
| «От вечерней зари подряд...» .....             | 558 |
| «Февраль окончен. Бедный куцый месяц...» ..... | 558 |
| СПОР .....                                     | 559 |
| ПОСЛЕДНЯЯ ФУГА .....                           | 560 |
| ЗАВЕЩАНИЕ. Фуга .....                          | 564 |

### 1983

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| MIR ZUR FEIER <1983> ..... | 568 |
| БЕССМЕРТИЕ .....           | 570 |

### 1984

|  |     |
|--|-----|
| «Приклеен на дорожке лист каштана...» .....  | 571 |
| ВРЕМЯ («Неужели время просто врет...») ..... | 572 |

*Е. Витковский.* «Нет, художник, на тебе вины...» .....

*Алфавитный указатель стихотворений* .....

### Петров С. В.

**M52** Собрание стихотворений: В 2 кн. – Кн. 2. – М.: Водолей Publishers, 2008. – 640 с. – (Серебряный век. Πορκαλιπομ□νων)

ISBN 978–5–902312–34–5

Счет больших поэтов в России XX века – на сотни, да и великих – не меньше, чем на десятки. В очередной раз приходится вспомнить слова А. А. Штейнберга о том, что «русская поэзия – это такая армия, в которой взводами командуют генералы».

Сергей Владимирович Петров (1911–1988), поэт огромного масштаба, известен широкому читателю только как переводчик. Три года тюрьмы и семнадцать лет ссылки (1933–1954) надежно оградили его от печатного станка. Созданное тем временем творческое наследие – ошеломляюще и по объему, и по художественной значимости.

Настоящее издание, начинающее Собрание сочинений С. В. Петрова, представляет собой достаточно полное собрание лирических произведений и фуг (жанра, созданного самим поэтом). В ближайшей перспективе отдельные тома поэм и мистерий, а также том поэтических переводов.

ББК 84(2Рос=Рус)6

**Петров Сергей Владимирович**

Собрание стихотворений

*Книга II*

*Литературно-художественное издание*

Технический редактор *А. Ильина*

Корректор *В. Резвый*

Подписано в печать 15.03.08. Формат 60x90/16  
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Печ. л. 40. Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»

119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б

E-mail: [agathon@humanus.ru](mailto:agathon@humanus.ru)

Отдел реализации: (495) 786-36-35

Отпечатано в ЗАО «Гриф и К»

г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а